ВЛАДИМИР ВАРШАВСКИЙ

ОЖИДАНИЕ

Зачем с безумным ожиданьем
К тебе прислушиваюсь я.
Баратынский.

YMCA-PRESS
11, rue de la Montagne S-te Geneviève
Paris V

ОТ АВТОРА

Многие части этой повести в черновом виде были напечатаны за последние двадцать лет в разных эмигрантских журналах. Главы о второй мировой войне вышли в 1950 году в Париже отдельной книгой под названием «Семь лет». Однако автор полагает, что все эти части, переработанные и составленные теперь в последовательном порядке вместе с еще не печатавшимися кусками, образуют по существу новую, с «прибавочным» содержанием книгу.

World Copyright 1972 by Vladimir Varsavsky

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В начале, как в «Макбете», — туман и ведьмы. В непролазных камышах я боролся с лютой Бабой-ягой. Я знаю, чтобы спастись, нужно проснуться. Стараюсь разлепить пальцами плотно сомкнутые веки. Это очень трудно. Наконец все-таки удается.

Я совсем один. В соседней комнате спит гувернантка Фани Семеновна, но ее нельзя позвать. Когда я ее однажды разбудил, она очень сердилась. До кроватки брата всего несколько шагов. Он крепко спит. Его сон разделяет нас как таинственное непереходимое пространство. Как это могло быть? Ведь мы одно двойное, неразлучное существо: «мы, мали». У нас все общее: восхищения, воспоминания, понятия. Мне и в голову не приходило, что у него могли быть другие чем у меня мысли, другие чувства. Мы всегда вместе играли и нам читали те же книги. Нас даже одевают одинаково. Он только на год старше меня, но гораздо выше ростом и сильнее. Это не мешало полному равенству. Мы никогда не ссорились. Он всегда мне уступал. Нам было хорошо, весело вдвоем. Я не мог представить себя без него, жизни без него, мира без него. Я никого так не любил. И вот он здесь и вместе с тем отсутствует. Я не могу последовать за ним в его сон.

*

Страшные сны мне снились почти каждую ночь. Но когда утром Фани Семеновна, войдя в детскую, раздвигала занавески, и я, проснувшись, видел солнечный свет, я не помнил о моих ночных страхах. Я лежал в моей никелированной белой кроватке без малейших следов времени на мне, совсем еще новенький, как в первый день творения. Слушая доносившиеся с улицы городские шумы, — цоканье копыт, стук колес, щебетание птиц, — я не думал, что в мире за окном могло быть зло. Я еще не знал, что я смертен. Это было главное: я жил тогда, как в вечности. Поэтому, несмотря на страшные сны, частые болезни и тягостное чувство неволи — ложись спать, когда не хочется, ешь, когда не хочется, во всем слушайся взрослых, — детство представляется мне теперь, как большинству людей, потерянным раем.

Рай моего детства был даже более райским, чем библейский. В нем не было запрета вкушать плоды с древа познания. Вседержитель моего детского космоса, мой отец, не испугался бы, как испу-

гались боги: «вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло; а теперь, может, он прострет руку свою, и возьмет также от древа жизни и вкусит и станет жить вечно». Нет, мой отец, наоборот, хотел, чтобы я жил всегда. Я это знал.

Я был уверен, мир имеет доброе значение. Только с годами подсказываемые разумом сомнения разрушили мое первоначальное безотчетное в этом убеждение. Но, оглядываясь теперь на мою жизнь, я вижу, что мое сознание, моя воля, моя душа, всегда стремились это убеждение восстановить.

*

Когда я подходил к папе вплотную, я видел только его ноги, башмаки и штанины. Я был убежден: нет человека выше ростом, чем он, более сильного, умного, доброго, богатого. И так все считали: горничная Аннушка, кухарка Авдотья, швейцар Михайла и лихач Елизар, который всегда ждал папу перед парадным. Все они говорили о папе: «хороший барин».

Когда папы не было дома, я ходил в его кабинет, трогал бумаги на его письменном столе и смотрел на мерцавшие за стеклами шкафов тисненные золотом названия на корешках больших книг. Мне так хотелось знать, что в них написано.

Особенно я любил лежать, как на палубе корабля, на широкой груди папиного кожаного дивана. Монументальный, несдвигаемый, он был, мне казалось, чем-то таинственно ознаменован, находился в *другом* пространстве. Над диваном — узенькая картина: засунув ладони за пояс, стоит босой старик с бородой как у Господа Саваофа. На противоположной стене — другая картина: тот же бородатый старик пашет. Когда я спросил папу, кто это, папа сказал: «Это Лев Толстой, великий русский писатель».

— Чем он такой великий?

— Он говорил в своих произведениях то же самое, что сказано в Евангелии.

Я удивился, ведь Евангелие уже было.

— Да, — сказал папа, — но за столько веков люди забыли, что сказано в Евангелии, а Толстой опять напомнил.

Я тогда ничего Толстого еще не читал, но слова отца навсегда остались в моем сознании. Толстой говорил то же самое, что сказано в Евангелии и вся русская литература говорит то же самое, что сказано в Евангелии. Вся Россия приняла учение Евангелия о любви и о самой высшей Правде. Быть русским — это значит быть за Правду.

*

Однажды, думая, что папы нет дома, я вошел в его кабинет. Папа лежал на диване. Было полутемно, мне показалось, он спит. Но подойдя ближе, я увидел, он на меня смотрит. Он взял мою руку и, проведя моей ладонью по своей щеке, сказал: «Тебе не противно, смотри какие у тебя маленькие ручки, а у меня такая большая морда с колючей щетиной». Я радостно засмеялся. Я был уверен,

он шутит. Ведь он не мог не знать, какое восхищение я чувствовал в его присутствии.

В моих воспоминаниях много неустановимого, как в воспоминаниях о виденном во сне. Но эти мгновения жизни моего отца, когда он так лежал на диване, чувствуя усталость и недовольство собой, я вижу с такой несомненностью, будто это вчера было. Они освещены ярким неподвижным светом. Я могу их рассматривать, сколько хочу. Они никуда не исчезают. Никакая сила не может их сделать не бывшими. Теперь я даже лучше, чем тогда, понимаю, какую печаль чувствовал в тот день мой отец.

*

Мама всегда была грустная. Целуя меня и обливая слезами, она говорила, что скоро умрет, так как папа ее не любит. На меня это не производило никакого впечатления. Я уже знал тогда знаменитый силлогизм, но я не мог себе представить смерть мамы, или папы, или брата Юры. Этого так же не могло быть, как не могла вдруг исчезнуть занимавшая *все место* действительность: небо, дома, земля. И так же я не мог себе представить мою смерть. Сколько раз, когда я чувствовал себя обиженным, я даже хотел умереть. Тогда все поймут, какой я был хороший, умный, замечательный мальчик, и будут плакать и жалеть, что несправедливо меня наказывали. А я откуда-то сверху буду смотреть на них с любовью, упреком и кротким торжеством. Тут я вспоминал, что, если я умру, меня больше не будет на земле и я ничего не буду ни видеть, ни чувствовать. Но я не мог этому поверить.

Однажды, лежа на диване в папином кабинете, я с чувством странной отрешенности старался думать о том, что будет, если я внезапно умру. Папа, и мама, и Юра, и Фани Семеновна будут плакать, но вся знакомая мне жизнь будет продолжаться. По улицам по-прежнему будут ходить мальчики с няньками и гувернантками, будут ездить извозчики и трамваи, а меня — не будет. Я не буду ничего видеть, ничего сознавать. Вместо всех моих чувств и мыслей наступит *ничто*. Но как я ни зажмуривался, стараясь вообразить это ничто, всегда оставалось чувство движения времени: вдруг зачешется нос; захотелось повернуться; в конце коридора хлопнула дверь, это, верно, Аннушка пошла накрывать в столовую; внизу по мостовой звонко цокают копыта, стучат колеса извозчичьей пролетки; вдали высокий голос татарина протяжно выкрикивает: «старые вещи, купи-продай, старые вещи!» Настоящее неустранимо присутствует, слитое с моими впечатлениями в одно неразделимое существование. Я всегда буду.

*

Когда папа заболел дифтеритом, меня и брата повели в церковь в Хлыновском переулке. Нам велели стать на колени и молиться Боженьке, чтобы папа выздоровел. Сначала, как всегда в церкви, мне все нравилось. В высоких шандалах зажженные свечи: посе-

редке большие, толстые, а вокруг них тоненькие, частые, как рожь. Когда из-под купола тянул ветер, языки пламени вдруг все сразу трепетали, будто всполохнутые стаи золотых птичек. В красивых лампадках из красного и синего стекла тоже теплятся огоньки. Но особенно мне нравилось, когда кадили: бряцание встряхиваемых серебряных цепей, клубами всходит дым. Этот дым так необыкновенно, так чудно пахнет.

Бесшумно ступая по ковровой дорожке, к маме подошел незнакомый господин и что-то спросил тихим голосом. У мамы и у Фани Семеновны глаза под вуалями были заплаканы. Я знал, это потому, что папа болен, но все-таки мне казалось странным, что они так плачут. Ведь ничего плохого с папой никогда не будет, не может быть.

Чтобы показать, какой я хороший мальчик, я изо всех сил старался молиться Боженьке — «пожалуйста, пожалуйста, сделай, чтобы папа выздоровел». Но я скоро почувствовал усталость. Батюшка, воздевая руки, все снова и снова глухим старческим голосом произносил нараспев какие-то непонятные слова. У меня ныли коленки. Я с нетерпением ждал, когда же, наконец, мы пойдем домой.

Потом Фани Семеновна говорила, папа был тогда при смерти, но я и Юра так горячо молились, что Боженька сделал чудо, и папа выздоровел. Я слушал ее с удивлением. Я не верил, что папа может умереть. Его жизнь, его таинственная деятельность были основанием всей нашей жизни. Я ничего не сказал Фани Семеновне. Пусть думает, что папа выздоровел по моей молитве. Это льстило моему самолюбию. Но мне было грустно: я увидел на каких неверных доводах основана вера взрослых, будто Бог может делать чудеса.

Я понял, что Фани Семеновна потому верит в Бога, что она бедная и ей трудно живется. Она часто жаловалась на свою горькую судьбу. Ее сестра все время болела, и Фани Семеновна должна была посылать ей деньги. Потому им и нужно было верить, что есть добрый, всемогущий Боженька, который, если ему помолиться, может помочь, спасти и сохранить. Это из страха горя, болезней и бедности люди придумали Бога. Я так ясно это видел. Одно меня беспокоило: вдруг я сам, когда вырасту, если буду несчастным, тоже поверю в Бога. Я дал тогда себе торжественное обещание: что бы со мной ни случилось, я не поддамся, всегда буду помнить, Бога нет.

Мне уже и раньше приходили сомнения. Я слышал, как папа раз сказал маме, что у Достоевского кто-то говорит: «я *буду* верить в Бога». По тому, как папа при этом особенно улыбнулся, я понял, что это какие-то замечательные, многозначительные слова, и что думать и говорить о Боге — признак умственной глубины. А мне так хотелось быть не таким, как все дети, а необыкновенным, с недетскими устремлениями и мыслями. И я решил думать о Боге.

Какой Он? В церкви, среди облаков голова старика с белой бородой. И еще — глаз в треугольнике. Мне не нравилось, что этот

глаз всегда все видит. От него никуда не укрыться. И Бог *вездесущ*: с невообразимой неприятной юркостью успевает находиться одновременно в разных местах. Я не мог себе этого представить. Как это возможно?

Как-то лежа в кроватке я смотрел на место на стене, где отставали обои. Незадолго до того я читал сказку, как мальчик попал внутрь часов. Там оказался целый городок. Вдруг и в этой стене такой же городок и там живут особые человечки? Я понемножку расковырял до узких, прибитых крест-накрест дощечек. Дальше было твердое, как камень. Меня удивило, что ровная, с собачками на светлых обоях стена была на самом деле из кирпичей, известки, дощечек. Тогда я в первый раз неясно почувствовал, за всем видимым скрывается что-то, устроенное совсем по-другому, безобразное, таинственное. Я подумал: если Бог вездесущ, значит Он и в этой стене. Мне стало неприятно: там сидит, как замурованный старик, с большой белой бородой.

В те годы мне легко было не верить в Бога и гордиться ясновидением моего ума. Ведь я был убежден, что со мной не может случиться ничего плохого: мой отец никогда этого не допустит. Скажи мне кто-нибудь в то время, что моя жизнь и жизнь всех, кого я люблю, ничем не охранена от несчастных случайностей и смерти, я ни за что бы этому не поверил. Самое мое существование — сына таких замечательных, самых высших и лучших людей, как папа и мама, и потому тоже самого замечательного на свете мальчика — казалось мне залогом, что меня ждет бессмертная жизнь подвигов и славы. Иначе зачем бы все было, зачем бы я был рожден?

*

Тогда я еще не знал, конечно, древнего мифа о «пупе земли», но я жил так, как если бы представлял себе нашу семью абсолютным центром мира, окруженным спутниками: гувернантка Стефанида Семеновна, сокращенно Фани Семеновна, горничная Аннушка, кухарка Авдотья, швейцар Михайла, папины помощники.

Мы, — папа, мама, брат Юра, я — мы были всегда, *с самого начала*. А кухарки Авдотьи и горничной Аннушки раньше не было. Вместо них были другая кухарка и другая горничная. Папины помощники тоже менялись. Даже Фани Семеновна не всегда с нами была. До нее была няня.

Самым необыкновенным человеком был швейцар Михайла. Он умел так быстро сбегать вниз по лестнице, словно с ледяной горы скатывался. И он все знал. Раз мы вышли из дому и видим, в небе грозно клубится черная, зловещая туча. Все с тревогой спрашивали, что это такое? А Михайла только посмотрел и сразу понял: «нефта горит».

Как мифологическое божество в таинственном гроте, он жил не в квартире, как все, а в тесной, со скошенным потолком каморке

под лестницей. Оклеенная по стенам лубочными картинками, эта каморка казалась нам каютой вернувшегося из дальнего плавания корабля.

Папиных помощников было двое: один высокий, другой маленький. Высокий раз пришел в солдатской гимнастерке, с пестрыми шнурами на погонах. Он поступил *вольноопределяющимся*. Он спросил меня: «Тебе нравятся мои сапоги?» Я восхищенно смотрел на его высокие черные сапоги, но ничего не отвечал. Меня оскорбило, что он говорит со мной, как с маленьким. Словно не замечая моего угрюмого молчания, он бодро продолжал: «Разве ты не хотел бы стать солдатом?» Мне стало досадно и удивительно: как он угадал? Я действительно собирался стать в будущем знаменитым полководцем.

*

Из нашей жизни до переезда в Гранатный переулок мне вспоминаются только отдельные сцены и то неясно и недостоверно.

Вот мы в первый раз едем на трамвае. Раньше ходили конки. С непонятным мне теперь восхищением я смотрю на эмалированный, с бликами отраженного света потолок новенького вагона. Вместо метоп картинки с пояснительными надписями. Я не совсем понимал, что они изображают, верно не умел еще тогда читать. В окне, в хрустальной ясности погожего московского дня, проплывают дома, лошади, бородатый, точно фарфоровый лихач в синем кафтане. Фани Семеновна обсуждает с соседкой преимущества трамвая перед конкой.

Но тут начинают примешиваться воспоминания о других поездках по Москве, и я не знаю в тот ли раз мы проезжали мимо строившегося дома в лесах, и тогда ли стояла на углу буланая ломовая лошадь? А таблички объявлений? Какие они были в Московском трамвае в те годы? В скольких других городах мне пришлось с тех пор ездить на трамваях другого цвета и по-другому устроенных.

Теряя достоверность, все начинает неудержимо меняться. Фани Семеновна беседует с соседкой, сидя ко мне лицом на площадке быстро удаляющейся конки. А ведь мы ехали на трамвае. Да и не было на конках таких диванов. Это площадка-балкон последнего вагона американского поезда. Сколько раз видел в фильмах: поезд отходит, уезжающие прощально машут с такой площадки. Но ведь я видел эти фильмы гораздо позже.

Только глянец потолка московского трамвая я продолжаю видеть через бездну стольких лет с неисчезающей достоверностью.

Другой обрывок. В морозную ночь мы едем куда-то на санном извозчике. Я никогда здесь прежде не был. Проплывает большое кирпичное здание с башней или колокольней. Это, кажется, кирка. Папа и мама молчат. Я сижу между ними, закинув назад голову. Над нами огромное черное небо, усеянное бесчисленными звездами.

*

Москва мне редко снится. Я вернулся. С трудом вспоминая дорогу и все больше волнуясь, иду от Никитских ворот к дому Армянских, где мы жили. Спиридоновка, Гранатный переулок, дом 2, квартира 20. Телефон 1-15-90. Здесь мое настоящее местожительство. И я знаю, Фани Семеновна, хотя она давно умерла, еще живет в своей комнате рядом с детской, только она совсем дряхлая теперь, больная и бедная. Но мне страшно: каждое мгновение меня могут узнать и схватить агенты КГБ, будут допрашивать, мучить, сошлют в концлагерь.

*

Вокруг нашего дома Москва простиралась во все стороны, к далеким, неведомым окраинам. Я знал только бульвары между Арбатом и Тверской, куда нас водили гулять, и еще: Красную площадь, Кремль, Большой театр, Мюр-и-Мерелиз, храм Христа Спасителя, музеи. Я был убежден, Москва самый красивый, самый большой, самый лучший город на свете. Иначе мы бы тут не жили. И в Москве столько замечательного: самый большой в мире колокол, Царь-колокол, и самая большая пушка, Царь-пушка. Около этой пушки ходит часовой с ружьем, с медалями и крестами на груди. Старый, старый, я думал, он может быть, еще с Наполеоном воевал.

*

Москва почти всегда вспоминается мне в сугробах. Сугробы по обочинам тротуаров, сугробы на газонах бульваров. На дорожках утоптанный снег скрипит под ногами, сверкает на солнце бесчисленными блестками: будто идешь по алмазному ковру. Мальчишки лепили снежных баб.

И все-таки приходила весна. Приносили «жаворонков», с глазами-изюминками. А летом мы уезжали на Рижское взморье.

II

На любительской фотографии серое море катит на пологий берег невысокие волны. На бледном небе ни облачка. У самой воды два маленьких мальчика в полосатых купальных костюмах, каких больше не носят, копают лопатками песок. Мальчик повыше — худенький, длинноногий — Юра. Другой — намного меньше ростом, но коренастее — я.

Как-то я рыл ямку у самого берега и докопался до плотно убитого, совсем влажного гравия. Мне пришло в голову: может быть, пляж только тонкая кора над морем. Но на чем же он тогда держится?

С тех пор я все старался дорыть до воды. Я трудился упорно, как заводной.

*

Фани Семеновна не купалась в море, а принимала ванны в купальне, в Бильдерлингсгофе. За этими купальнями виднелись другие, выкрашенные в другой цвет, и дальше, насколько хватал глаз, тянулся огромный пляж и стояли на сваях купальни. Самые дальние, уже плохо различимые, туманно таяли в молочно-голубом сиянии моря. Когда мы гуляли, я просил гувернантку идти все дальше. Мне хотелось дойти до самого конца пляжа, чтобы увидеть что же там, где он кончается.

Раз, когда приехал из Москвы папа, мы ездили в Ассерн, большой и нарядный по сравнению с Булиным, где мы снимали дачу. На пляже, над праздничной толпой медленно вращалось огромное колесо с подвесными корзинками. Возносясь в небо, сидевшие в этих корзинках люди на глазах уменьшались. В голубой вышине их лица становились едва различимыми. Один махал рукой. Как они не боялись? Так высоко! Дух захватывало смотреть.

После пляжа мы пошли в ресторан. Столики в саду, под открытым небом. На дорожках — цветной гравий. Среди клумб — стеклянные шары, глиняные гномы в красных колпаках. Играет музыка. К нашему столику, улыбаясь золотыми зубами, подошел господин во фраке. Папа называл его *херобер*.

Потом мы кого-то ждали около станции. За оградой видна насыпь железной дороги. Накатанные добела рельсы, словно перегоняя друг друга, но на самом деле всегда рядом, безостановочно уходят вдаль, хотя они привинчены к шпалам и не двигаются. У самой решетки валяется жестянка от консервов. На плечике брошенной пустой бутылки лучисто пылает маленькое отраженное солнце. Из пыльной крапивы торчит угол пожелтелой газеты. Меня поразило, как здесь все по-другому было, чем на пляже и в ресторане. Там музыка, веселая нарядная толпа. Господин во фраке заботился, чтобы нас хорошо накормили. А здесь тишина, какая бывает в сосновом лесу, на нагретой солнцем прогалине. До нашего прихода здесь никого не было, но так же валялась эта жестянка, так же спала на припеке насыпь и свинцово текли рельсы. Им все равно было, что на них никто не смотрел.

Это было странное чувство: казалось, я видел залитое ровным светом неизвестное мне другое отделение действительности. Оно было как бы за кулисами или даже под полом сцены.

Я знал: там, куда уходит железнодорожная насыпь, в самом конце — Тукум 2-й. Я видел на карте. Но что за Тукумом? Там, может быть, конец света, что-то таинственное, невообразимое: рубеж, за которым, даже не пропасть, а совсем ничего нет: ни земли, ни неба. Я не мог себе этого представить.

Мы никогда в Тукуме не были. Теперь я подумал, там, верно, такая же станция, как тут, такая же пыльная трава, так же скучно.

Мне стало грустно, я в первый раз почувствовал отчужденность от мира.

На следующий день папа уехал *за границу*.

*

Мы чаще ходили гулять в другую сторону, к устью реки со смешным названием А-А. Здесь сушили сети латыши-рыбаки. Один толстобрюхий, черный от загара продавал камбалу.

Раз мы шли туда и видим — почти у самой воды сидит на складном стулике человек в шляпе с широкими полями. У него на коленях лежит плоский деревянный ящик. В ящике — груда свинцовых трубочек с красками, тряпка в разноцветных пятнах, кисточки, склянки с какими-то жидкостями. «Художник», — сказала Фани Семеновна. Он держал в руке овальную дощечку, продев большой палец в проделанное в ней отверстие. «Палитра» — сказала Фани Семеновна. Торопливо смешивая краски кисточкой, художник короткими быстрыми движениями намазывал белые облака на закрашенный синим холст, прикрепленный к откинутой крышке ящика. Я спросил его, почему он так торопится. Он сказал: «потому, что облака не стоят на месте, идут, меняются». Фани Семеновна сказала, что я не должен ему мешать, — это невоспитанно.

Я посмотрел на небо. Облака и вправду менялись. Я только раньше не обращал на это внимания. Я видел, облака у художника выходят не совсем такие, как в действительности, но в том, как они возникали из-под его кисти, было что-то восхитительное, волшебное. Мне все нравилось: и эти его ненастоящие и все-таки похожие облака, и синева его полотняного неба, и трубочки красок. Мне доставляло почти физическую радость смотреть на это. Юра смотрел с таким же восхищением. Мы оба решили стать художниками.

*

— Объявлена война, — сказала маленькая девочка, с которой мы играли на пляже.

Я почувствовал к ней уважение: она умнее меня, гораздо больше знает. Так бойко перечисляла: Франция, Сербия, Англия, Австрия. Я не знал, что на свете так много стран. Я спросил: «кто сильнее?» Мне казалось несправедливым, что все против Австрии. Досадуя на мою непонятливость, девочка сказала, что на стороне Австрии Германия, которая тоже очень сильная. Теперь я понял: за Тукумом 2-м вовсе не конец света, а Германия и другие страны.

На следующий день, возвращаясь с пляжа, мы увидели, на опушке леса стоит солдат с ружьем. Он был одет совсем так, как я видел потом на открытках и на картинках в журналах: во всем новеньком и зеленом, в красивых черных сапогах. Через плечо скатанная шинель. Назвав его *служивый*, Фани Семеновна спросила у него, что слышно о войне. Сняв фуражку и утирая со лба капли

пота, он, словно оправдываясь, сказал: «Очень жарко». Голова у него была круглая, с черными коротко стриженными волосами.

Восхищенно рассматривая штык на его ружье, котелок, подсумок, патронташи, я все-таки чувствовал разочарование. Мне казалось, он не русский: ни бороды, ни усов, синие бритые щеки. Верно, латыш или рижский немец. И русские солдаты должны быть богатырского роста, а он даже немного ниже Фани Семеновны. Он, верно, стоит ниже, — говорил я себе, — но, несмотря на все мои усилия увидеть его более высоким, я не мог дотянуть его хотя бы до одного роста с Фаней Семеновной.

И все-таки я смотрел на этого озаренного закатным солнцем солдата с таким восхищением, будто он стоял на опушке бессмертного райского сада. Это было главное в детстве — волшебная свежесть всех впечатлений. В те годы мир казался мне таким же прекрасным и совершенным, каким его видел Бог в первые дни творения.

Смотря на красные стволы сосен, я сказал Фане Семеновне: «Может быть, и здесь будет бой». Она рассердилась: «Наши никогда не допустят сюда немцев». Она неправильно меня поняла. Я, не сомневаясь, знал: Россия — самая великая страна, всегда воюет за правое дело, и русские всех сильнее и храбрее, всегда всех побеждают. Самым могучим богатырем был Илья Муромец, а самым великим полководцем — Суворов. У него была поговорка: «пуля дура, штык молодец». Когда русские бросались в штыки, никто не мог устоять. Я не сомневался, русские и теперь победят, но мне так хотелось увидеть войну. Я думал: «пусть немцы сюда придут, пока мы еще не уехали, и я увижу бой, а потом русские их прогонят».

*

Хотя лето еще не кончилось, мы уехали. На вокзале в Риге пришлось долго ждать. Поезда отходили переполненными. Люди на подножках, на прицепах, даже на крышах вагонов. Одеты не так, как папа и все наши знакомые. Под пиджаками не крахмальные рубашки и галстуки, а косоворотки, и на ногах не башмаки, а высокие сапоги. И не чемоданы и портпледы, как у нас, а узлы, деревянные сундучки, корзинки. Они пели, кричали «ура», махали картузами. Но только в их веселье чувствовался надрыв. Мне сказали, это — мобилизованные. Они едут на войну.

Мы поехали не в спальном вагоне, как обычно, а в третьем классе, в вагоне с деревянными скамейками.

Я проснулся среди ночи. Поезд стоял на какой-то большой станции. Фонари багрово озаряли головы огромной толпы, отсвечивали на рельсах. Прямо на путях стоит конный жандарм. Здесь нас разыскал выехавший из Москвы нам навстречу папа. Он пересадил нас в другой поезд. Я опять заснул.

На следующее утро, как всегда в поезде, мы с братом смотрели в окно. Я недоумевал, как это устроено: телеграфные столбы так

быстро промахивают мимо, а пашни и луга вращаются плавной каруселью; совсем вдали, словно стараясь обойти их с фланга, все выбегает вперед, все тянется полоса леса. За ней, среди сгрудившихся голубых холмов горит на солнце золотой купол. Сквозь разверстые дымные облака на него падает с неба косой столп света. Фани Семеновна сказала, это — знаменитый монастырь, куда со всех концов России приходят молиться *паломники*. Значит, и сейчас они там молятся. Мне казалось, этот купол пылает, как звезда, как маяк не от солнечных лучей, а изнутри, от горячих молений собравшихся там паломников.

Поезд замедляет ход, но не останавливается. В окне проплывают домик с чахлым садиком, дерево, шлагбаум. Сбежав с крыльца, белоголовый пузатый мальчик в одной развевающейся красной рубашке, с решительным видом — еще, мол, посмотрим кто кого перегонит — пустился за поездом. Он быстро перебирает по пыльной дороге босыми ножонками, но кажется, совсем не продвигается вперед, семенит на месте. Рядом с ним, заливаясь отчаянным лаем, прыгает лохматая собака.

Поезд набирает скорость, дорога, по которой бежит мальчик, отходит в сторону. Как я ни поворачиваю голову, мальчик и собака ускользают из вида. Срезанный косогор, подымаясь все выше, совсем заслонил окно.

Этот мальчик необыкновенно меня и брата поразил. Мы долго потом с восхищением вспоминали, как в своей красной рубашке он бежал за поездом. «Роковая рубапоня», — говорил Юра или я, и мы, улыбаясь, переглядывались с торжествующим и понимающим видом, с каким переглядываются посвященные в какое-то важное и радостное знание, скрытое от всех других.

III

В окне одного магазина на Тверской — большая карта, утыканная маленькими хорошенькими флажками. Зеленая Россия — больше всех. Ее толстый шишковатый нос, Польша, упирается в розовую Германию, согнутую в поясе, как дама с протянутой вперед рукой. А голова Германии приходилась между носом и лбом России. Выше — голубое Балтийское море, Рижский залив, где мы купались летом.

Рядом с картой — плакат. Казак в синих, с красными лампасами шароварах, зажав Вильгельма между колен, бьет его, приговаривая:

«Хоть одет и ты по форме,
Получай-ка по платформе».

Усатый, в белых штанах Вильгельм, с перекошенным от боли и страха лицом дрыгает ногами в черных ботфортах.

Я радовался, что русские побеждают немцев. И Вильгельм сам виноват: злой, задира, первый на всех напал. Казак за дело его

бил. Но я с недоумением чувствовал, что мне все-таки жалко Вильгельма. Его так унизили. Не посмотрев на его воинственно закрученные усы, каску и ботфорты, казак зажал его между колен и больно отшлепал.

То, что я радовался победе над врагом — это было естественное, еще усиленное воспитанием чувство, социальное и биологическое значение которого мне кажется теперь вполне понятным. Но почему я пожалел Вильгельма? Ведь все взрослые смотрели на плакат с одобрением. Некоторые шутили. Кто же научил меня, что не надо насмехаться над побежденным врагом? Откуда я это знал? Даже, если я просто не помню теперь рассказов и книг, которые пробудили во мне это чувство жалости к врагу, оно не могло быть такого же происхождения, как радость победы. Оно не было нужно для жизни. Наоборот, ослабляло волю к борьбе. Странно, именно явная противоестественность этого чувства все чаще представляется мне теперь залогом, что есть начало жизни более глубокое, чем инстинкт борьбы.

*

Скоро прославился подвиг Кузьмы Крючкова. Он убил одиннадцать немцев. Я повесил на стенке над кроватью лубочную картинку: через все поле, как барс, прянула оранжевая лошадь. Пригнувшись к ее шее, Кузьма Крючков рубит через плечо шашкой. Вокруг валятся с коней лиловые немцы в уланских касках. Но даже считая тех немцев, которых рубили шашками и кололи пиками товарищи Крючкова, выходило меньше одиннадцати. Правда, схватка была в самом разгаре, и Крючков еще мог убить остальных немцев. А все же было досадно. Я знал, нарисованное на картинке не могло изменить бывшее на самом деле. Но, несмотря на это, достоверность того, что Крючков один убил одиннадцать немцев, как-то ослаблялась. Мне даже приходило в голову, не напечатали ли эту картинку укрывшиеся в Москве немцы-шпионы, и меня удивляло и беспокоило, что их не ловят и не казнят.

В кинематографе у Никитских ворот показывали фильм о Крючкове. Сначала немецкие уланы долго скакали по дороге, высоко подняв сабли. Я понимал, что это не было снято на самом деле на войне, а только представление. Но когда потом показали Крючкова и его раненых товарищей, я с такой же несомненностью почувствовал, что это их действительно сняли, когда они были в лазарете. Они совсем не были похожи на чубатых, с оскаленными белыми зубами казаков на картинке. Те мчались, как кентавры. А эти сидели на койках, коротко стриженные, с обыкновенными, как у швейцара Михайлы, лицами, один с рукой на перевязи, другой с забинтованной головой, тихие, со строгим выражением глаз.

Под конец, поправившийся Крючков подошел к своей лошади, сел на нее и проворно ускакал. Меня удивило, лошадь была вроде извозчичьей, а вовсе не богатырский конь. Когда Крючков на нее вскочил, она присела на задние ноги и завертелась, как большая

собака. И все было не такое яркое, как на лубочной картинке. Я был разочарован. Но мое убеждение, что русские казаки самая лучшая конница в мире нисколько не поколебалось. Раз у нас ужинали папина племянница с ее мужем поляком. За столом я сидел рядом с ним. Он сказал мне не без важности: «поляк — лучший кавалерист в мире, поляк может спать на лошади». Я задохнулся от удивления и негодования. А казаки? Как он смеет!

*

Недавно мне попалась цитата из Шпенглера: «Война — это первичный факт жизни, война — это сама жизнь». Я с удивлением вспомнил, в детстве я думал совсем как Шпенглер. Я ничуть не удивился когда началась война. Я был убежден, война — это цель жизни, самое важное, самое высшее, самое героическое и благородное человеческое дело, а мирное время — это только перерыв между войнами, нужный чтобы отдохнуть от предыдущей войны и подготовиться к новой. Мои детские книги, наполняя мое воображение картинами геройских подвигов, еще усиливали это представление. Я знал наизусть все описания битв у Жуковского, Лермонтова и Пушкина. Особенно мне нравился бой в «Ангеле Смерти». Свист стрел, блеск мечей, «как тени знамена блуждали», огромные черные знамена... Я *знал:* нет больше счастья, чем участвовать в такой битве. Одно меня тогда смущало: у Лермонтова черкесы выходили больше героями, чем русские. Измаил-Бей одним ударом шашки отрубил русскому голову. А в казачьей колыбельной «злой чечен» убил отца малютки. Я думал тогда, что в словах «но отец твой — старый воин, закален в бою», закален значит — заколот. Ведь чечен точил свой кинжал.

Читая описания битв, я чувствовал, как во мне самом пробуждается желание совершать подвиги, наносить удары врагам. Мне представлялось, я рублю мечом темную, злую силу, воинство Кащея Бессмертного, печенегов, «басурман», всех врагов Русской земли. Я не за себя мстил, я защищал Правду, добро.

Больше всего мы с Юрой любили играть в войну, махать игрушечными саблями и стрелять из игрушечных пистолетов и ружей. При виде же настоящего оружия я испытывал непонятное мне теперь восхищение. Раз в весенний день мы гуляли по Тверскому бульвару. Фани Семеновна не успела меня удержать, и я подбежал к сидевшим на скамейке лицеистам. Задохнувшись от собственной смелости, я спросил, настоящие ли у них шпаги. Меня давно этот вопрос занимал. Такие узенькие ножны! А мне так хотелось, чтобы это были настоящие шпаги, какими дерутся на войне. Лицеисты, смеясь, стали уверять, что настоящие. Один, взявшись за рукоять своей шпаги, даже предложил: «Хочешь я ее *обнажу?*» Я смотрел на него недоверчиво — не смеется ли он надо мной? — и все-таки с восхищением и страхом ждал, сейчас в воздухе грозно сверкнет *булат*.

2 3325 МН 7859

Мне странно думать теперь, что этот маленький мальчик, который в тот баснословно далекий день в Москве восторженно смотрел на Тверском бульваре на шпаги лицеистов, — это я. Теперь, при мысли, что люди всегда убивали друг друга, я чувствую такое отвращение и отчаяние. И мне грустно: увлеченный ребяческим восхищением, я почти совсем не заметил всего того, что в то утро так щедро предлагала моему вниманию весна. Покрытая бурой прошлогодней травой земля грелась на припеке с обессиленным и строгим выражением, какое бывает у выздоравливающих после тяжелой болезни. Только местами еще лежал осевший грязный и ломкий снег.

Лицеисты в своих зеленых с золотыми пуговицами шинелях смотрят на меня ласково и насмешливо. По ряду их розовых лиц перебегают белозубые улыбки. Около скамейки наполненная райской синевой лужа. Я вдруг понимаю, она потому такая синяя, что в ней отражается небо. Пьянящий весенний воздух был блаженно свеж.

*

У нас были сотни оловянных солдатиков и пушечки, которые стреляли спичками. Но одна медная, на тяжелых литых колесиках стреляла шутихами. «Настоящее круповское орудие» — сказал папа.

Я был храбрым сербским воеводой Вуком, главнокомандующим русской армии и королем моей собственной страны. Меня изображал мой любимый нюрнбергский солдатик — офицер в зеленом мундире, с красной грудкой. Как началась война, таких больше не продавали. А брат был королем союзной страны, его изображал такой же солдатик с красной грудкой, но только конный. И у нас была еще наша общая страна, населенная особыми круглыми пушистыми существами. Когда Фани Семеновна, потушив свет, уходила к себе в комнату, мы шепотом рассказывали друг другу о наших приключениях в этой стране. Когда я в первый раз рассказывал, я знал, что выдумываю, но вдруг случилось, что-то и мой вымысел стал жизнью. Я уже не выдумывал, а вместе с Юрой участвовал в этой волшебной жизни. Мы умели летать, и жили с папой в большом гнезде на дереве. Нам так хорошо было вместе, так радостно. Потом, когда я рассказывал или слушал как брат рассказывает, я все ждал, сейчас опять вернется это чувство жизни, восхищения и счастья. Но я с недоумением видел — этого чудесного превращения больше не происходило. Я даже не мог вспомнить, что же это было. Может быть, только сон, рассказывая, я не заметил, как заснул. Но вся моя жизнь стала ожиданием, что это повторится.

IV

Мои ребяческие мечтания о войне и подвигах показывают, мне кажется, что я был тогда еще вполне нормальным мальчиком. Но мне уже приходили странные мысли.

До того, как папа выехал нам навстречу, когда мы возвращались с Рижского взморья, он был за границей. Он нам рассказывал, в Париже стоит самая высокая в мире башня, и он ездил там на *подземном* поезде. Этот поезд проезжал даже под Сеной. Я спросил, была ли видна вода? Мне неясно представлялось круглое окошечко в потолке вагона: за толстым стеклом зеленеет вода, глубокая не вниз, как обычно, а вверх. Там солнечный свет, плывут над головой лодки и пароходики, и на берегу стоит самая высокая в мире башня. Я думал о ней с восхищением, и в то же время меня смущало что-то, чего я не мог тогда понять и выразить. Эта башня уже давно там стояла, а я ничего о ней не знал, пока не услышал от папы. Значит, ее существование вовсе не зависело от того, знаю я о ней или нет. А ведь мое непосредственное убеждение в неуничтожимости моего пребывания было основано как раз на том, что я не делал тогда различия между образами в моем сознании и действительным существованием всего. Отсюда я заключал: поскольку мир не может никуда исчезнуть, не может исчезнуть и мое сознание. Я всегда буду. Конечно, я не знал тогда всех этих слов и понятий и не мог думать всего этого изъявительно, но я жил так, как если бы твердо это знал. И вдруг открытие: мир существовал до меня! Как же это так? Ведь я всегда присутствовал, *с самого начала*.

Я часто думал о нарисованных на глухой боковой стене одного дома на Тверском бульваре двух лунах: зеленой и желтой. Одна плачет, другая смеется. Кажется, это была реклама сапожной ваксы. Но мне что-то загадочное чудилось в выражении лиц этих двух лун. Что произошло между ними, почему одна плачет? Может быть, ее обидела та, что смеется? Однажды, смотря на эти луны, я вдруг почему-то подумал о жизни, которая шла здесь прежде, до того как я родился. Тогда так же простиралось небо и стояли те же дома. Только вместо трамваев ходили конки и люди как-то по-другому одевались. Я увидел, мимо дома с этими лунами идет, помахивая тросточкой, господин в *старинном* фраке. Мне стало его жалко. Торопясь на давно прошедшее свидание, он, самонадеянно улыбаясь, шел не в действительности, а в прошлом, которого больше нигде не было. Даже его тросточка, такая же, как у папиного помощника, казалась маленькой и не такой прочной, как теперешние. Но я сейчас же успокоился. Это до того как я родился, все отодвигалось в несуществование прошлого, а с моей жизнью началось и будет бессмертно длиться все более светлое и огромное настоящее.

И все-таки на меня уже находили припадки рассеянности, какой, наверно, не знал Адам, пока он не съел знаменитое яблоко. Я прочел в хрестоматии басню Хемницера «Метафизик». Я тогда еще не знал, что я глуп. В басне говорилось о «думном детине», который

все хотел «сыскать начало всех начал». Задумавшись, он упал в яму. Его отец пришел с веревкой. Но сын, вместо того, чтобы ухватиться за веревку, стал спрашивать: «Скажи мне наперед веревка вещь какая?» Потом про время: «А время что?» Его отец тогда рассердился и сказал: «А время вещь такая, которую с глупцом не стану я терять». Мне это показалось обидным. Что собственно было глупого в вопросах сына? Мне самому приходили такие вопросы. Какой-нибудь самый обыкновенный, обиходный предмет мне вдруг представлялся как бы совсем отдельно от всего. Я помнил, для чего он служит, но чем он был на самом деле, в своей сущности? Или самое простое слово, произнесенное кем-нибудь или мною самим, казалось мне странно прозвучавшим. Оно больше не связывалось с его значением и с привычной действительностью. Я повторял его, но оно становилось все более необъяснимым, словно раздавалось из какого-то другого пространства, из другого мира. Зачарованно прислушиваясь, я чувствовал, как моя жизнь превращается в призрак.

А иногда мне казалось, что я когда-то уже видел все происходящее теперь. Или, смотря на себя в зеркало, я удивлялся: почему это я, почему у меня такое лицо?

И мысли о добре и зле уже начинали меня смущать. На катке, на Патриарших прудах я в первый раз стал свидетелем преступления. В тот день были состязания конькобежцев. Уже темнело. По ледяному кругу, почти черному среди голубых сугробов, согнувшись и размахивая руками, бежали люди в фуфайках. Издали они казались маленькими. Мальчишки, подбадривая, отчаянно кричали головному: «Ипполитов, Ипполитов!»

Почему-то я отбился от Юры и гувернантки и оказался один возле забора. Я устал и озяб на морозе, и мне уже хотелось домой. Вдруг с чувством темного ужаса, которого я не мог себе тогда объяснить, я увидел, как над забором появилась голова в вытертой шапке и *уличный мальчик*, оглядевшись по сторонам, — не смотрит ли сторож, — перевалился на животе через гребень забора и спрыгнул вниз. За ним перелез с улицы другой такой же мальчик, только поменьше. Время будто остановилось. Я видел каждое их движение как в замедленном фильме, и вместе с тем все это так быстро произошло, что я не успел пошевелиться, стоял как завороженный. Я знал: мальчики перелезли через забор, чтобы не платить за вход. В этом нарушении закона мне чудилось что-то страшное, чего не должно было быть, и все-таки это совершалось на моих глазах. Я ждал, сейчас огромный, грозный вырастет бородатый сторож и накажет этих мальчиков. Мне казалось, возмездие должно последовать так же неизбежно, как, например, боль, когда ушиб коленку. Но сторож не появился, и мальчики, довольные успехом своего преступного предприятия, прошли мимо меня с веселым и вызывающим видом. Тот, что был постарше, взглянул мне в лицо подозрительно и с угрозой: — позови только сторожа! — Но заметив,

что я стою, оцепенев от страха, он только презрительно усмехнулся и сказал: «Ишь косой заяц».

Когда я рассказал об этом дома, папа, к моему удивлению, улыбаясь сказал маме: «А ведь он, правда, немного косит, но как этот мальчик так сразу заметил».

Мне кажется, я понимаю теперь чувство ужаса, испытанное мною, когда я смотрел, как мальчики перелезают через забор. В те годы я еще не делал различия между законами природы и законами, установленными людьми. Для меня это одинаково были устои мирового устройства, в доброе значение которого я, не сомневаясь, верил. Этот порядок был залогом, что со мной никогда не произойдет ничего плохого. И вот эти мальчики, нарушив один из его законов, на мгновение поколебали его достоверность.

Более таинственным мне кажется другое чувство, испытанное мною в ту зиму. Мы идем на Арбат и видим — на углу толпа. Стоят и смотрят на упавшую лошадь. Она лежит на боку. Худая, изможденная кляча. Извозчик, все более ожесточаясь, с бранью бьет ее ногой в живот и хлещет вожжами по морде и по ногам, норовя захлестнуть под пах. Лошадь порывается встать, но ее копыта скользят по обледенелым булыжникам, колени подламываются, она опять валится на бок. Тогда извозчик снял с нее дугу и, побледнев, начал этой каменно-тяжелой дугой бить ее по ребрам. Удары падали с мерзким, глухим стуком. Лошадь забилась еще судорожнее. Стоял мороз, а на ней вся шерсть взмокла от пота. Как большинство детей, я не был еще тогда способен на сострадание и все-таки почувствовал, как лошади больно. А извозчик все продолжал ее бить. Мне стало страшно. Я понял, он делает что-то дурное, чего нельзя делать. И все смотрят и никто его не остановит.

Тут подошел городовой и начал его ругать. Извозчик, оправдываясь, отвечал что-то плачущим голосом. Меня это удивило: он с таким злобным исступлением бил лошадь, а теперь плачет, будто это его били, а лошадь лежит и молчит.

Когда мы шли обратно, толпы больше не было. Лошадь лежала на том же месте, уже окоченелая. Ее ноги разошлись и торчали, как деревянные.

Меня учили, нужно быть паинькой, слушаться взрослых. Но, кажется, никто мне раньше не говорил, что извозчики не должны так бить лошадей. Только много лет спустя я прочел об этом у Достоевского. Но если бы даже еще до того, как я видел, как извозчик убил лошадь, меня научили, что это дурно, я должен был бы почувствовать не жалость, а только такой же страх, как на Патриарших прудах, когда уличные мальчики перелезали через забор. Нет, чувство сострадания возникло не как следствие нравственных наставлений, а само поднялось во мне и на мгновение заняло в моем сознании все место. Правда, это было почти безотчетное, неясное и мучительное чувство, соединенное с еще более неясным, впервые испытанным чувством нежелания быть в мире, где может такое происходить. И это чувство жалости не оказало на мою

волю никакого влияния. Но в наплыве других, безразличных мне теперь детских воспоминаний, оно присутствует, как несомненная, слабо, но неугасимо светящаяся точка. Так иногда солнце еле просвечивает сквозь облака. Сколько бы я ни анализировал это чувство, оно неуничтожимо пребывает в памяти, независимо ни от каких объяснений мира, как если бы оно дошло из другого измерения действительности.

Мне особенно утешительно вспоминать об этом во время припадков моей болезни, когда меня давит чувство несовпадения моих представлений с трагичностью человеческой жизни. Словно мне, и даже не мне, а кому-то постороннему, снится болезненный, но ничтожный сон. А в чувстве жалости к лошади не было ничего ничтожного. То, что оно противоречит моему обычному равнодушию, только подтверждает в моих глазах его подлинность. Думая об этом, я прихожу к тому же предположению, как когда стараюсь понять, почему мне стало жалко униженного Вильгельма. В этом чувстве сострадания мне чудится залог, что существует другое, более глубокое начало жизни, к которому я, как всякий человек, несмотря на все мое малодушие, причастен.

Но даже если это чувство не было непосредственным, а было пробуждено во мне слышанными или прочитанными рассказами? Ведь это были рассказы о проступках, вдохновенных порывом, дошедшим из этого более глубокого начала жизни.

V

Летом мы теперь ездили не на Балтийское море, а в Болшево.

Наша дача стояла почти на опушке парка Штекера. Мы часто там гуляли. Меня обманывали голубые просветы среди начинавших редеть стволов. Мне вдруг чудилось там море, хотя я знал, в Болшеве моря нет. Всегда оказывалось — это только освещенная солнцем просека. За ней плотными рядами стояли в молчании новые полки деревьев. И сколько бы мы ни шли, лес не кончался, становился все тенистее и глуше.

*

Дорога в купальню шла мимо соседских дач. С веранды одной из них часто слышались оживленные женские и мужские голоса, смех, пение, музыка. Но за деревьями сада не рассмотреть лиц пивших там чай дачников. Нарядная горничная раздувала около забора горевший на солнце серебряный самовар.

В детстве я никому не завидовал. Наоборот, был убежден, что мой отец самый замечательный человек на свете, и поэтому и мы все — мама, Юра, я — мы тоже самые замечательные, добрые, умные, богатые. Но мне казалось, на этой даче жили какие-то особенные, таинственные, счастливые люди. Их жизнь — нескончае-

мый праздник. И мне было грустно, что они ничего обо мне не знают и никогда не позовут меня к себе на дачу.

*

В купальне я все расспрашивал одного деревенского мальчика постарше, как он научился плавать. Он сказал: «Да как научился? Сбросил меня *дядька* посреди реки с лодки, я барахтался, барахтался, и ничего, не утонул». Смотря на меня смеющимися глазами, он предложил: «хочешь садись ко мне *на закорки*, я тебя на тот берег свезу». Но я не решился. Еще сбросит меня посреди реки, как его дядя его сбросил, и скажет — сам плыви. Потом, рассказывая как я научился плавать, я говорил, что меня бросили в воду на глубоком месте и я «барахтался, барахтался» и поплыл. На самом же деле меня и брата учил плавать папа, когда он приезжал из Москвы. Он отходил на несколько шагов, и я доплывал до его груди, выступавшей из воды живым утесом.

В Клязьме каждое лето тонули люди. Со дна били какие-то *холодные ключи*. Попадет на такой ключ даже хороший пловец и его *схватит судорога*. Так утонула одна англичанка, хотя она замечательно плавала.

А прошлым летом утонул учитель. Мальчики в купальне рассказывали, что он мог проплыть под водой от одного берега до другого. Раз он так нырнул и больше не выплыл. Он попал головой под *корягу* и не мог освободиться.

В купальню ходил бородатый человек в очках. Я сразу отличал дачников от деревенских. Дачники белотелые, полные. Раздевшись, долго, чтобы не простудиться, остывают. Проверяя можно ли уже идти в воду, похлопывают себя под мышками. После купания вытираются мохнатыми полотенцами. А у деревенских мальчишек тела как из плотно сбитой глины, с выступающими ребрами. Раздевшись они, перекрестясь, бросались с разбегу в воду. Накупавшись, они не вытирались, а, стуча зубами, натягивали штаны и рубашки прямо на мокрое тело. Но этот человек в очках не был похож ни на дачника, ни на деревенского, хотя борода у него была как у пожилых болшевских крестьян. Раздеваясь, он стыдливо старался прикрывать заросший черной шерстью живот. Он совсем не умел плавать, а только с головой окунался, зажав уши пальцами. Но почему-то, хотя я прекрасно понимал, что это невозможно, мне чудилось, он учитель, который утонул в прошлом году. Мне даже казалось, он потому так стесняется и потому не умеет теперь плавать, что тогда утонул.

*

Мы возвращаемся с купания. Перейдя мост, остановились на пригорке. Я смотрю назад, на Клязьму. Уже смеркалось. Я с удивлением вдруг чувствую как все красиво: дорога, река, крестьянские избы на том берегу, огороды, ветлы по бокам дороги, дальний лес

и надо всем — огромное вечернее небо. Похоже на картины в Третьяковской галерее, но лучше, глубже, таинственнее. Я вспомнил выученные недавно стихи из хрестоматии: «Эти бедные селенья, эта скудная природа». Скудная, а все-таки край русского народа — самый лучший на свете: его «в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя». Я не совсем понимал, что это значит «в рабском виде», но я чувствовал, нигде не могло быть лучше, чем в России, ближе к чему-то самому хорошему, высшему, прекрасному.

Куда бы я ни взглядывал, я с восхищением видел картины, исполненные абсолютной красоты и глубокого успокоения, только все было какое-то грустное. Юра стоял рядом и тоже смотрел. Мы молчали, но я *знал*, он так же чувствует как я. Мы всегда одинаково чувствовали.

Мне приходит в голову, если я мог тогда так видеть, то, может быть, уже и раньше моя душа воспринимала прекрасное, но только это не доходило до моего внимания, я был еще как животное. Один философ сказал: «животные знают, но не знают, что они знают».

*

В один из своих приездов из Москвы папа привез мне и брату по летнему картузику. Мы пошли кататься на лодке. Папа уже целый час греб. Давно остались позади и общая купальня, куда мы ходили, и другая, частная. Наглухо забранная досками, таинственная она стояла на сваях среди камышей и кувшинок.

Я не знал куда течет Клязьма. Блистая на солнце, она вилась среди зеленых лугов до самого неба. Свесившись через борт, я смотрел, как светлые струи с журчанием обтекают корму. Вдруг мой новый картузик свалился у меня с головы в воду. Сначала мне было смешно. Пока папа поворачивал лодку, картузик, поддерживаемый вздувшимся верхом, покачивался на воде небывалой белой купавкой. Течение медленно относило его назад. И вдруг я увидел, как он колыхнулся, из-под него, булькая, вырвались пузыри и он ушел под воду. Несколько мгновений, но все более мутно еще виднелся его белый, теперь зеленоватый верх, — но его скоро поглотила темень глубины. Папа очень досадовал, что ему не удалось выловить картузик. Все это происшествие произвело на меня неясное и смущающее впечатление. В первый раз я видел, что мой отец не властен изменить происходившее. Но это было мимолетное чувство, оно не поколебало моей веры, что в моей жизни все происходит именно так, как должно происходить согласно установленному папой хорошему порядку.

*

Эта вера не поколебалась во мне даже когда в середине лета у меня начали делаться *спазмы*. Корчась на полу, я с недоумением

прислушивался к острой боли внизу живота. Меня никто не предупреждал, что бывает такая боль.

Бревенчатые, нагретые солнцем стены пахли смолой. Было так обидно, непонятно и страшно, что я даже не плакал.

Мама очень волновалась и повезла меня в Москву. Когда мы ехали с вокзала, меня поразило, как в Москве по сравнению с Болшевым душно, пыльно, шумно. Пахнет крашеным железом, известкой, от раскаленных камней пышет адовым жаром. Громыхая, едут ломовики, груженные длинными, лязгающими стальными полосами. Строится большой дом. Каменщики в рогожных фартуках, толкая перед собой тачки с кирпичами, трудясь, всходят по лесам под облака. Мне стало жалко папу: он все лето жил среди этого грохота, этой духоты.

Мы вошли в белый особняк в тихом переулке, по дороге от нас на Арбат. На следующее утро меня уложили в особой комнате на странный белый эмалированный предмет на высоких ножках: не то стол, не то кушетка. Привязали ремнями руки и ноги. Мне совсем не было страшно. Наоборот, я чувствовал себя героем. Помощник доктора положил мне на лицо что-то вроде сита из марли, велел громко считать. «До скольких?» — «До десяти, до двадцати, до сорока, — сколько можешь». — Мне было жалко, что из-за этой марлевой маски я не увижу, как мне будут делать операцию, но мне было интересно — как это я потеряю сознание. Боясь, что вдруг меня начнут резать прежде, чем я засну, я старался считать как можно громче. Мне казалось, я смогу так считать бесконечно. Но помощник доктора зачем-то навалился мне на грудь. Острый леденящий запах капель, падавших на марлю, становился все сильнее. Я хотел вздохнуть, но воздуха не было, а был только этот приторный запах, который разливался по моему лицу как холодная тяжелая жидкость. Доктор будто в отдалении сказал что-то сестре милосердия. На мгновение мне стало страшно.

Я лежу на чем-то зыбком. Открыл глаза. Меня выносят на носилках из подъемной машины. У двери стоят папа и мама. Умильно улыбаясь, они смотрят на меня с тревогой и жалостью. Мне стало досадно. Зачем они так смотрят на меня? Я хотел не жалости, а восхищения, чтобы все видели, как я мужественно переношу страдания.

Но внезапно в низу живота зажглась нестерпимая боль. Я не ожидал этого и, забыв о героизме, жалостно застонал. Мне стало обидно. Зачем этот аппендицит, эта боль?

Ласково называя меня миленьким, папа стал говорить, что так всегда бывает после операции, но боль скоро пройдет и я совсем поправлюсь и еще лучше прежнего буду бегать и играть с другими мальчиками. Я успокоился, сразу поверив, что со мной не происходит и не может произойти ничего дурного. Папа никогда бы этого не допустил.

Скажи мне тогда кто-нибудь, что на самом деле моя жизнь ничем не охранена от произвола всех несчастных случайностей, я

ни за что бы этому не поверил. Теперь я с удивлением вижу, что в сущности я тогда не допускал, что Бог мог создать жизнь, которая не была бы божественной. Но вот, что самое удивительное: вопреки всем доводам здравого смысла я и теперь этого не допускаю. Все надеюсь, что в подсказываемой разумом очевидности вдруг окажется ошибка.

*

После операции я вернулся в Болшево. Но мне еще долго не позволяли бегать на гигантских шагах, купаться в Клязьме, бороться с братом и другими мальчиками. Целыми днями я сидел в саду, играя в оловянные солдатики, читал, думал.

С каждым днем я узнавал что-нибудь новое и мои представления о мире расширялись, но я все оставался маленьким мальчиком. Я даже начал недоумевать, как же тогда я стану взрослым. Это недоумение прошло после того, как я увидел превращение, которое произошло с одним мальчиком. С веранды нашей дачи я заметил мелькавшую за забором гимназическую фуражку. Чтобы лучше рассмотреть, я приподнялся со стула. По улице шел знакомый мне с виду господин, с каштановой бородой и в золотых очках. Я слышал, как папа сказал про него, что он занимает в Москве какое-то очень важное место. И у него была широкая, как у борца, грудь и бычий затылок. Но я смотрел на него с презрением и жалостью: он был ниже ростом своей жены, очень высокой женщины с длинной спиной.

С этим господином, то стараясь делать такие же шаги, как он, то выбегая вперед, высоко, как лошадка, вскидывая колени, шел его сын, вертлявый мальчик, в нахлобученном на уши новом гимназическом картузе. Я встречал этого мальчика на тенисе, но туда он приходил в коротких штанах, маленький мальчик, как маленький мальчик. А теперь он как взрослый шел куда-то со своим отцом, с таким видом, будто для него ничего не было необыкновенного в том, что он в длинных штанах, в курточке с серебряными пуговицами и в этом красивом синем картузе, с лаковым козырьком и белыми кантами. По тому, как, ворочая на тонкой шее головой, он насмешливо поглядывал по сторонам, чувствовалось то гордое сознание своего превосходства, какое появляется даже у самых тщедушных мальчиков, когда они выходят со своим отцом или высоким и сильным старшим братом.

Я долго с завистью смотрел вслед этому мальчику, ставшему гимназистом. Превращение, которое с ним произошло, казалось мне таким же волшебным и таинственным, как превращение гусеницы в бабочку. А через год я сам стану гимназистом. Я вдруг подумал, насколько я теперь больше знаю, выше ростом и сильнее, чем прошлым летом. Тогда я так неясно все себе представлял, тыкался как котенок, теперь же передо мной открывался, словно освещаемый встающим солнцем, все более огромный, сложный и

восхитительный мир. А в будущем году я еще вырасту и еще больше буду знать. И так с каждым годом я буду становиться все умнее, все выше ростом, все сильнее, пока не стану таким же замечательным человеком, как мой отец. Правда, когда-то потом я умру, но это еще так нескоро будет, все равно, как если бы я никогда не должен был умереть. Не стоило и думать.

*

Осенью Юра поступил в гимназию, а папа уехал на фронт. Он был *белобилетником*, но поехал добровольно, помощником начальника *летучего* санитарного отряда. Я не боялся, что папу могут убить. Он всегда был и будет.

На Рождество он приехал в отпуск. С ним приехал его денщик Карпов. Папа сказал, Карпов лихой кавалерист: «таких австрийцев подымал на пику». Я пошел на кухню, где Аннушка и Авдотья поили Карпова чаем. Нам запрещали ходить на кухню, но я обязательно хотел узнать от Карпова, как он в первый раз убил вражеского солдата. За дверью в кухню слышались громкие голоса и смех. Я постучал. В приоткрывшуюся дверь выглянула Аннушка. Я сказал, что мне необходимо поговорить с Карповым. Он вышел в коридор с улыбкой на распаренном от чаепития лице. Выслушав мою просьбу, он, нисколько не удивившись, с готовностью стал рассказывать, как они пошли в атаку, а австрийцы им навстречу. На него набежал один австриец. Карпов ткнул его в живот штыком и австриец «только «ых» и сел». Я чувствовал легкое разочарование: Карпов вовсе не кавалерист и не умел рассказывать. Мне не понравилось, как он это сказал об австрийце: «только «ых» и сел». Совсем не было похоже на описание битв у Лермонтова и Пушкина. «Что же этот австриец большой был, сильный?» — спросил я. «Да, видный был мужчина» — сказал Карпов.

Папа показывал фотографии. На одной он едет на белой лошади впереди длинной вереницы всадников. Папа перегнал на скачках всех других офицеров. Эта его белая лошадь была самая лучшая. И вся форменная одежда у него была из самой лучшей материи и сшита у самого лучшего портного. Я спросил: «А у других офицеров такая же хорошая одежда?» — «Нет, у других похуже». Я гордился тем, что папа самый богатый и что у него лошадь и одежда лучше, чем у всех других офицеров, а вместе с тем мне было грустно, что другие офицеры беднее. Мне хотелось, чтобы все были самыми богатыми, чтобы никому не было обидно.

VI

Зная, что это начало пути к славе взрослой жизни, я шел в гимназию без страха. Но когда я открыл высокую дверь в большой зал и на меня обрушился оглушительный крик множества звонких голосов, я растерянно остановился. Я никогда не видел столько

мальчиков в одном месте. Стоят кучками, ходят, бегают, борются, с хохотом спихивают крайнего со скамейки. Все они, казалось, знали друг друга, были здесь как дома. А на меня никто не обращал внимания. Я стоял, чувствуя растерянность. Я не этого ждал. Если гимназия такая, тогда лучше не становиться взрослым. Я никогда не смогу привыкнуть к этому шуму, к этой утомительной суматохе. Зачем они так громко кричат, чему смеются, о чем с таким оживлением разговаривают?

В дверь, чуть не сбив меня с ног, вбежала гурьба мальчиков постарше. Двое передних с хохотом повалились на пол и один зачем-то стал щекотать другого, а тот отбивался, взвизгивая и смеясь. Мне показалось, в этом было что-то странное и нехорошее. Потом я узнал, первого мальчика звали Арам Махутов, а того, кто его щекотал, Игорь Александров.

Несколько других мальчиков с размаху пустили по паркету длинную деревянную скамью. Стремительно скользя по вощеной глади, она неслась прямо на меня. Я не успел посторониться. Скамейка ударила меня ребром по коленке, оглушив острой, нестерпимой болью.

Но моя растерянность продолжалась недолго. Я скоро привык к гимназии и занял в моем классе именно такое положение, какое по моим представлениям мне подобало.

Меня определили в третий приготовительный класс, в основное отделение. Мне это казалось естественным, что в основное, иначе и быть не могло. Ведь основной — это значит главный, а параллельный только добавочный к основному, его может и совсем не быть. Юра, который перешел теперь в первый класс, был тоже «основник».

Мы встречали «параллешек» только на переменках. Но уроки гимнастики у нас были общие. На первом же мы с дружными криками перетянули их на канате. Наше превосходство было установлено. И хотя впоследствии параллешки не раз нас перетягивали, это не поколебало моего убеждения, что мы всегда их побеждаем.

Первым общепризнанным силачом нашего класса был Игорь Александров, вторым — Арам Махутов. Оба второгодники. Никому и в голову не приходило оспаривать их первенство. Но на место третьего силача претендовало несколько мальчиков, в их числе и я.

У параллешек тоже были свои силачи. Главные Соколов и Лесли. Про Соколова один мальчик сказал: «сокол ясный — человек опасный». С тех пор, смотря на Соколова, рослого, светлоглазого, быстрого и ловкого в играх и свалках, я испытывал странное чувство: мальчик, а вместе с тем хищная птица, оборотень, таинственное, страшное существо.

Как-то на переменке, после обычных споров, кто сильнее, Соколов поборол Александрова, а Лесли — Махутова. Несмотря на это, мое убеждение в превосходстве наших силачей и всех нас ос-

новников над параллешками нисколько не поколебалось. Меня даже удивляло, что они сами по-видимому вовсе не страдают от того, что они параллешки. Так же, как мы, весело бегают и играют на переменках и вовсе не считают себя хуже нас, не сознают своего ничтожества. Встречая в коридоре параллешку, я насмешливо бросал: «параллельник-бездельник». Но я презирал их вовсе не потому, что считал бездельниками. Просто не подворачивалось другое слово в рифму. Все было не в этом слове, а в том, с каким презрением я его произносил. Как ни странно, презрение это было искреннее. Между тем я не мог не понимать, что параллешки такие же мальчики, как и мы, и что их определили в параллельный класс вовсе не потому, что они хуже нас, а по каким-то совсем другим, может быть, даже случайным соображениям. Мне скоро представился случай в этом убедиться. Инспектор Федор Антонович пришел в этот день к нам в класс с именным списком всех учеников. Рассматривая этот список, он с неудовольствием сказал, что нас в основном классе лишком много и некоторых придется перевести в параллельный. Замирая, я ждал, кого он сейчас назовет. Вдруг меня, наверное меня, со мной всегда случается все неприятное. И, действительно, как только я это подумал, Федор Антонович сказал: «вот хотя бы Гуськова».

Федор Антонович всегда говорил вкрадчиво, ласково. Мальчики прозвали его «скрипка». Но теперь мне показалось, он как-то враждебно и пренебрежительно произнес мое имя. Ведь он должен был знать, в какое отчаяние приведет меня его решение перевести меня в параллельный класс, какое это будет для меня несчастье, унижение, позор. Но, может быть, он именно этого и хотел? Он за что-то меня ненавидит и хочет наказать. Я видел это по безжалостному, злорадно-спокойному выражению его лица.

Я так рыдал, что озадаченный Федор Антонович согласился оставить меня в основном классе.

*

Так же, как я не сомневаясь знал, что папа самый замечательный человек на свете, Россия — самая великая страна, а Москва — самый красивый и большой город, я был убежден, что наша гимназия — самая лучшая в Москве и во всей России. Иначе папа не отдал бы нас в эту гимназию. Мне даже жалко было мальчиков, которые учились в других гимназиях, не таких хороших, как наша. Но все же это были гимназисты, наши союзники. Другое дело реалисты, ученики коммерческих училищ, кадеты. Особенно кадеты. Я прочел рассказ, который долго потом вспоминал с чувством ужаса. Одного гимназиста перевели в кадетский корпус. Кадеты почему-то его возненавидели, называли *синяя говядина*. Когда он спал, они засунули ему в нос какие-то жгуты и подожгли их. Его снесли в лазарет.

Но все-таки и реалисты и кадеты были вроде гимназистов. Они ходили в таких же картузах и шинелях, как мы, только другого цвета. И у них дома верно было как у нас дома и у тех моих гимназических товарищей, у кого я бывал: много комнат, кухарки, горничные. Впрочем, был один мальчик в нашем классе. Его звали Кирсанов: белобрысый, сутулый, с отвисшей красной нижней губой и вздутым животом. Классный наставник Степан Максимович раз даже сказал ему: «Ну, чего пузо выпятил?»

Я не понимал Кирсанова. Мне и брату было запрещено покупать мороженное на улице. Мама считала, можно отравиться. Я, не сомневаясь, этому верил. Все, что говорили мои родители, было для меня истиной. Кирсанов же, к моему удивлению, совсем не боялся отравиться. В ответ на мои предостережения он сказал: «А я всегда ем и ни разу не отравился». И действительно он на одолженные у меня деньги купил при мне у бродячего мороженщика порцию мороженного и съел. Я смотрел на него со страхом и любопытством: сейчас он посинеет и начнет корчиться от боли, может быть, даже умрет. Но с ним ничего не случилось. На меня это произвело смущающее впечатление. Я был рад, что Кирсанов остался жив и невредим, но выходило, что мои родители ошибались. И Кирсанов запоем читал книжонки приключений Пинкертона и Ника Картера, которые мне и брату не разрешали читать.

А как-то мы ехали на извозчике и вдруг я с удивлением вижу, по тротуару идет Кирсанов, но не в гимназической форме, а в старых заплатанных штанах. Он шел не один, а рядом с высоким сутулым человеком в шляпе, с широкими обвислыми полями. Этот человек, верно, отец или дядя Кирсанова, был без галстука; из кармана его мятого холщового балахона торчало горлышко бутылки. Он нес удочки, а Кирсанов — ведерко. Тогда я почувствовал, что Кирсанов ведет дома непохожую на нашу, таинственную жизнь. Но все-таки он был гимназист, а не *уличный мальчик*. Те ходили не в форме, как мы, а в каких-то кацавейках, в валенках, в вытертых шапках. Свободно, без присмотра горничных и гувернанток бегали по улицам. Я думал, это все сыновья дворников, кухарок, прачек, и они живут не в квартирах со светлыми, большими комнатами, как наша, а в сырых подвалах, где, надрываясь от кашля их больные чахоткой матери стирают белье в клубах едкого пара. И учатся они не в гимназиях и реальных училищах, а у сапожников, которые бьют их колодками по голове. Читая в хрестоматиях рассказы о таких мальчиках, я горько плакал, так как мне их было жалко. Но в жизни это были *уличные мальчики* и нам не разрешали с ними играть. К тому же я скоро узнал, — они наши враги.

Я заметил, Александров, Махутов и еще несколько мальчиков часто говорят между собой о войне с какими-то *огольцами*. Я не знал, кто это такие — огольцы, но мне было обидно, что со мной не совещаются о войне с ними, словно я не был одним из силачей нашего класса. Я небрежно предложил Александрову: «Возьмите

меня с собой, авось я с двумя-тремя справлюсь». Александров недоверчиво усмехнулся: «С двумя, тремя, — их много!»

Как-то после уроков мы пошли на Тверской бульвар, на ледяную гору. Едва мы прошли через калитку, как сзади раздались крики. Обернувшись, я увидел: два невесть откуда взявшихся уличных мальчика ожесточенно лупят Александрова кулаками по картузу, словно хотят вбить его в землю. Подпрыгивая у него по бокам, они, казалось, на мгновение повисали в воздухе, как на гигантских шагах.

В гимназии мы никогда так не дрались. Мы боролись, пыхтели, хотели победить, но вовсе не хотели сделать друг другу больно. А эти мальчики били Александрова по голове изо всей силы, с недетской злобой.

Я с удивлением видел, Александров ничуть не испугался. Мне даже показалось, он хитро улыбается. Но, видимо, считая, что сопротивляться теперь бесполезно, он, слегка присев, только старался защитить голову руками.

Все это произошло так неожиданно, так быстро, что мы смотрели будто завороженные. Не успели мы опомниться, как уличные мальчики исчезли так же внезапно, как появились. Проходившая мимо дама остановилась около Александрова и сказала расстроенным голосом: «Мальчики, да не играйте вы с ними, они голову могут проломить». Тогда Александров, быстро нагнувшись, поднял с земли облепленный песком ком обледенелого снега и, показывая его даме, — «они дерутся вот этим», — широко открыв рот, заревел. Я смотрел на него с недоумением. Ведь уличные мальчики вовсе не били его этим обледенелым комом и он заревел нарочно, чтобы еще больше разжалобить даму. Мне самому не пришло бы в голову так соврать, и я не мог бы притворно заплакать.

Теперь я узнал, уличные мальчики — это и были огольцы. Они сами себя так называли. Я раз слышал, один крикнул другому вслед: «Эй, оголец, ремешок потерял».

Я больше уже не думал, что смогу справиться с двумя-тремя огольцами. Наоборот, мне стало казаться, они непобедимы: при их отчаянной решительности в драке они всегда нас будут побеждать. В гимназии мы только играли в войну, давать подножки считали нечестным, драться ногами — позором. А они дрались без всяких правил. В отличие от нас, врожденная свирепость в них не была ослаблена воспитанием. Именно их злоба меня пугала. Я стал замечать теперь, как их много повсюду: на улицах, на бульварах, на всех углах, во всех воротах. Верно, и раньше их было столько же, но я не обращал внимания, а теперь только их и видел, словно Москва подверглась нашествию орды огольцов. Теперь я боялся ходить один по улицам.

Но вскоре произошло событие, которое, умей я только тогда делать выводы, должно было бы меня убедить, что непобедимых врагов нет. Мы пошли после уроков на ледяную гору на Тверском бульваре. В этот день было особенно много огольцов. Когда Кир-

санов, стоя как свечка, лихо скатился, огольцы сбили его внизу подножками. А я даже не мог пробиться к краю площадки. Огольцы протискивались вперед, бесцеремонно отпихивая меня локтями. Многие из них уже по нескольку раз скатились, а я все ждал. Я заметил, они не только по-другому одеты, чем мы, но даже говорят по-другому. Вместо скользко, *склизко*.

Мы пожаловались сторожу, что огольцы не дают нам кататься, но он не хотел вмешиваться. В это время из ворот гимназии с ликующими криками освобождения высыпали первоклассники. Их отпускали на час позже чем нас. Мы стали им жаловаться на огольцов. Первоклассники слушали нас, снисходительно улыбаясь, как взрослые слушают детей. «А почему вы сторожу не сказали?» «Сторож на их стороне». Долговязый старший брат Александрова, он сидел в первом классе уже третий год, захохотав, сказал: «Ну, ничего, мы им покажем, а если сторож сунется, мы и сторожу зададим!»

Он подпрыгнул, подкинув движением плеч ранец на спине, и побежал на бульвар. Первоклассники повалили за ним бурной толпой. Я бежал сзади, чувствуя, как мне передается их уверенность в победе. И, действительно, после короткой свалки первоклассники завладели горой. Огольцы разбегались во все стороны. Один совсем еще маленький, в валенках со взрослого человека, с трудом бежал, проваливаясь в сугробах. Он плакал в голос.

Потом пожилой, приземистый сторож, сердито ругаясь, гонялся за братом Александрова, а тот с хохотом увертывался. Под конец сторож бросил ему вслед деревянную лопату для сгреба снега.

*

Я был первым в классе по рисованию. Села Семенович, наш учитель чистописания и рисования, даже напечатал в журнале для детей, который он издавал, два моих рисунка с надписью под ними: «Это рисовал маленький мальчик, рисуй и ты так». У Селы Семеновича лицо было как на портрете Козьмы Пруткова. На одном из первых же уроков Села Семенович предложил нам делать классный журнал. Все мальчики выбрали меня редактором. Я принял это как должное. Я не имел представления как мы будем делать журнал, но был твердо убежден, что никто не может быть лучшим редактором, чем я. В те годы вера в мое предназначение быть первым во всем была во мне непоколебима. Впоследствии, наоборот, я всю жизнь страдал от недостатка уверенности в себе.

Брат тоже был в своем классе первым по рисованию. Родители решили, что у нас талант, и к нам начал ходить на дом учить нас живописи «настоящий» художник. Он был невысокий, с восковым лицом и пушистой рыжеватой бородой. Он говорил мало и неторопливо, глухо покашливал, много курил. Он показал нам, как разводить краски маслом, как пользоваться кистями и шпаделем, но

предоставлял нам полную свободу писать что мы хотим и как хотим. Брат все писал лошадей, а я — солдат и сражения. Я помню мою первую картину маслом. По круглому изумрудному холму бежит с ружьем на перевес высокий, голова до облаков, солдат. У его ног лежит убитый вражеский солдат, совсем по сравнению с ним маленький, так как полотно было поперек уже, чем в вышину. Я раскрасил мундиры солдат очень ярко. Я не любил смешивать краски. Они мне нравились такими, какими они выходили из тюбиков, особенно зеленая-изумрудная, красная-кармин, белила и синяя. Такие красивые! Я не хотел портить их первоначальную яркость и чистоту. Учитель смотрел, покашливал и хвалил.

Мне все хотелось изобразить движение, чтобы было как в жизни. Раз почему-то мы пошли не в кинематограф у Никитских ворот, как обычно, а в другой на Пречистенском бульваре. Надпись на экране погасла и словно в призрачном широком окне появился каток. Туманный зимний день, снег, сияние льда. Сейчас же сбоку вырвалось плечо и, раскатисто шаркая по иссеченному льду гоночными коньками, на середину выбежал человек в белой фуфайке. На глазах уменьшаясь, он стал быстро удаляться в глубь миража катка. Этот человек на экране пробежал в действительности. Я знал это так же несомненно, как, смотря на отражения прохожих в зеркальной витрине, знаешь, что за спиной настоящая улица. Но тут не зеркало было. В зеркале отражались бы ряды неясно белеющих в сумраке лиц зрителей, а не эти конькобежцы. И они состязались не здесь и не теперь, а, как было сказано в надписи, в прошлое воскресенье, на большом катке, на окраине Москвы, куда нас не водили. И все-таки на экране все происходило точно, как было в жизни. Меня поразило это волшебное воссоздание бывшего в другом месте, в другое время.

Когда мы вернулись из кинематографа домой, я нарезал стопку бумажных квадратиков и принялся с надеждой рисовать. Но к моему огорчению бумага оставалась под моим карандашом все такой же плоской. На ней не возникали ни глубина туманного воздуха, ни влажное серое сияние льда. И как бы быстро я ни листал квадратики, не получалось того восхитившего меня в кинематографе впечатления жизни и движения, которое мне так хотелось передать.

Мне хотелось не только лучше всех рисовать, но и показать всем, какой я не по летам развитой, умный, с необыкновенными мыслями. Чтобы другие мальчики в этом убедились, я стал говорить им, что не верю в Бога. Коля Иванов, «Ивашка-погашка», пожаловался учителю истории. Во время урока он поднял руку и, когда учитель спросил в чем дело, громко, на весь класс сказал: «Гуськов не верит в Бога». В классе наступила напряженная тишина. Все мальчики, предвкушая, что учитель меня сейчас накажет, смотрели на меня с насмешливым и злорадным любопытством. Мне стало страшно. Я чувствовал теперь уже не гордость моим умом, а смятение. Если все считают, что не верить в Бога дурно, то

я — преступник. В страхе возмездия я смотрел на болезненно желтое лицо учителя. Он молча, в раздумьи пощипывал пальцами кончик жидкого уса. Наконец, кашлянув, сказал: «Что же, верить или не верить в Бога, — это дело совести каждого».

VII

Я смотрю на улицу и вдруг с чувством дивной радости и торжества вижу: над знакомым двором гимназии Адольфа в голубом небе расцвело ватным розаном и поплыло белое облачко. В нем неожиданно сверкнуло коротокое злое пламя. И вот уже расцветает и плывет другое такое же облачко и в нем тоже хищно ударило и пропало огненное жало. Это было прекраснее всех описаний битв у Лермонтова и Пушкина.

Я все боялся, война кончится прежде чем я достаточно подрасту, чтобы убежать на фронт. Я прочел столько рассказов о мальчиках-добровольцах, сыновьях полка. Но я знал, папа и мама никогда меня не отпустят. И вот война не только не кончилась, а пришла в Москву. На моих глазах рвутся настоящие снаряды.

Несколько дней шел бой между большевиками и юнкерами. Я не знал, что решается судьба России, судьба всего человечества, судьба моих родителей и моя собственная судьба. Я чувтвовал только восхищение: совсем близко идет настоящий бой. До тех пор я только читал в газетах, под заголовком «на театре военных действий», а теперь — свидетель. Вдали глухо бухают пушки, а на улице, совсем близко, трещат частые ружейные выстрелы, будто там кто-то бросает пригоршни шутих. Папа сказал, это стреляют *пачками*. Из окон нашей столовой было видно, как горят разбитые снарядами дома у Никитских ворот. Там, грозно клубясь, высоко в небо всходили черные столбы дыма.

*

Весной мы уехали в Киев. Все были уверены, мы скоро вернемся, большевики не продержатся и года. Так началась *временная ненастоящая* жизнь до скорого падения большевиков и нашего возвращения в Москву.

Поезд, на котором мы уехали из Москвы, был переполнен. Люди в коридорах, на площадках, на буферах, на крышах. Окно в купе забухло, никто не мог открыть, а была ужасная духота. Сказали, что в соседнем купе солдат открыл окно штыком. Один господин пошел попросить у него штык. Вернулся с пустыми руками. С огорчением рассказывал: солдат угрюмый, даже не отвечает.

*

Постоялый двор в Зернове. Перед самоваром хозяин в расстегнутой на толстом брюхе жилетке, в грязной ситцевой рубахе на

выпуск, лысый, с бугристым носом, чернобородый. Отдуваясь, пьет чай с блюдечка. К моему удивлению, его звали Талызин, как одну нашу московскую знакомую, дочь генерала.

Ночью на дворе было совсем тепло. Чувствовалось — уже юг. В прозрачных сумерках темно-синие прямые, как свечи, тополя. Я никогда еще таких не видел. Много лет спустя я испытывал похожее чувство, когда увидел пальмы на берегу Средиземного моря.

Украинскую границу переехали на телегах. На хуторе Михайловском были немцы. Я не понимал: еще недавно немцы были врагами, а теперь, спасаясь от большевиков, мы приехали под их защиту. Толстый немецкий майор сказал через переводчика, что все должны остаться на две недели в *карантине*. Один господин попросил, чтобы его отпустили без карантина, ему необходимо нужно в Киев, как можно скорее. Тогда майор, весь вдруг перекосясь и побагровев, стукнул кулаком по столу и закричал страшным горловым голосом: „Quarantäne!“.

*

В Киеве были немцы, гайдамаки, Скоропадский, добровольцы с трехцветными углами на рукавах. После голодной Москвы нас поразило изобилие: белый хлеб, пирожные, никаких карточек. Потом немцы ушли, и пришел Петлюра. В тот день мы гуляли по Крещатику. По мостовой прошел отряд с винтовками. В толпе кто-то сказал, — это уходит офицерская охрана банков. Навстречу отряду по Крещатику подымалась густая толпа петлюровцев. За головами толпы не было видно, как они встретились. Я только слышал, как голос, верно, высокого полковника, который шел впереди офицерского отряда, повелительно крикнул: «Банда, разойдись!» И сейчас же загремели выстрелы, и толпа побежала. Мы очутились во дворе какого-то дома. Когда стрельба стихла, пошли домой.

На следующий день был парад. Гарцевали всадники в шапках с красными шлыками. Один толстый, усатый, похожий на Тараса Бульбу. Пехота ждала в боковой улице, пока пройдет конница. Потом другой такой же толстый усатый Бульба скомандовал зверским голосом: «Рушь!», и пехота двинулась. Меня этот парад восхитил, как ожившая картина Репина «Запорожцы».

Папа сказал, что петлюровцы недолго продержатся и через месяц в Киеве будут большевики. Мы уехали в Одессу. В Одессе были французы, добровольцы, поляки, грузины. Потом французы ушли и пришел Григорьев. Мы стоим на какой-то широкой улице и вдруг видим, по мостовой идут не в ногу солдаты. Сбоку — конный. Остановив лошадь у запертой будки с прохладительными напитками, он сказал хозяйке: «А ну-ка, отворяй лобазик». Это и были григорьевцы.

Из Одессы мы бежали в Крым на *дубке*. Довольно большой, но без мотора трехмачтовый парусник. На второй день поднялась и долго не утихала буря. Совсем такая, о какой я всегда мечтал. Хо-

дят черные, громадные, как горы, волны. Корма дыбится в небо и с высоты так стремительно ухает в разверстую пучину, что в паху режет. Матросы с криками «потрави, потрави контрашкот» тянули толстую веревку и бревно нижней реи со свистом неслось через всю палубу к другому борту. Паруса не выдерживали. Только матросы подымут, как вихрь с такой страшной силой надувал гнилое, заплатанное полотнище, что оно с треском раздиралось. Под конец остался только самый маленький кливер. В трюме сделалась течь: чемоданы, толкаясь друг о друга, шарахались в воде от борта к борту. Почти всех укачало, а меня — нет. Единственный из всех пассажиров, я помогал матросам выкачивать воду из трюма ручной помпой. Я очень этим гордился. Мысль, что мы можем погибнуть не приходила мне в голову. Сколько я читал про кораблекрушения, герой всегда спасался. Волны выносили его на берег. Так и с нами будет, если дубок потонет.

На пятый день буря стихла. Мы легли спать на крыше трюма. На рассвете папа разбудил меня и, показывая рукой, тихо сказал: «Посмотри». Дубок стоял на якоре. Не чувствовалось ни малейшей качки. Море простиралось гладкое, как озеро. Совсем близко был виден плоский берег. По выбежавшим вперед деревянным мосткам прохаживался военный в высоких сапогах, в черной гимнастерке. Вставшее солнце вдруг ярко осветило у него на плечах золотые погоны. Значит, в Крыму добровольцы, мы спасены.

В Евпатории был чудный пляж. Сады ломились от фруктов. Осенью мы переехали в Севастополь.

*

Мы с братом любили ходить на Графскую пристань, смотреть, как подходят моторные катера с военных кораблей. На носу лихо стоит матрос с багром. Ветер треплет георгиевские ленты его бескозырки. С Графской мы шли в порт, восхищенно смотрели там, как матросы моют на кораблях палубы, *надраивают* до сияния медные части, сигнализируют флажками. Я завидовал им. Полосатые тельники, штаны клёшем, черные бушлаты. И они жили не в квартирах, как все, а в *кубриках*, и даже слова у них были особые, морские: камбуз, шканцы, гафель, спардек, иллюминатор.

Раз я долго зачарованно следил за работой портовой лебедки. Дирижируя рукой, высокий человек в черной флотской шинели властным голосом командовал: «Вира, вира помалу», потом отрывисто: «Гоп!», и протяжно: «Майнааа». Я с волнением слушал эти непонятные, полные таинственного значения слова. Лебедка с грохотом навивала стальной трос, ворочалась жирафьей шеей и опускала груз в трюм *пришвартованного* миноносца «Живой».

*

Я иду по Нахимовскому проспекту и вижу — на углу толпа, над толпой — голова и плечи человека без шапки. Прислонясь спиной

к фонарному столбу, он, верно, стоял на ящике или скамейке. Подойдя ближе, я увидел: он вовсе не стоял, а молодцевато выпятив грудь, висел на толстой веревке, глубоко врезавшейся ему в шею. Буйная прядь кудрявых волос свисала ему на лоб. Широкоскулое лицо будто из глины. Изо рта вывалился большой лиловый язык. Руки скручены за спиной веревкой. Синий шевиотовый пиджак чуть не лопается на богатырских плечах. Языки новых расшнурованных башмаков свисают белой подкладкой наружу. К широкой груди приколота надпись: «известный бандит, его повесили стражники».

Зная, что взрослые видят в смерти какое-то особо важное событие, я смотрел во все глаза. Но я ничего не чувствовал. Восковая кукла из магазина готового платья.

*

Мне шел четырнадцатый год, когда мы уехали из Крыма в Константинополь. Огромное небо меркло над невысокими светлыми скалами все дальше отходившего берега. Кто-то сказал: «Мы, может быть, в последний раз видим русскую землю». Потом несколько дней со всех сторон — только море. Линия горизонта описывала полный круг.

Рядом с пароходом, словно на перегонки, долго мчалась ватага славных, веселых дельфинов. Было радостно смотреть, как они прыгали среди синих сафьяновых волн: то один, то другой вдруг выскочит из воды и несколько метров летит в воздухе. На мгновение кажется: он навсегда вырвется из моря и начнет жить, как птицы. Или с такой же стремительностью они неслись в глубине живыми торпедами.

При входе в Босфор качало. Слева, сквозь расходившийся туман проступал высокий, первозданно-дикий берег. Разбиваясь, волны взлетали там белыми столбами до самого верха обрывистых желтых скал. Порывы ветра доносили оттуда могучий грохот. Показывая рукой на какое-то место в теснящихся волнах, господин с бледным от страха лицом кричал, что там мина.

Потом и с правой стороны показался берег: дома, сады, башни, какие-то развалины. Мне было странно: наша жизнь в России занимала *все место*, а теперь начиналась новая, неизвестная земля. Там город с мечетями, как в «Тысяче и одной ночи», и жители не говорят по-русски и ничего о нас не знают.

Но когда пароход встал на якорь, и в красивых лодках подплыли люди в красных фесках и что-то кричали на непонятном языке и махали руками, я почувствовал: они вовсе не странные, а именно такие, какими должны быть здесь люди, и уже Россия и Севастополь показались мне далекими и невообразимыми.

Мне трудно вспомнить теперь чувство безотчетной тоски и сожаления, какое я испытывал тогда при переездах. Теперь я вижу, это

было недоумение, что я не вездесущ. Весь мир должен быть при мне, все города, все страны, все люди. Никогда не расставаться.

*

Переезд на чужбину не разрушил космоса моего детства. Во временной жизни в Константинополе, — будущей весной мы вернемся в Москву, — мы жили как в экстерриториальной России, перевезенной в Константинополь на полсотне пароходов и военных транспортеров.

На улице Пера в толпе слышалась русская речь, встречалось много добровольческих офицеров, в обтрепанных английских шинелях, в черкесках, в папахах. Открылся русский ресторан, с полотняной вывеской над входом: «Трактир Сарматова и Вертинского». Бывшие полковники продавали пончики и русскую газету. Турки научились говорить «карашо». В барах граммофоны играли Стеньку Разина. На Таксиме русский силач крутил вручную карусель.

Все наши знакомые были русские, мы ходили в «Русский маяк» на улице Брусса. Здесь была столовая, а по вечерам устраивались литературно-музыкальные вечера. На одном таком вечере, после выступления носатого скрипача, толстый конферансье объявил: «А теперь прочтет свои стихи молодой поэт Борис Глебов. Господа, предупреждаю, не хватайтесь за стулья, он *футурист!*» Глебов вышел на середину эстрады. Засунув руки в карманы штанов, поднял глаза к потолку. Он был очень бледен. Потом я узнал, что он старше меня только на три года. Но тогда я был еще маленьким мальчиком, а он уже ходил в пиджаке, в галстуке, как взрослый. Мне показалось, он выглядит именно так, как должен выглядеть поэт-футурист, хотя до того я никогда не видел поэтов-футуристов и не знал что такое футуризм. Глебов начал читать стихи нараспев, в нос, почти беззвучным голооом. Ему совсем жидко аплодировали. Эмигранты считали тогда футуристов большевиками.

Раз Глебов вбежал в комнату, где собирались скауты. В этот день он бегал и смеялся, с тем бурным весельем, с каким в избытке молодых сил носятся щенки. На нем был черный романовский полушубок. Играя во что-то, Глебов надел его не в рукава, а на голову. Он сказал нам, что скоро уезжает в Париж. Хвастался, что говорит по-французски, даже знает «два парижских арго».

Только много лет спустя, в Париже, когда я опять встретил Глебова, я с удивлением понял, что в его декадентских стихах не было ничего футуристического.

*

Мы поступили в открывшуюся на улице Галата русскую гимназию. Эту гимназию скоро перевели в Чехословакию, в Моравскую

Тщебову, разместили там в бараках бывшего лагеря для русских военнопленных.

VIII

Моя вера, что все происходит по какому-то предустановленному доброму порядку, впервые поколебалась только когда брат заболел менингитом. До тех пор я все еще жил, как в вечности. Только теперь я в первый раз почувствовал, что за привычной действительностью проступает что-то чудовищное, невместимое сознанием.

Брату становилось все хуже. Папе послали телеграмму и он приехал из Константинополя. По дороге в гимназический лазарет, где лежал Юра, папа спросил меня, почему я такой угрюмый. Меня это удивило. Мне никто еще не говорил, что я угрюмый. Не зная, что ответить, я сказал: «Это потому, что Юра болен».

Старшая сестра милосердия встретила нас на крыльце лазарета. По тому, как она посмотрела папе в лицо и молча поцеловала его в губы, я понял, что брату очень плохо.

В этот день хоронили другого мальчика. У него тоже был менингит. Говорили — это эпидемия. Отец мальчика, известный генерал, опоздал на похороны, его поезд где-то застрял. Меня поразило выражение отчаяния на лице папы, когда он шел за гробом этого мальчика. Он, не стесняясь, всхлипывал у всех на виду, а ведь он никогда этого мальчика не видел. Я все еще не понимал.

На следующий день меня позвали проститься с братом. Перед тем меня долго к нему не пускали, боялись заразы. Когда брат повернул ко мне голову, я увидел, — у него были теперь другие глаза: темные, глубоко запавшие. Я не понимал, узнает ли он меня. Меня это поразило. Я не думал, что он может меня не узнать. И он не мог говорить. Этого я тоже не ожидал. Застонав, он обессиленно отвернулся с выражением, в котором мне почудилась жалоба на что-то невидимое, но неодолимое, что причиняло ему ужасное мучение и не давало его сознанию удержаться в жизни.

Меня послали принести воскресную одежду брата. Выходя из лазарета я встретил ученицу старшего класса, в присутствии которой всегда испытывал неясное чувство смущения, влюбленности и желания. С чувством тщеславного удовлетворения я заметил, она взглянула на меня с любопытством, как на участника печального, но важного и торжественного события. Я представился себе чуть ли не героем.

Придя в дортуар, я начал, присев на корточки, вынимать из тумбочки вещи брата. Все были в классе на уроках. Только один ученик, по прозвищу Лорд, почему-то остался. Он подошел ко мне и стал расспрашивать. Подражая тому, как об этом рассказывал папа, я сказал Лорду, что генерал, отец мальчика, не успел приехать на похороны. Лорд с досадой воскликнул, что вот так всегда

бывает, генерал опоздал, а мой отец приехал, хотя это не так к спеху было, так как мой брат не так опасно болен.

Тогда́ я сказал: «нет, он тоже умер», и вдруг слезы хлынули у меня из глаз, и я не мог удержаться и плакал навзрыд. Лорд стоял надо мной с неприятной улыбкой замешательства.

*

Маленькие пожелтевшие фотографии. Гроб, заваленный венками, на лентах надписи: «Дорогому Юрочке от 8-го класса» и еще каких-то классов, не разобрать. К длинным деревянным пальцам прислонен крест. Брат был не по летам высокий, а за время болезни еще вырос. Говорили, что в городе с трудом нашли достаточно большой гроб. На другой карточке — мертвая голова брата, с восковыми веками и длинными, будто подкрашенными ресницами. Строгое, чужое лицо. Незнакомый, заострившийся, не такой как при жизни нос. Папа тоже это заметил. Он всегда в шутку говорил, что у брата нос «сапожком», а в гробу у него нос был с горбинкой.

Дома мы никогда не говорили о смерти брата. Это было слишком большое горе, чтобы об этом говорить. Когда брат мне вспоминался, я сейчас же заставлял себя думать о другом. Это легко было: действие какого-то механизма самосохранения не давало мне сосредоточиться на мыслях о смерти брата. Да никаких мыслей и не могло быть. Разум останавливался перед противоречием между продолжавшейся жизнью и несоединимым с жизнью ужасом уничтожения брата кокой-то бессмысленной, беспощадной силой. Если думать об этом — нельзя жить.

Много лет спустя, когда я прочел у Карлейля, в «Сартор Резартус», что небо и земля казались его герою огромными челюстями какого-то всепожирающего чудовища, я подумал, что это нелепое на первый взгляд сравнение ближе всего передавало мое тогдашнее чувство.

И брат так мучился перед смертью. За что? Он был такой добрый, никому не делал зла. Тем удивительнее мне было слушать, что он умер в таких мучениях по воле того Боженьки, которому меня учили в детстве молиться. Я не мог понять, как можно тогда любить такого Бога.

Не позволяя себе думать о смерти брата, так как я слишком его любил, я постепенно начал его забывать. С годами любовь к нему умерла в моем сердце. Я *простил* его гибель, простил из равнодушия.Теперь, на пороге старости, описываю его смерть, надеясь, что это придаст моим запискам человеческую значительность, даже стараюсь, чтобы художественно получилось. Но когда я вижу брата во сне, я чувствую к нему такую же любовь, как когда он был жив и мне радостно от его присутствия, хотя даже во сне я помню, что с ним случилось что-то непоправимое, сделавшее его не таким, как живые.

*

После смерти брата припадки рассеянности стали находить на меня все чаще. Вскоре после похорон я поехал на побывку в Прагу, где поселились тогда мои родители. Я умолил их меня выписать. Мне что-то необыкновенно радостное и счастливое представлялось, когда я думал об этой поездке. Гимназия, с уроками, учителями и однообразным распорядком дней давно мне опостылела. Я мечтал о жизни, влюбленности, свободе. Но в Праге, как только я вышел с вокзала, на меня сразу же напала беспричинная тоска. Идя по улице, как по дну ущелья, я недоумевал, как мои родители могли жить в одном из этих чужих, враждебных домов. Я не мог вспомнить чего я ждал: здесь еще скучнее и печальнее, чем в гимназии. Я вернулся в Тшебову раньше срока. Но когда я увидел бараки и знакомые лица гимназистов и учителей, тоска не только не прошла, а еще усилилась. С тех пор я все чаще испытывал чувство беспричинной грусти и сожаления.

С годами это чувство развилось в настоящий душевный недуг.

*

Я был уже студентом в Праге, когда у меня появилась вода в коленях. Пришлось долго лежать с гипсовыми повязками. Шли длинные, похожие один на другой дни. Я один в комнате, отделен от мира, от жизни людей. Я не знал, о чем думать. Смотря на стены и потолок, я удивлялся их таинственному безмолвному присутствию, их равнодушию ко мне.

К лету опухоль в коленях опала. Я начал ходить, опираясь на палку. Отец послал меня на курорт, в Падебрады. Днем я гулял по городскому саду, смотрел на толпу, потом шел к себе на окраину.

В тот день с утра шел дождь. Наконец перестал. Я растворил окно. С улицы потянуло сыростью. Хор воробьев еще не совсем уверенно щебетал детскими голосами. Через дорогу, сквозь густую листву деревьев проступает желтая стена костёла. За костёлом — сад, пустыри. Дребезжа проехала порожняя телега. Мужик, махнув кнутом, протяжно сказал: «Иоооо!» Худой, сутулый. Из-под козырька кепки, сквозь белесые ресницы угрюмо смотрят оловянные глаза. Лицо узкое, в рыжей щетине давно давно небритой бороды. Шея — сухой корень.

Телега давно проехала, а я все стоял, прислушиваясь к замиравшему вдали стуку колес. Я хотел вспомнить какое-то объяснение и вдруг с беспокойством понял: никакого объяснения нет.

Перед тем я думал о даме, которую видел вчера на гуляньи. Она шла мне навстречу, как «прекрасный корабль» Бодлера. Я жалел, что слишком робок и беден, чтобы с нею познакомиться. Еще я думал: скоро осень, надо возвращаться в Прагу, держать экзамены. Но теперь я помнил обо всем этом недостоверно, как помнишь о виденном во сне. Будто очнувшись в каком-то незнакомом месте, я

смотрел в окно с недоумение. Как я попал сюда? Где в бесконечности, может быть, несуществующего на самом деле пространства стоит этот костёл, где проехал мужик? Я нахожусь *нигде*, в бездонной пустоте. Там никого нет.

Я чувствовал такую же тоску, как перед приступом тошноты, но только еще более томительную. Казалось стена костёла, словно мигая в хрустальном струении воздуха, все время неуловимо пропадает и мгновенно снова появляется. Вот это и есть действительность! Ничего другого не будет, никакого значения, никакого будущего. Моя жизнь останавливаясь исчезала.

Это невыносимое чувство почти сейчас же прошло, но еще долго оставалась память о потрясении, таком же неожиданном и отвратительном, как когда оступившись я раз упал с подножки трамвая.

Только позднее, когда я переехал в Париж, я стал вспоминать, что за головокружением пустоты, которое я тогда испытал, в моем сознании, в самой глубине было еще что-то другое. Смотря на картины в Лувре, я учился лучше разбираться в моих впечатлениях. Я припоминал теперь, как солнце, выйдя из-за облаков, чудесно осветило линялую холщовую куртку на сустлой спине мужика и эту старую белую лошадь. Как медленно она ступала разбитыми ногами. Сколько смиренной кротости было в ее понурой голове, сколько простодушия в расчесанной детской челке на лбу, такой нелепой при ее громоздком, распертом ободьями ребер туловище. Вместе с телегой и мужиком она на мгновение была вписана в четырехугольник оконной рамы с таким совершенством, будто окно выходило в вечность. Там были тишина, и мир, и мягкий свет, как в раю. Это и был рай, и эта прелестная белая лошадь — ангел. Тогда это не дошло до моего внимания, а теперь я все это видел, как увидел бы настоящий художник, таможенник Руссо, например. На одной его картине такая белая лошадь стоит на лугу.

Я завидовал художникам. Они всегда видели природу так, как я видел только в редчайшие мгновения, вернее, даже не видел, а только предчувствовал, что сейчас увижу, только мучительно старался увидеть.

*

Припадки рассеянности находили на меня все чаще. Достигая наибольшего напряжения, моя тоска соединялась со странным мечтанием. Что-то вдруг происходило с моими восприятиями. Мне мерещилось, природа *смотрит* на меня с таким выражением, словно хочет открыть мне что-то, что непостижимо присутствует *по ту ее сторону*. Еще мгновение, и я все пойму, все мои недоумения рассеются, наступит небывалая, блаженная радость.

Но это мгновение никогда не наступало. Напрасно я старался удержать это чувство приближавшегося восхищения, вглядеться как оно зарождается в глубине моего сознания. Я ничего не находил. Только невыносимое чувство остановки жизни.

И все-таки я не мог забыть эти мгновения. Пусть они были только признаком ослабления во мне способности жить и действовать. По сравнению с этим необъяснимым ожиданием все остальное казалось скучным, неважным. Если бы мне предложили взамен все, о чем я мечтал: успех у женщин, славу, деньги, я не согласился бы отказаться от этого мучительного, но блаженного, никогда не исполнявшегося предчувствия.

Как мог я думать, что мне откроется загадка жизни? Ведь я знал, ни одному ученому, ни одному мудрецу она не открылась. Несколько тысячелетий напрасно бились. А мне вдруг откроется. Но я все еще жил, как в детстве, не подозревая, что мир на самом деле, может быть, вовсе не такой, каким я его вижу, может быть вообще не познаваем. Если бы мне сказали тогда, что абсолютное знание недоступно человеку, я этому не поверил бы: это был бы такой обман! Ведь мне всегда так хотелось понять значение жизни и мира. Без этой надежды все казалось бессмысленным.

Между тем как раз из-за моей рассеянности подвиг познания мне не давался. Моя молодость совпала с началом великой научной революции, но я не мог понять этих новых теорий, так как даже из гимназического курса физики ничего не помнил. К тому же мне казалось, если даже я пойму все это, это будет только умозрительное знание, а вовсе не то непосредственное чувство соединения с бытием, какое было в детстве, когда я еще не знал, что не знаю как устроен мир.

Я не только физикой, я даже философией никогда не пробовал заняться по-настоящему. Не мог сосредоточиться, не мог следить за сложными рассуждениями, и всегда так плохо себя чувствовал, так быстро уставал. Даже в тех редких случаях, когда мне удавалось понять и запомнить какое-нибудь отвлеченное рассуждение, я чувствовал, смотря на небо, дома, деревья, несоизмеримость этого рассуждения с их молчанием.

Но именно потому, что я так мучительно сознавал мое умственное бессилие и мою неспособность жить, мне казалось, что как бы в награду за это я увижу что-то, скрытое от других людей, слишком занятых насущными делами и заботами. Я ждал, это само собой произойдет. Я буду идти по улице и вдруг. . .

*

Несмотря на эти припадки рассеянности, я продолжал жить идеями и чувствами большинства русских эмигрантов. Бывшие воины белой армии принесли с собой на чужбину завет борьбы со злом большевизма. Я верил, это был тот же идеал, который вложило мне в душу полученное мною русское воспитание. Близкое к мистической любви, возвышенное и благоговейное чувство любви к России, как к священному существу, священному бытию, соединенному с абсолютной Правдой, со всем что есть в мире доброго и прекрасно-

го. Это за Россию, за правду, за добро шли на смерть добровольцы. Они до конца сохранили верность союзникам. Но вот награда — союзники бросили их на гибель.

Солдаты побежденной Белой армии рассеялись по европейским странам с чувством глубокой обиды. Они не нашли на Западе социальной и человеческой правды. Они рассказывали о таких преступлениях и таких страданиях, что, казалось, камни должны были возопить. Но никто не хотел их слушать. Высокомерное равнодушие бывших союзников порождало желание доказать, что русским изгнанникам открылось в апокалипсисе революции и гражданской войны знание, недоступное благополучному «мещанскому» Западу.

Молодой невежда, гордый сознанием своей принадлежности к избранному эмигрантскому народу, я ходил по улицам Праги с сонным равнодушием варвара. Недавно я видел фильм в красках. Показывали Прагу. Прелестные улицы и площади, прелестные дворцы, башни, церкви, старые дома. Я ничего этого не видел, не помнил. Прямо плакать хотелось от сожаления.

Переехав в Париж, я в первое время еще продолжал ходить на эмигрантские политические собрания. Это были годы экономического кризиса и безработицы. Эмигрантам, и без того бесправным и обездоленным, приходилось особенно трудно. Социологи когда-нибудь опишут эмигрантскую отверженность как непредвиденный Марксом особый вид отчуждения, особый вид шизофрении: бывшие штабс-капитаны, став на чужбине чернорабочими, шоферами такси, шахтерами, безработными, все еще продолжали чувствовать себя офицерами Белой армии, посланниками России, призванной, несмотря на ее унижение, спасти мир. Так возникло евразийство и другие «пореволюционные» течения, основанные на вере в мессианское назначение русского народа создать социальный строй на христианских основах.

Я стал евразийцем. Меня обратил бывший добровольческий офицер из студентов. Высокий, с огромными византийскими глазами, необыкновенный человек полуеврейского происхождения. Вся его жизнь была беззаветным служением Правде и России. С той же готовностью на подвиг и смерть, с какой он пошел в Белую армию, он служил теперь евразийству. Я не разбирался в евразийском учении, но когда он сказал мне, что евразийцы хотят строить на христианстве, я сразу ему поверил. Поверил, что евразийство стоит за ту высшую Правду, к какой всегда стремилась Россия.

Человек этот позднее перешел в большевики. Когда кто-то спросил его, а как же его христианство, он ответил, что коммунизм — это тоже религия. Поверив, он переставал рассуждать и во имя истинного учения был готов жертвовать и своей, и чужой жизнью. Незадолго до войны он участвовал в убийстве важного невозвращенца, после провала бежал в Советский Союз. Там, как об этом впоследствии писали, «подвергся в эпоху культа личности необоснованным репрессиям»: его расстреляли.

*

Увлечение евразийством только постепенно уступало во мне место все растущей беспричинной тревоге. Перелом наступил, когда у Андре Жида в «Палюд» я прочел: «Жизнь — жизнь других людей! что это значит жить?» Я был потрясен: это обо мне написано, о моем заветном. Я с волнением понял это — единственное, что мне по-настоящему нужно: понять, что это значит жить. А евразийство, с его «правящим отбором», «бытовым исповедничеством», «идеократией», «симфоническими личностями» и «ритмами евразийской истории», не имеет никакого отношения к моей жизни.

В «Палюд» герой, обращаясь к своей жене Жизель, часто рыдал. У меня не было жены, но я мечтал о влюбленности, и мне тоже хотелось плакать. Почти все время я чувствовал беспричинную нервическую расслабленность. Не знаю, было ли это что-нибудь фрейдовское или, может быть, следствие эмигрантской отверженности и ослабления связей, которые соединяют человека с обществом, как пчелу с ульем. Говорят, пчелы чахнут вдали от родного улья.

Я нигде не работал. Отец присылал мне из Праги немного денег, чтобы я мог продолжать учиться. Но вместо того, чтобы ходить на лекции, я просиживал все ночи в монпарнасских кафе. Здесь я опять встретил Бориса Глебова. К моему удивлению, он совсем меня не помнил по Константинополю. Он тоже нигде не работал и был еще бедне меня, и болен тою же болезнью. Те же чувства его мучили: комплекс эмигрантской отверженности, унижение бедности, ужас перед миром, неудовлетворенная жажда любви, беспричинное невыносимое беспокойство, беспричинное отчаяние, безомное ожидание «встречи с Богом». Но только он переживал все это с удесятеренной силой. Это делало его неспособным жить, несмотря на страстную жажду жизни. Еще больше, чем во мне, в нем было расстроено то особое чувство, которое позволяет человеку правильно определять свое положение в обществе. Он всегда чувствовал себя затравленным. Неумение держать себя на людях постоянно доставляло ему унизительные мучения. А ему нужны были признание, любовь, почет. Однажды он мне сказал: «Почему никогда так не бывает: придешь на собрание и скромно сядешь в самом последнем ряду. Но вот тебя увидят и скажут: «Борис Вячеславович, почему вы так далеко сели, пожалуйста, сюда!» И поведут, и посадят на почетное место, рядом с председателем».

Ему все казалось, все хотят его обидеть, обойти, устраивают за его спиной встречи, обеды, собрания, на которые его не зовут. Но несмотря на эту подозрительность, он всегда кем-нибудь простодушно восхищался. В его рассказах самые обыкновенные люди чудесно превращались в богачей, в красавцев, в сказочных богатырей, в мифологических героев, в ангелов. Он видел все словно в трубку какого-то волшебного калейдоскопа. Его разговор все время расцветал фейерверками неожиданных и прелестных сравнений. Так фокусник на эстраде вдруг вынимает из цилиндра разноцвет-

ные платки, белого кролика, белых голубков. С шорохом расправляя крылья, они взлетают над его головой.

И он писал необыкновенные стихи. Плохо разбираясь в поэзии, я все же чувствовал, что его стихи, при всех их явных недостатках, были подлинные, а не подделка под стихи, написанные другими поэтами. Казалось, он не сочинял их, а они сами рождались из тех то невыразимо сладостных, то мучительных видений, которые всегда снились его сознанию.

*

Я вел тогда дневник. В начале войны, перед отъездом в армию я уничтожил тетради с моими записями. Не хотел, чтобы кто-нибудь их прочел, если не вернусь. Странно. Я старался писать о себе как можно откровеннее. Мне казалось, если я не расскажу о себе всю правду, если никто не будет знать о всех моих мыслях и чувствах, то выйдет, что моей жизни как бы совсем не было. Ведь то, о чем никто не знает, все равно как не существует. Но именно потому, что я писал откровенно, я боялся, что мои дневники попадут кому-нибудь в руки. Я помню, там были изо дня в день описания постоянно мучивших меня сладострастных мечтаний, постоянного чувства тревоги, беспричинного отчаяния.

Несколько отрывков все же сохранилось. Мне мучительно грустно их теперь перечитывать. Как нелепо, как уныло прошла моя молодость. Сколько невозвратимых лучших лет жизни я пропустил! Был молод, здоров, была возможность учиться. Сколько мог бы узнать, прочесть, увидеть. А я все ночи просиживал в монпарнасских кафе.

IX

Сперва знаменитая монпарнасская натурщица Кики подралась с полусумасшедшей эстонкой, тоже, кажется, натурщицей. Красношекая эстонка подступала к Кики, угрожающе размахивая руками и выпятив и без того высокую грудь. Кики ткнула ее тогда в лицо прямым ударом. Сидя на плече высокого русского художника подвыпившая хорошенькая натурщица, совсем еще девочка, закричала: „Tu as raison, Kiki!“*)

Только растащили Кики и эстонку, как Глебов, матерясь, бросился с кулаками на известного кинематографического актера. Глебов был безнадежно влюблен в одну из бывших тут дам, и вот ему показалось, что этот актер за ней ухаживает. Мне пришлось Глебова оттаскивать. Он всегда носил непроницаемо-черные очки, но в свалке они, верно, слетели. Я впервые увидел его неестественно маленькие безумные глаза — два вытащенных из глубины на

*) Ты права, Кики.

беспощадный свет чернильно-лиловых молюска в открытых ножом кровавых раковинах.

Когда Глебов успокоился, он повел нас, нескольких своих «учеников», бродить по Парижу. Мы долго шли по пустынным набережным Сены. Слева, в аллегорическом молчании открывалась одна за другой призрачные в темноте перспективы боковых улиц. Напоминая романтические развалины на картине какого-то художника, может быть, Клода Лорена, карнизы спящих домов таинственно чернели в ночном небе.

Показывая на старый особняк с закрытыми ставнями окнами, Глебов с ласковой усмешкой сказал, что этот дом только случайно попал в Париж и чувствует себя потерянным в чужом большом городе, все грезит о своем родимом Безансоне.

Изаковский — невысокий, курчавый, в телескопных очках — тоже старался говорить образно и поэтично, только у него не так хорошо выходило, как у Глебова. Подложенный ватой пиджак придавал ему широкоплечесть гоплита, но это было обманчивое впечатление. У меня болела голова.

Постепенно дома становились из черных темно-синими. Как добрели до бывшей Королевской площади, взошло солнце. Озаренные утренними лучами прелестные розовые дома просыпались в стране, о которой я всегда мечтал.

Последний привал в открытом всю ночь кафе на площади Бастилии. Разговор угасает. Глебов внезапно говорит: «Я только призрак. Вы меня любите, Гуськов?» Чувствуя неловкость, я молчу. «А вы, Изаковский, вы меня любите?». — Изаковский, задохнувшись: «В прошлый раз, когда вы говорили, что я не должен писать стихи, я вас ненавидел, Борис. Но теперь, когда вы сказали, что вы призрак, я вами восхищаюсь».

Окна кафе стали райски-голубыми. С улицы все громче вторгается шум проснувшегося города. Все наши спутники давно разошлись. Я тоже встаю. Глебов говорит: «Я еще посижу немного». Обернувшись в дверях, я вижу, как, закрыв лицо руками, он ложится головой на стол. Как странно. Я постеснялся бы.

В метро мутит от теплой вони. На остановках, громыхая ногами, входят люди с хмурыми, еще заспанными лицами. Они рано встали, едут на работу.

Наконец, дома. Несмотря на усталость, долго не могу заснуть.

В маленькой тесной комнате я стал свидетелем странной болезни одной женщины: у нее на лбу появилось кровавое пятно. В этом было что-то необыкновенно страшное и отвратительное. Пятно все увеличивалось. Я смотрел на него до боли в глазах. И вдруг с омерзительной радостью почувствовал, у меня у самого появляется на лбу такое же пятно. Я вспомнил, я дрался на дуэли и мой противник ранил меня в голову, я умираю. Смотря в зеркало на свое бледное, с кровавым пятном на лбу лицо, я вспоминаю, как часто в жизни на яву, разглядывая себя в зеркало, я думал: «Кто я? Что со мной будет? Что это значит — жить?» И вот теперь я

смотрю на себя в зеркало во сне, мое лицо все так же необъяснимо, но теперь я знаю, оно сейчас исчезнет, я умру, ничего не узнав. Я спрашиваю доктора, поможет ли мне операция. Доктор уклончиво говорит: «Ничего не известно. Надо пробовать». Я, чувствуя в голове нестерпимую боль: «Но не будет ли мне слишком больно?».

Тут на мгновение я просыпаюсь. Голова болит как раз в том месте, где во сне у меня была рана на лбу. Снова засыпая, с облегчением думаю: это мне только приснилось, что я убит на дуэли, я никогда не умру.

*

Любимый Лионский вокзал. Суетливая радостная толпа. Едут в отпуск отдыхать, плавать, любить. Я всегда уезжал с ожиданием счастья. Голос из громкоговорителя протяжно повторяет приглашение в дорогу: «Париж—Дижон—Лион—Средиземное море». Свисток. Маленький кругленький француз, с красным от вина лицом неловко чмокнув в щеку похожего на него молодого солдата, соскакивает с подножки. Я видел, перед тем, зная что так принято при расставании, он старался что-то сказать, но, не находя слов, только беспомощно разводил руками.

Поезд тронулся. В коридоре молодые мастеровые запели: „Au revoir, Paname, au revoir, Paname!*)

Когда вагон вышел из-под закопченного стеклянного навеса вокзала, я у видел, солнце уже зашло. Небо меркло, но было еще прозрачное, словно из тончайшего, освещенного изнутри фарфора. В бледно-сиреневом неземном сумраке бетонные столбы и водокачки бесшумно проходили в окне бесплотными, нежными, летейскими тенями. И чем дальше отодвигался Париж, тем прекраснее становилось над ним небо. Наступала ночь, а оно все продолжало светиться, не поддаваясь печали сгущавшейся темноты.

Действительность по-прежнему оставалась непостижимой и в своей непостижимости — призрачной и страшной. Но это медленно угасавшее небо было так прекрасно! Казалось, оно уравновешивает ужас бездыханного мира.

И все-таки ночь превозмогла. В окно больше ничего не видно. Только летят в кромешной тьме золотые искры. Неумолчный стук колес. Дремота.

Когда я очнулся, поезд стоял на незнакомой мне станции. На перроне редкие ночные пассажиры торопливо шарахаются к дверцам вагонов. Железнодорожники с фонарями переговариваются осипшими от тумана, уже не парижскими голосами.

В Лионе опять проснулся. В предрассветном тумане — широкая серая река. По берегам — такие же серые, угрюмые глыбы домов.

Перед Марселем пасмурный простор Этан де Бер. Я не мог понять: озеро, лиман? А за Марселем в окне все чаще стало показы-

---

*) До свидания Панам. (Панам — Париж на арго).

ваться настоящее море. Я смотрел с волнением, будто в первый раз видел. Дивно сверкая на солнце, оно простиралось до самого неба — великое, прекрасное, чуждое всем волнениям человеческой жизни.

Потом пошли уже дачные места, кипарисы, пинии, смоковницы, виноградники, кирпично-красная земля. В открытые окна веял жаркий южный воздух. Здесь небо начиналось не как в городе за крышами домов, а сразу за окном — нагретая солнцем, светлая, радостная бездна.

На какой-то маленькой станции стояла на перроне молодая загорелая женщина, с купальным халатом на бессмертно круглой, как у греческой статуи, руке. Всегда снившийся мне земной Элизиум. Я подумал, не будь я так беден, я вернулся бы на эту станцию, объехал бы в поисках счастья все побережье.

*

На море моя болезнь почти совсем прошла. Только один раз я испытал мое всегдашнее беспокойство. Я забыл на маленьком далеком пляже лопатку, которую одолжил у отельного служителя. Вспомнил только вечером. Это было неприятно: лопатка могла пропасть. Я сел в плоскодонку. Ночь выдалась совсем светлая. Лодка летела по глади залива. Слабый плеск, журчание. То тут, то там вспыхивают зыбкие, лунные блики. В отдалении они сливались в сотканную из расплавленного серебра, сверкающую дорогу. Она легла поперек моря, как драгоценное покрывало на голову и плечи прекрасной женщины. Чем ближе к небу, тем все шире растиралась эта дорога, тем торжественнее и ярче горела, переливаясь живым сказочным огнем.

Я скоро догреб до пляжа, где забыл лопатку. Но я не узнавал места. Вода у берега совсем прозрачная, видно песчаное дно. Мне вдруг почудилось, берег движется, а лодка стоит над светлой бездной.

Обратно было трудно грести. Поднявшийся ветер гнал навстечу невысокие волны. Вздрагивая от их ударов, плоскодонка со стуком и плеском прыгала с гребня на гребень. Казалось, она совсем не продвигается. Сколько времени я уже греб, а пелена большого пляжа все так же неясно белела далеко впереди. Я греб изо всех сил. Меня не оставляло чувство моей потерянности в мире.

*

Ездил в Монако. Великолепный, весь в белом полицейский, смотря на меня с непонятной враждебностью, неохотно объяснил как пройти в археологический музей.

Музей небольшой. На полках какие-то обглоданные человеческие головы, с длинными, будто приклеенными патлами. Казалось, в сгнивших глазницах еще тлеет злобный, безумный взгляд. В от-

дельном стеклянном ящике — мумия ребенка. Болезненно намор-щенный лобик, кривая щель почти акульего рта, полного больших редких зубов.

Я прочел объяснительные надписи, но так и не понял, кто эти люди и когда они жили. Верно, в каменном веке. Смотря на их го-ловы, я с содроганием думал о их жизни: всегда на чеку, всегда страх, всегда готовность к убийству. Но разве они виноваты? Не научись они убивать, их бы самих убивали и пожирали другие звери. У них не было выбора: или убивать, или погибнуть. А уби-вать нечем: ни клыков, ни когтей. Вот они и стали пользоваться всем, что попадет под руку: камнями, сучьями, костями больших животных. Потом научились мастерить топоры, копья, устраивать западни.

Первая голова на полке смотрела на меня настороженно. Она была больше других. Верно, вожак. Представив себе, как он, мой пещерный предок, убийца, отец цивилизации, таясь в засаде на рубеже территории своего родимого племени, подстерегал добычу или вражеских воинов, я чувствовал отвращение и скуку. А с него бы брать пример. Слабый, голый, без когтей, без клыков, он не-престанно подвергался опасностям ведь не только для того, чтобы выжить самому. Он добывал пропитание для своих самок и дете-нышей, охранял их от медведей, леопардов, драконов. Ему было не до гамлетовских вопросов. Инстинктивно зная, что прежде чем философствовать нужно жить, он мужественно и просто выполнял свое назначение защитника, добытчика, убийцы. Смотря на него теперь почти с дружеским чувством, я чуть не протянул руку, что-бы погладить его голову в клочьях собачей шерсти. Мы, теперешние люди, вовсе не лучше. Под белым кителем того высокомерного полицейского, пусть он даже добрый малый, бьется сердце такого же убийцы, как этот наш далекий пращур. Я сам рожден убийцей. Но, — вероятно, следствие моей болезни, — мысль об убийстве вы-зывала во мне тоскливый ужас, нежелание жить.

После археологического музея пошел в аквариум. Вдоль сте-клянной стенки по змеиному извиваются пятнистые лентообразные рыбы. Другие высовывались из гротов, качая головами, увенчан-ными омерзительными наростами. Они все время жадно откры-вали пасть. В стеклянных ящиках со спиртом — акулы разной величины.

С тех пор мне часто мерещилась скука бездонной кромешной ночи, где все живое кишело в свирепом сладострастии убийства и пожирания. Это природа так *устроила*. Эти гнусные рыбы-змеи не виноваты, что они такие. И акула не виновата, что она создана не-насытной и кровожадной. Чтобы жить, она должна убивать

Как это могло быть, если жизнь сотворена Богом? Бог не мог этого хотеть. Как же тогда это произошло, что все живое обречено существовать за счет живого? Зла не должно быть, а оно проникает всю жизнь, оно в самом источнике жизни, неотъемлемая часть жизни. Все толкования догмата грехопадения меня не убеждали.

Все это придумали, так как не могли объяснить откуда зло, если Бог всемогущ.

Я не верил богословским рассуждениям, но читая Нагорную проповедь, с удивлением чувствовал: это абсолютная, божественная Истина. Как ни странно, именно в том, что эта проповедь утверждала прямо противоположное тому, чему учили наглядные примеры борьбы за существование, я видел залог ее истинности. Пусть христианство по силам только немногим святым. Но все-таки значит есть этот «путь, ведущий в жизнь», в другое измерение бытия, более глубокое чем мир природы, где все подчинено закону борьбы и убийства.

*

Я вернулся с купания. Сквозь щели деревянных ставен белая стена ослепительного света южного дня. Стаскивая тяжелые от воды и песка плавки, я чувствовал, как от долгого плавания мое тело стало соленым, по-морскому, по-тюленьи гладким, каким и *должно* быть тело у человека.

Почти одновременно мне вспомнился виденный ночью сон. Греясь на солнце, мы с братом лежим на высоком помосте на сваях, вбитых далеко от берега в морское дно. Так хорошо, такое счастье. Брат веселый, здоровый. И он совсем взрослый, каким бы он был теперь, если бы не умер много лет тому назад.

*

Уже начинались осенние бури, когда пришло из Праги письмо от отца. Он настаивал, чтобы я возвращался в Париж продолжать учиться в Сорбонне. Он писал: «Если можешь, дай мне честное слово, поклянись мне, что добьешься получения диплома. Если я буду уверен в том, что ты доведешь начатое тобой дело до конца, мне легче будет существовать, и реже станут те тревожные и мучительные ночи, которые приходится проводить теперь!»

Прочтя письмо, я стал ходить по комнате, рассеянно взглядывал в открытое окно. Грозно вздымаясь, волны шли на берег и с грохотом рушились, заливая осиротелый пляж почти до самых дач. Высоко в небе ветер гнал белые облака. Их тени стремительно шли по серебрянному морю зловещими черными полосами.

*

Лекция в Сорбонне. Из высоких готических окон косо падают дымные потоки дневного света. По стенам темные, плохо различимые исторические картины. Передо мной уходят вниз ряды студенческих голов и плеч. На самом дне амфитеатра, за дубовым прила[illegible]ком кафедры — знаменитый профессор. В свете настольной лампы огромный лоб лоснится, как выкрашенная розовой масляной краской картонная тиара. В благоговейной тишине глухой голос жреца возносит таинственные моления.

Я стараюсь внимательно слушать. Меня восхищает, как про-

фессор без усилия развивает трудные и сложные мысли. Какая могучая умственная машина у него в голове! какая эрудиция! какая память! Начать бы серьезно заниматься, вот мой отец обрадуется...

Как фокусник, когда тот объясняет, что показанное им чудо вовсе не чудо, а только отвод глаз, профессор, снисходительно улыбаясь, неожиданно говорит: «Так ставит проблему Леон Дюги, но в моей последней работе я показал ошибочность его предпосылок».

Я с тревогой смотрю на высокий лоб профессора. Его слова звучат теперь в *внешнем* пространстве. Я не понимаю их значения. Он говорит на *забытом* мною языке. Все становится странным. Вот хотя бы этот студент передо мной. Когда он поворачивает голову, я вижу выпуклость его глаза не на грунте лица, как обычно, а прямо в пространстве. Красивый, бессмысленный предмет из цветного венецианского стекла. Глаз такого же человека, как я, глаз ближнего, которого я должен любить.

X

Так шла моя молодость: одиночество, рассеянность, праздность, сожаление, мечтания. Незадолго до войны я перечитал «Смерть Ивана Ильича». Перед смертью ему пришла мысль, что вся его жизнь, со службой, семьей и уважительным положением в обществе, была самой ужасной. Это меня поразило. Мне, наоборот, казалось, что я мучился именно от того, что у меня не было всего этого: ни жены, ни службы, ни места в обществе, ни умения Ивана Ильича держать себя со всеми с достоинством и внушать к себе общее уважение. Сколько бы я дал за такое умение!

Но в аду моей отверженности я все-таки помнил о человеческом деле на земле. Как раз в то время я *открыл* Бергсона. Меня взволновали его слова о возможности победы над смертью: «Все человечество в пространстве и времени, как огромная армия, движется рядом с каждым из нас, впереди и позади нас, увлекая нас на приступ, способный сломить всякое сопротивление и преодолеть многие препятствия, может быть даже смерть». Я стал думать о судьбе людей с надеждой. Я только боялся остаться на отмели.

Особенно повлияла на меня книга Бергсона «Два источника морали и религии». Я знал, что никогда не стану настоящим христианином. Быть христианином — это значит любить людей, не заботиться о себе, не думать о своих удовольствиях, жертвовать собою, все отдавать. Как та женщина у Толстого, в «Фальшивом купоне». Она за всеми ходила, стирала, готовила, отдавала последнее. А ее все ругали и даже били. Я так не мог бы, умер бы от утомления и скуки. Я только о себе всегда думал, о моих мыслях, о моих чувствах. Эта моя неспособность любить меня огорчала. И вот у Бергсона я нашел утешение. По его словам выходило, что жизнь и вещество, которые наполняют мир, присутствуют в каждом

[redacted]акой бы я ни был, причастен к действитель-
[redacted]ршается в мире. Поэтому, чем внимательнее
[redacted]ну своего сознания, тем ближе прикоснешься
[redacted] все вышло. Это даст силы вернуться в мир,
[redacted]бить. Тогда не будет моей вечной усталости.

Привитые мне моим русским воспитанием представления о Правде еще жили в моем сознании. Правда — это добро, справедливость, Россия, евангельская милосердная любовь. Теперь Бергсон открыл мне, что Правда — это также свобода, равенство и братство, утверждение абсолютной ценности личности. Когда я прочел в «Двух источниках морали и религии», что идеал демократии евангельского происхождения, все мои политические идеи изменились. До тех пор я знал о демократии только по курсу государственного права: описание систем выборов и перед кем ответственно правительство. Мне не приходило в голову, что это может иметь отношение к Правде. А теперь мне все ясно стало: свой эгоизм, свою неспособность любить я искуплю, отдав свою жизнь за демократию.

Незадолго до Мюнхена я познакомился с бывшим эсером — Эммануилом Осиповичем Кладинским. Окруженные угрюмым недоброжелательством большинства эмиграции, остатки демократической интеллигенции жили тогда обособленно, в своих закрытых партийных клубах для пожилых людей. Но Эммануил Осипович или Мануша, как его все называли, пришел к убеждению, что «надо идти в эмигрантский народ». С проповедью этой открывшейся ему идеи он выступал повсюду, где только соглашались его слушать: в кружках студенческого христианского движения, у евразийцев, у младороссов, в Пореволюционном клубе и даже в Союзе русских дворян.

Задумав восстановить в эмиграции «орден русской интеллигенции», он начал устраивать у себя собрания, на которые приглашал эмигрантских сыновей: «пореволюционеров» и таких, как я, монпарнасских завсегдатаев, потерявших от долгого одиночества здравый смысл.

Меня поразил один разговор с Манушей в его кабинете. Желая что-то мне объяснить, он сказал:

— Это было когда умерла моя жена. Я лежал здесь, в этом кабинете на диване и мне стало страшно моего одиночества. Я спрашивал себя: Что же теперь делать? Как дальше жить?

Мне было странно, что он рассказывает мне, постороннему ему человеку, о смерти своей жены. Говорили, он очень ее любил. Смотря на его седую голову и большое грузное тело, я представил себе, как он, словно маленький мальчик, запертый в темной комнате, лежал тут на кожаном диване, напоминавшем мне диван в папином кабинете в нашей квартире в Москве. Мануша между тем продолжал:

— И вдруг мне пришла в голову мысль, от которой у меня закружилась голова. Я встал с дивана и в волнении начал ходить по

кабинету. Господи! как же я прежде этого не
отвратительнее мне был самодовольный, бод
трел. Глаза у него блестели, точно он сам уди
произошло. — В соседней комнате меня ждал
боялись, боялись, что я не перенесу горя. А я,
я улыбался. С тех пор я всегда улыбался.

Что это значит «золотая жила»? Что ему тогда открылось? Может быть, ему потому ничего больше не страшно, что он любил свою жену и людей и верил в Бога и в человеческое дело на земле. Но все-таки, как он мог улыбаться, когда его жена умерла?

Я боялся, что скорее всего Бога нет. Я не мог последовательно об этом думать. Я хотел верить и постоянно говорил о религии и мистическом опыте. Но когда я пытался представить себе, что Бог есть, я сразу чувствовал невероятность этого. Это слишком бы соответствовало человеческому желанию, так не бывает. Все б го-словские построения казались мне произвольными и до то е-соизмеримыми с непосредственным чувством необъясн м жизни, что я не мог серьезно о них думать. Но когда я спр ивал себя, могу ли я допустить, что мир, жизнь, сознание возникли случайно, мне это казалось таким же невероятным, как существование Бога. Нет, к моему отчаянию, все же не таким невероятным. Потому я так и ненавидел утверждения Бертрана Рассела, что человек, со всеми его надеждами, страхом, любовью и верованиями только порождение случайного сцепления атомов и человечество обречено бесследно исчезнуть в грядущей неизбежной гибели солнечной системы. Ни героизм, ни вдохновение, ни вера, ни любовь не могут победить смерть. Я не находил возражений, мне самому все это приходило в голову с неотразимой убедительностью. Тем мне был отвратительнее самодовольный, бодрый и глумливый тон Рассела.

Зато с какой надеждой я читал в книгах других философов, что позитивизм и сиантизм девятнадцатого века устарели, материализм — не наука, а такая же метафизика, как религиозные мифы, и сегодня еще недавно невообразимые опытные данные позволяют считать сознание не эпифеноменом движений молекул и атомов мозга, а высшим выражением «жизненного порыва». Я с жадностью и благодарностью перечитывал вдохновляющие доводы Бергсона. Но именно потому, что эти доводы так отвечали моему желанию, они мне казались менее убедительными, чем утверждения Рассела. Словно я считал более вероятным, что мир устроен не так, как мне хочется.

И все-таки после чтения Бергсона я несколько раз испытывал состояние вдохновения, подъема. Меня смущало только, что ничего не происходит, не меняется. Я по-прежнему был одинок, по-прежнему ничего не делал и сладострастные мечтания и грусть по-прежнему мешали мне сосредоточиться. Но я все надеялся. Мне казалось, если изо всех сил на примиряться, *там* что-то должно сотрястись.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Я сразу увидел наших: Николай Георгиевич, Коля Грейс, Полянский, Рогдаев, Изаковский. Только Глебов больше не приходил на наши сборища в этом знаменитом монпарнасском кафе. Год тому назад он покончил самоубийством.

— Здравствуй, Гуськовер. Что это у тебя такое выражение, будто у тебя живот болит? — ухмыльнулся Полянский, смотря на меня с глумливым удовольствием.

— Правда, Владимир Васильевич, у вас все лицо будто распадается на кусочки, — с добродушной понимающей насмешкой в глазах сказал Николай Георгиевич.

Сделав усилие я спросил:

— Николай Георгиевич, вы будете завтра у Мануши?

— Не знаю, посмотрю... — с выражением скуки он выпятил нижнюю губу. — В самом деле, о чем будут говорить? Опять о Гитлере, о войне, о спасении культуры. Надоело...

— Разве вы не считаете, что есть опасность войны?

— Ах, миленький, к сожалению есть и даже очень. — Он грустно вздохнул. — Война почти наверное будет. И Гитлер, действительно, исчадие ада и расизм ужасная гнусность. Все это человеконенавистничество противно до тошноты. Но, Боже мой, как все-таки было бы хорошо, если бы обошлось без войны. Так не хочется никаких перемен. Как-то сидим здесь, устроились, пьем чай — и так бы дожить. Только вряд ли удастся.

Подняв брови, он смотрел перед собой печально и упрямо.

Когда он сказал, что война наверное будет, я вздрогнул. Я не хотел этого: бомбы, газы. Как крысы мы побежим в подвалы. Нет, лучше сразу смерть.

Я спросил:

— Неужели вы за Мюнхен?

Мои чувства путались. Я не хотел войны. Опять миллионы людей будут убивать друг друга. Это слишком страшно. Но я помнил, как после Мюнхена нам было неловко смотреть друг другу в глаза.

— Конечно, нет, — вступился за Николая Георгиевича Грейс, — конечно, предательство Чехии — позор. Мы все тут согласны. Но неужели вы думаете, что вожди западных демократий такие уж круглые идиоты и что их поведение в Мюнхене объяснялось только малодушием и подлостью? Разве мы знаем, были ли Франция и Англия тогда готовы?

За соседним столиком дама с большой брошью на мощной груди давно неодобрительно прислушивалась к нашему разговору. Зачарованная ненавистью, она не сводила глаз с губ Грейса, произносивших непонятные ей слова. Неожиданно, она громко сказала, смотря на него в упор: „Vous ferez beaucoup mieux de parler français!“*)

Наступило тягостное молчание. Полянский рассматривал даму с горестным любопытством.

— Мы вам мешаем? — спросил он с оскорбительным недоумением.

— Да, мешаете! — будто обрадовавшись, взвизгнула дама. Ее короткая, с черными усиками губа быстро шевелилась над ощерившимися зубами. — Вместо того, чтобы издеваться здесь над французами, лучше убирайтесь в вашу страну.

Смотря, как глаза дамы вертятся блестящими колесиками, я испытывал неприятное чувство, что все мы разыгрываем эту сцену с той механической предопределенностью, с какой в старомодных тирах при попадании с лязгом и стуком начинают двигаться вырезанные из жести фигуры.

Я прошел к стойке. Здесь толпилось много ночных гуляк и всякого нищего, пьяного сброда: проигравшиеся картежники, молодые люди без определенных занятий, художники, натурщицы, «парижские иностранцы», негры, арабы, наркоманы, отставные проститутки. В простенке высокомерно оглядывая толпу, стоит тщедушный человечек. Лоб уже лысый, но по затылку отпущена жидкая косица вьющихся волос. Из отложного воротничка куриной ногой торчит тощая шея. Я почти с завистью на него смотрел: даже у него было признанное место в мире людей. Такие как он, полусумасшедшие, длинноволосые «монпарно» — местная достопримечательность, приманка для туристов. Их даже полиция не трогает. А у нас не было никакого положения нигде, ни в каком обществе. Мы были чужими даже среди эмигрантов. Нас не связывали с ними заветные воспоминания о славе и счастье прежней жизни в России, нас увезли на чужбину детьми. Но все-таки мы были уже слишком взрослыми, чтобы чувствовать себя тут дома, как последующие поколения эмигрантских сыновей. Нам суждены были беспочвенность, отверженность, одиночество. Мы жили без обычных координат для определения своего места в мире, без всякой ответственности.

*

Я возвращался домой в унылом раздумьи. Свернув за угол, увидел: посредине небольшой круглой площади, над будкой уборной, бледный, как на рассвете, фонарь; под гору — яма переулка, где я жил; среди заборов облитый почти мавританской белизной куб

---

*) Вы бы лучше говорили по-французски.

многоэтажного дома. Над его плоской крышей прозрачность воздуха, синевея, переходит в вышине в «небосвод». Оттуда, из страшного отдаления смотрит на землю маленькая, окруженная туманным сиянием луна. Ее таинственное мертвое лицо пылает, как золотой жар раскаленной печи.

Мне казалось, я вижу этот дом в первый раз. Он больше не притворялся, как днем, только незаметной подробностью привычной обстановки. Я чувствовал, на меня опять находит знакомая тоска. Этот дом, мощенная булыжником площадь и уходящие в призрачную светлость лунной ночи пустынные улицы, — все приняло какое-то загадочное выражение. Будто что-то подмигивало мне из-за крыш. Но когда я всматривался пристальнее, мой взгляд упирался в непроницаемость неба.

Напрасно я говорил себе: во всем этом нет ничего странного. Наоборот, все самое обыкновенное. Это дом для людей: в нем квартиры, в них живут семьи, родители с детьми, как мы когда-то жили в Москве. Но в этих представлениях ничто не соединяло меня с таинственным существованием этого дома.

Омываемый глубиной трехмерности он стоял в мечтании беспамятства, равнодушный к моей жизни и смерти. Своими темными окнами он смотрел на меня со странным, отчужденным выражением, словно хотел сказать: «У нас разная повесть, ты не замечал меня, а я пребываю со всеми предметами и небом в недоступном тебе вневременном покое».

Я не мог вспомнить о чем я перед тем думал. Словно я искал какое-то объяснение и вдруг с беспокойством увидел, никакого объяснения нет. Со мной случилось что-то дурное, чего ни с кем не бывает. Я замурован в мгновенности настоящего: как тиканье маятника оно все время исчезает, чтобы сейчас же снова возникнуть. Между тем, моя жизнь невозвратимо проходит. Но только она проходит *далеко* от меня, как чужой сон.

Я нажал кнопку. Наверху, на площадке лестницы, мигнув, зажглась малюсенькая лампочка. В ее неясном свете передо мной круто подымались прогнившие деревянные ступени. Я совсем забыл об этой черной от грязи лестнице. Бессмысленно бормоча: «так дальше нельзя, пора кончать», я стал торопливо подыматься, вздрагивая, как от физической боли, от скрипа расшатанных ступеней. Эти подлые лампочки на лестнице гасли прежде, чем успеешь взбежать на следующую площадку. Я вспомнил бледное, с черными змеиными глазами лицо хозяйки.

Я заснул, как только лег. Но вдруг меня разбудило короткое как электрический разряд ощущение. будто кровать подо мной проваливается. Я понял, что спал всего несколько мгновений. Теперь нескоро опять засну. В последнее время это все чаще со мной случалось. Особенно досадно было, что в эти часы бессонницы мне не удавалось думать о чем-нибудь значительном. Все только случайные, поверхностные мысли.

Меня огорчало сознание моего ничтожества среди людей: всю жизнь так малодушно, так глупо себя вел, всего боялся. Я с недоумением об этом думал: ведь все то великое, гениальное, о чем я знаю, в меру этого моего знания существует и во мне. Значит, я причастен ко всему этому великому и прекрасному. Как же тогда я могу быть глупым? Ведь в небе не может быть ничего глупого, ничего ничтожного, малодушного, а оно существует не только само по себе, но и в моем сознании. Оно — одна из моих мыслей. Какая-то надежда тут открывалась.

Сон прошел совсем. Я старался представить себе Бога. Но только какой-то черный квадрат мне мерещился.

Зажег свет. Из мрака выступила отвесная, глухая стена. От нее веяло чем-то смертельно тоскливым, безымянным, нечеловеческим. Я с удивлением смотрел на серо-розовые, с лиловыми полосами обои. Столько лет здесь жил, а до сих пор не замечал какого они цвета.

Меня все сильнее охватывало чувство моего одиночества в огромности мира за стенами комнаты. Будто остов сказочно огромного кита лежал там на берегу пустоты. Никого нет, только мое сознание, возникшее непонятно откуда и для чего. А в комнате тишина! В ушах призрачный звон. И вдруг меня словно варом обдало: я попался, попался уже давно, в день моего рождения на земле.

«Нет, не может этого быть, — повторял я упрямо и просил кого-то, — помоги мне, спаси!» Я не знал, кому я молюсь. Ведь причина моего отчаяния была как раз в том, что я не мог почувствовать присутствия Бога и не понимал, зачем тогда все существует и для чего я живу, если я неизбежно должен умереть. Все одни и те же неразрешимые представления возникали и жухли на поверхности моего сознания. За ними проступало что-то темное, неприятно плоское.

Я вспомнил: может быть, скоро война, чудовищное, нечеловеческое дело, страшное, кровавое, утомительное, конец мечтания. Тут неожиданно для самого себя я с озлоблением подумал: «Чего я боюсь? Все лучше, чем жить так малодушно, как я жил до сих пор. А на войне, кто знает, страдания и близость смерти откроют мне. . .».

Я не спал, но постепенно меня охватывало оцепенение. Мне больше не хотелось ни о чем думать. Мысли о Боге и о значении жизни мне казались теперь странно далекими и посторонними. Мне было достаточно ощущения тепла и тяжести моего тела. «Это непосредственно дано, — подумал я, выключая свет, — а чтобы представить себе все остальное, нужно делать усилие».

*

В неприятном предчувствии я видел, как его шея покраснеет. Такие, с круглой головой на пухлых плечах в припадке раздражения наливаются кровью.

Меня вдруг поразило это несоответствие: мои глаза видят звезды, мое сознание вмещает весь мир, а я боюсь, что чиновник не продлит мне вид на жительство.

Я напрасно беспокоился. Он даже не спросил у меня рабочего удостоверения. Но платить все-таки надо: он уже намерился наклеить нансеновские марки. Тогда, наконец, решившись, я сказал:

— У меня французская солдатская книжка.

По его лицу прошло удивление и строгое выражение. Словно своды Дворца Инвалидов над нами воздвиглись.

— Нужно было сразу сказать, — вырвалось у него с досадой. Отложив марки он крепко стукнул печаткой по оборотной стороне моего удостоверения личности, что-то написал на нем и молча передо мной положил.

— Мерси, — выговорил я еле слышно.

Я постоял еще немного. Не поднимая головы, чиновник продолжал что-то вписывать в лежавшую перед ним большую книгу. Мне не верилось. Неужели это все, и я ничего не должен платить?

Только выйдя на улицу, я хорошенько рассмотрел печать и зыбкие палочки слов: «освобожден от платы».

Оглушенный солнечным светом и городским шумом я, как выздоравливающий, странно слабыми ногами перешел по мосту на Левый берег.

От площади во все концы города отходят автобусы. Нога шофера стоит на тормозе, как на голове слона. Весь дрожа от голодного грохота мотора, автобус нетерпеливо ждет, пока одни путешественники сходят, другие влезают.

Я вдруг почувствовал, какое чудо — Париж. Какая удача, какое счастье здесь жить! Передо мной покато подымался «Бульмиш». Вдали, у Люксембургского сада на стеклах и лаке автомобилей ослепительно вспыхивали солнечные блики. Тротуар затопляет толпа. Розовые, черные, желтые лица. Студенты со всего света съехались сюда жить и учиться у священных стен старинных зданий. Зачем я перестал ходить в Сорбонну? Я мог бы участвовать в этой молодой веселой жизни. Но я вспомнил мою дикую застенчивость. Мне всё казалось, меня все сторонятся, я «метек»*), да еще нищий. Меня это удивляло. В Москве меня все любили, и у нас была квартира в одиннадцать комнат.

Я смотрел на студентов и их подруг за столиками кафе. Между нами больше не было стены. С меня не взяли платы, как с других иностранцев, я запасной французской армии. Влюбленно думая о локонах и освещенных солнцем ногах молодых женщин на террассе кафе, я думал с подступающими к глазам сладостными слезами: вот они узнали, что я убит на войне. Удивленно смотря в свое сердце, они скажут: «Мы не обращали на него внимания, а он умер за нас».

---

*) Иностранец (иногородний грек в древних Афинах).

В этом приподнятом настроении я пришел вечером на собрание к Мануше. Он сам отворил дверь.

— Молодцом, что пришли. Теперь весь «экип»*) в сборе, — сказал он, крепко пожимая мне руку и ласково, чуть заговорщицки на меня посмотрев.

В полутемной прихожей, уже не в первый раз мне показалось, что он напоминает моего отца. Хотя между ними было мало сходства. Папа — круглолицый, светлоглазый, с коротким носом, а Мануша черный, с зеленоватой проседью, с большими, как на изображениях эламитских воинов, темными глазами и большим загнутым носом. Но такой же, как папа, добродушно, по-медвежьи крупный и грузный. И такая же бодрая улыбка под стриженными, как у папы, усами.

Из столовой доносились оживленные голоса, смех, звяканье ложечек о блюдечки. Я всегда чувствовал себя на людях отверженным, но на собраниях у Мануши я был свой, со многими на «ты». Предвкушая радость встречи, я, как в теплую ванну, вошел в большую комнату, наполненную улыбающимися по краям чайного стола дружескими лицами. Рядом с Манушей бывший вождь эсеров Алексей Николаевич Бобровский. Он довольно часто приходил на наши собрания, снисходительно добродушно слушал наши метафизические споры, но сам никогда не выступал.

После чаепития перешли в кабинет Мануши. Сегодня он сам делал доклад. Разглаживая ладонью листы рукописи, он посматривал на нас, точно желая прочесть в наших лицах ответ на какой-то занимавший его вопрос.

— Всю эту зиму и весну мы жили под угрозой войны, — начал он слегка торжественно. — Европа распалась на два гигантских союза, непрерывно вооружающихся и каждое мгновение готовых вступить в смертельную борьбу. . .

Это главное, о чем другом можно теперь думать? Я злобно оглянулся на Николая Георгиевича, который шептал Грейсу на ухо что-то смешное. Грейс с трудом сдерживал улыбку.

Я вздрогнул, когда Мануша сказал: «Силе национал-социализма, стремящейся к злу, уничтожению других, народы, которые хотят сохранить свою свободу, должны противопоставить силу же».

«Да, противопоставить, встать грудью. Но тогда это война», — подумал я, холодея от собственной решимости, словно это от моего согласия зависело быть или не быть войне, и теперь, когда я перестал зажмуриваться, уже больше ничего не могло войну предотвратить. Мне стало страшно и радостно, колебания кончились.

— Демократия связывает эту борьбу с защитой прав человеческой личности, этого секулярного наследия христианства, — продолжал Мануша.

---

*) Команда, артель.

Я обрадовался: вот, совсем как у Бергсона.

За поздним временем перерыва не делали. Первым говорил профессор Немчин. Он сидел в стороне от всех, в углу, за отдельным столиком. Свет из-под абажура стоявшей перед ним лампы падал на его восковую руку. Выше неясно выступало из полумрака скорбное бородатое лицо, с закрытыми, как у мертвой головы Иоанна Крестителя, веками.

— Игорь Семенович, может быть, вы хотите что-нибудь сказать? — обратился к нему председатель сегодняшнего нашего собрания Василий Павлович Зырянов, старый друг Манyши по боевой организации эсеров.

— Нет, почему же именно я? — открыв глаза спросил профессор Немчин с наигранным удивлением.

У него были удивительные зеленые глаза. Я рассеянно смотрел и вдруг на мгновение почувствовал за прозрачностью их хрустальных чечевиц присутствие его «я», его мыслей, всей его жизни. Было ли это воспоминание о каком-то видении, которое он имел, или сожаление о подавленных мечтаниях любострастия, — но в его глазах светилась затаенная печаль.

Зырянов настаивал, и профессор Немчин, наконец, согласился.

— Я знаю, на этом собрании мои слова многим придутся не по душе. Всегда неприятно выступать в роли Кассандры. Но если война не будет предотвращена, то встает вопрос: не погибнет ли тогда вся европейская культура? Да, конечно, история не кончится. Со временем возникнут новые цивилизации, может быть, черная в сердце Африки. Но я люблю белую и буду жалеть о ее гибели. — Выражение страдальческого упрямства еще усилилось в его поникшем лице. — Вот почему демократии должны идти на предельные жертвы и уступки, только бы не допустить до войны. И в этом открывается положительный смысл Мюнхена. Мне скажут, это была попытка со стороны Англии и Франции повернуть гитлеровскую агрессию на восток. Но что же, если не было другого выхода? В конце концов русские города почти не имеют культурно-историческсй ценности. Россия — молодая страна, опять все отстроит. А с Европой погибнет вся веками создавшаяся культура правового общества, наконец, библиотеки, памятники искусства, Лувр, готические соборы. . .

Я вздрогнул, когда он заговорил о русских городах. Именно потому, что там люди живут в такой бедности, мне хотелось, чтобы Россия осталась в стороне. Это мы, богатый, счастливый Запад, во имя человечества и свободы должны покончить с Гитлером.

После профессора Немчина выступил Изаковский. Сначала он сбивался от волнения:

— Нужна ли борьба или нет — не знаю. Люди, по-настоящему не задетые, скажут, что я еврей и не имею права так говорить, когда в Германии идут гонения на евреев. Но слова о борьбе очень неубедительны, и вот, я говорю это не для эпатирования обывателей,

а по моему последнему убеждению: принять гибель в чем-то более ответственно.

Постепенно он разошелся и стал говорить почти без запинок:

— Вот нас опять приглашают идти умирать за священную демократию. Уж не за священный ли капитал, хочется мне спросить? Мы выросли в эмиграции и не из брошюр только, как наши либеральные отцы, а на собственной шкуре знаем, что такое эксплуатация. И пусть нам не говорят, что мы должны защищать эту демократию, потому что, видите ли, она христианского происхождения. Нет! Если мы действительно христиане, то тогда нужно, думается мне, не воевать с Гитлером, а, наоборот, открыть границы и с братской любовью обнимая немцев, со слезами молиться за них, ибо сказано: «благотворите ненавидящих вас». Поэтому, пусть будут нас гнать, уничтожать, преследовать, мы не ответим на зло насилием. Как христиане первых веков мы уйдем в катакомбы. Там в пещерах будем по-стахановски днем и ночью славить Господа, молиться, петь псалмы. Потом те из нас, кто выживет, вынесут на свет неугасимое чувство свободы, прощения и нежности.

Я больше не слушал. Мне казалось, он говорит так, чтобы понравилось Николаю Георгиевичу. Многие в кружке считали, что Николай Георгиевич за мир во что бы то ни стало.

Неожиданно слово попросил сам Николай Георгиевич. Все глаза на него устремились. Только профессор Немчин сидел все с тем же печальным и замкнутым выражением.

— Я с большим вниманием слушал возражавших сегодня докладчику, особенно то, что говорил Григорий Зиновьевич Изаковский, — начал Николай Георгиевич. (Изаковский смотрел на него во все глаза, на его еще красном от волнения лице появилась тщеславная улыбка). Но неожиданно в голосе Николая Георгиевича зазвучала почти женская пискливость. — И, откровенно говоря, — продолжал он, — слушал с некоторым удивлением, но без всякой зависти. Да, конечно, война — это грязь, преступление, ложь и ничто не может войну оправдать. Но если война, которая наступит теперь, неизбежна, то уклонение от участия в ней мне представляется бесплодным. Я глубоко преклоняюсь перед такими людьми, как Толстой и Ганди, но, может быть, именно потому, что я плохой христианин, я не могу принять абсолютного непротивления, непротивления при всех условиях. Эммануил Осипович в своем докладе говорил о необходимости в случае войны защищать демократию, несмотря на Сити, империализм и лицемерие.

Я испугался. Я знал, как иронически Николай Георгиевич отзывался о старомодном гражданском красноречии Мануши. Но я сейчас же успокоился — Николай Георгиевич сказал, что всецело к словам Мануши присоединяется.

В глазах Мануши, слушавшего Николая Георгиевича с простодушным вниманием, засветилась радость. Выступление Николая Георгиевича заметно произвело на всех впечатление. Я сидел так близко, что слышал, как Изаковский растерянно говорил ему на

ухо: «Николай Георгиевич, вы не совсем правильно меня поняли. Я совершенно с вами согласен, если война неизбежна, мы должны защищать демократию. Но я только хотел сказать. . .»

Я был благодарен Николаю Георгиевичу. Сам я не нашелся бы что ответить Изаковскому. Ведь он прав. Христианин не может принять войну. Я особенно это чувствовал, когда точно в конце черного туннеля видел перед собой вражеского солдата, которого я должен буду убить. Меня охватывало тогда такое чувство тоски, страха и отвращения, что я не мог поверить, что это может случиться со мной на самом деле. Я твердо знал, убивать нельзя, но также несомненно знал, что нельзя допустить победы Гитлера. Тогда лучше не жить, тогда пусть не только Лувр, а весь мир погибнет. Значит — война. Рассуждая, я не мог разрешить это противоречие. Но в душе я чувствовал, что уже принял решение, и хотя мне было страшно думать, к чему ведет это решение, мне казалось противоречие можно как-то обойти. Я только не мог это объяснить словами. А вот Мануша и Николай Георгиевич объяснили. А ведь они умнее меня и глубже думали о христианстве и вот они «за войну». Так что же мне пытаться разрешить противоречие, оно в самой жизни. А те, кто, как Изаковский и профессор Немчин, не понимают, что Гитлера нужно остановить, те изменники человеческому делу.

Последним говорил Ваня Иноземцев. Широкоплечий, мужиковато-коренастый, русоволосый, он только недавно появился из Прибалтики, из древних русских земель. В нем не было и следа эмигрантской затравленности. Мне представлялось, он шел по жизни, как канатный плясун под куполом цирка.

— Я вполне согласен с докладом Эммануила Осиповича, — сказал Ваня, оглядывая нас смеющимися глазами, — еще никогда в истории человечества не было так ясно, где добро, где зло. Дело идет о защите культуры, свободы, достоинства человека, и мы все, я в этом уверен, знаем, где наше место в этой борьбе.

После собрания остались только свои. Мы обступили Манушу: Ваня, Володя Руднев, Володя Ельников, Боголюбский, Александр Шушигин, Полянский. Я смотрел на них с любовью. Отделенные от России годами жизни на чужбине, они все-таки выросли хорошими русскими мальчиками, как те — Ивана Карамазова. Сколько мы говорили о справедливости и о Боге, и вот теперь они готовы отдать жизнь за эту справедливость.

Даже Полянский поддался общему настроению.

— Черт с вами, я тоже пойду защищать вашу демократию с биржей и публичными домами. Но я сделаю это с отвращением, — сказал он, ухмыляясь, и самодовольно захохотал.

Я всегда боялся страданий, борьбы, всего тяжелого и скучного, хотел в жизни только удовольствий. Но теперь, при мысли, что мы все пойдем на войну, я испытывал чувство освобождения. Я вспомнил, как часто, возвращаясь после праздной ночи на Монпарнассе первым метро, я стеснялся людей, которые ехали на работу. Я не

хотел разделить их трудную жизнь. Теперь, став простым солдатом, я искуплю мое малодушие.

Я больше не чувствовал себя одиноким. В первый раз после стольких лет беженской отверженности мы были нужны: нас звали спасать всё, что придает жизни значение: свободу, идеал равенства и братства, всё священное наследство христианства. Вот и Мануша тут, и весь наш «экип», и все люди, готовые отдать свою жизнь за добро и Правду. Словно огромная волна поднимала нас всех в восхищение жизни, свободы, света.

II

Я шел по улице. Из открытых окон раздавался взволнованный голос. Это Даладье говорил по радио. Его голос, уже еле слышный, вдруг зазвучал с новой силой, но уже впереди, из окон другого дома. Словно перегибая из дома в дом, глухой и важный, он долго провожал меня, говоря, что война началась. Его слушала вся страна.

Уже на следующий день, едва я вышел из дому, тревожно и прекрасно, словно Париж стал океанским портом, завыли сирены. И почти сейчас же над ущельем улицы высоко в небе сверкнули и с треском рассыпались искры.

«Уже начинаетя», — подумал я тоскливо. Мне не было страшно, но с привычной мне робкой законопослушностью я пошел в погреб. Никто не знал, что думать, но на всякий случай все надели противогазы. Только у меня не было. Иностранцам не выдавали. Мне казалось, что через круглые глазища масок все смотрят на меня с недоумением и жалостью. Мне было мучительно неловко: из-за меня им приходится испытывать неприятное чувство соучастия в несправедливости. Если действительно пойдут газы, им тяжело будет смотреть, как я задыхаюсь. Для успокоения совести они решат, что мне потому не выдали маски, что я, пока французы будут умирать на фронте, спокойно останусь в Париже, еще деньги буду наживать.

Снаружи все было тихо. Понемногу все стали снимать маски и вместо рыл с резиновыми хоботами появлялись знакомые лица жильцов отеля. Они все друг друга знали. Пошли разговоры, шутки. Один я молчал.

Высокая женщина, которую я часто встречал на лестнице, стала рассудительно говорить, что нужно подумать, как лучше оборудовать погреб. «А то, когда всех мужчин заберут, нам женщинам трудно будет все устроить».

Мне казалось, она нарочно не смотрит в мою сторону, так как ей за меня стыдно: один из всех мужчин я не пойду на войну. Мне хотелось сказать им всем, что на четырнадцатый день всеобщей мобилизации я еду в армию. Но это глупо выйдет, ведь они ничего у меня не спрашивали. Я стал думать, как хорошо будет, если я

отличусь и получу военный крест и все в отеле и во всем квартале об этом узнают.

С тех пор я больше не ходил в погреб. Во мне все больше утверждалась странная мысль, что чем смелее я буду идти навстречу опасности, тем вернее я останусь невредим. Я понимал, как суеверно это чувство, но я говорил себе: ведь вконце концов никто не знает, как *это* устроено на самом деле, а так мне, по крайней мере, не страшно. И я с непривычным чувством превосходства, освобождения и как бы бессмертия думал о тех знакомых, которые собирались уезжать из Парижа. Они боялись опасности и смерти. Мне было их жалко. Но вместе с тем, я все время чувствовал озноб неприятного беспокойства. Мне казалось, оно пройдет только когда я, наконец, попаду в армию. Мне рассказывали, как в ту войну одному мальчику — ему было только 15 лет, но он был высокий, как взрослый — женщины кричали на улице „embusqué“*). От одной мысли, что это может случиться со мной, я дергался и вскрикивал. Считая оставшиеся до отъезда в армию дни, я с завистью смотрел на тех, кто уже ходил в защитной форме.

Всем знакомым я говорил, что скоро еду в армию. Почти все меня одобряли. Только один, прощаясь со мной — он уезжал в Биарриц — сказал:

— Конечно, тебя мобилизовали, но я не думаю, что ты пошел бы добровольцем. Сидеть в окопах, это не для таких людей, как мы с тобой.

Неприятный разговор был и с одним знакомым еще по Праге. Его звали Култанов. Он рассказывал про себя, что он князь и ротмистр. В Париже он работал поваром в каком-то русском кабаке. Я встретил его случайно на улице. Он шел мне навстречу своей молодцеватой походкой, хотя одна нога у него была короче другой, отчего он при каждом шаге вихлял тазом. Он почти не изменился. Его слизисто-светлые глаза алкоголика смотрели все так же насмешливо и дерзко. Из-под сдвинутого на затылок котелка лихо курчавились рыжие волосы. Заговорили о войне.

— Я так считаю, — видимо повторяя прочитанное в какой-то брошюре, сказал он с необычной для него спокойной рассудительностью, — мир разделился теперь на два лагеря. С одной стороны — национальный: Германия, Италия, Испания, Япония, с другой — иудео-масонский.

Когда я учился в Праге, большинство моих «коллег» по Русскому юридическому факультету были намного меня старше. Почти все они прошли через гражданскую войну. Я смотрел на них, как на героев. На торжественном собрании у галлиполийцев профессор с красивой белой бородой сказал об убитых на войне: «Больше сея любви никто не имать, да кто душу свою положит за други своя». Сколько раз я слышал эти слова. Правда, мне не было еще четырнадцати лет, когда кончилась гражданская война. Никто не мог

---

*) Окопавшийся в тылу.

меня упрекнуть, что я не был в Добровольческой армии, а все-таки меня это мучило. Мне казалось, мои старшие коллеги всегда об этом помнят. Поэтому я с особенным удовлетворением сказал теперь Култанову, что скоро еду в армию.

Его глаза насмешливо сузились. Он не сомневался в победе Германии.

— Разве вы знаете, — сказал он, — как дерутся немцы? А я воевал с ними. Вот, когда вы будете драпать на Париж, тогда вспомните мои слова. А вы представляете себе, что это такое, когда армия драпает?

Я стал ему доказывать, что союзники сильнее. Он усмехнулся и, смотря мне в глаза, сказал:

— Ну, что же, тем хуже для вас. Значит весной будут большие бои и вас убьют.

*

Первым уехал в армию Ваня. Потом разъехались по разным военным депо и другие участники нашего кружка. Всех поразило, что Николай Георгиевич, несмотря на порок сердца и уже немолодые годы, записался добровольцем.

*

Я выехал из Парижа все с тем же чувством ожидания и неясного беспокойства, которое не оставляло меня в те дни. В поезде я встретил знакомого. Он ехал в деревню устроить семью подальше от возможных бомбардировок Парижа. Обычно в его обращении со мной, сквозь слегка насмешливую благожелательность, чувствовалось недоумение, что он, деловой, состоятельный господин знаком с таким «неподобным» молодым человеком, который вместо того, чтобы зарабатывать деньги «как все люди», увлекается какими-то странными, «нежизненными» идеями. Но теперь у него не было той самоуверенной осанки с какой он разговаривал в своем директорском кабинете. Он стоял в коридоре, среди новобранцев и запасных, ехавших в армию. Я заметил, что среди этих, по большей части пьяных и мрачно возбужденных людей, он чувствовал себя не директором кинематографической фирмы, а только пожилым и усталым, физически слабым человеком. Мне было приятно, что он видит, как я на правах моего положения призванного в армию решительно шагаю через чемоданы и ноги сидевших в проходе, иногда даже бесцеремонно, как свой, опираясь рукой на чье-нибудь плечо.

Вблизи я увидел, как он осунулся. Он казался теперь совсем старым. Я вспомнил, что несколько лет назад ему уже пришлось бежать от гитлеровских преследований. Чувствуя всю тяжесть его усталости и его страха, что все это может опять повториться, я с убеждением сказал:

— Вот увидите, Германию разобьют.

— Дай Бог, — взглянул он на меня недоверчиво, но все-таки обрадованный моей уверенностью. — Вы не знаете немцев, это сильный народ и жестокий, способный все вынести, и также способный на любое преступление.

Он сходил на следующей станции. На прощание он крепко пожал мне руку, словно хотел сказать: «Да, вы хорошо делаете, что едете в армию. Нельзя допустить, чтобы гитлеровцы пришли сюда и сделали то же, что в Германии». Ему видимо нравилось, что я не боюсь, и это еще усилило во мне готовность к борьбе.

Когда поезд подошел к городку, куда я ехал, смешливая хорошенькая бретонка с зелено-серыми глазами спросила:

— Что, вам не страшно в казарму?

Я не понял, что она имела в виду, но, проходя мимо часового во двор похожего на тюрьму здания, с беспокойством вспомнил ее слова.

Казарма была переполнена, нас отвели в пустой гараж. Здесь мы ночевали на соломе, разостланной на цементном полу. Всю ночь я слышал сквозь сон буйные, пьяные крики прибывавших запасных. Один чуть не упал, споткнувшись о мои ноги. Впотьмах я не мог рассмотреть его лица.

Bouge-pas*), — сказал он испуганно и успокоительно. Я слышал, как он шарит руками, ища свободное место. Он долго умащивался, подтыкая под себя солому, наконец затих. Я опять стал засыпать, как вдруг странное бульканье окончательно меня разбудило. Приподняв голову, я увидел, он блюет на пол. Мне некуда было подвинуться, и я с содроганием ждал, когда блевотина, расстекаясь, подмочит подо мной солому.

На следующий день нам выдали старые обтрепанные мундиры и шинели цвета «горизонта», обмотки, еще кое-какое тряпье. Когда мы переоделись, нас выстроили на пустыре около гаража. «Аджюдан»**) стал объяснять, что выданные нам вещи стоят государству очень дорого.

— Они выданы вам только для пользования, но остаются собственностью армии. Запомните это хорошенько. Упаси вас Боже потерять или продать что-нибудь из этих вещей, — сказал он, точно подозревая нас в том, что именно с этим преступным намерением мы сюда приехали. — Красть вообще нехорошо, но красть казенное имущество — особенно.

По мере того, как, возбуждаясь звуками собственного голоса, он говорил все громче, подозрение, что мы собираемся продавать полученное обмундирование переходило в его сознании в уверенность. С непонятной ненавистью испытующе всматриваясь в наши лица, он, твердо ступая кривыми ногами в начищенных до блеска шнурованных сапогах, подошел к нашим рядам вплотную. Я гля-

---

*) Не шевелись.

**) Старший унтер-офицерский чин во французской армии.

дел, как зачарованный, на его серое, круглое, с выдвинутой нижней челюстью лицо мопса. Почему-то я особенно внимательно рассматривал кровянистые прожилки, тянувшиеся по слизистой выпуклости синеватых белков его глаз, ворочавшихся с насторожённой угрозой укротителя. Теперь он окончательно был убежден в нашей виновности.

— Я знаю вас, вы все только и думаете, как бы обокрасть армию! — вдруг заорал он, с наслаждением давая волю будто бы в самом деле душившему его гневу, но в то же время углами глаз следя, достаточно ли мы испуганы. — Но вам это не удастся! Посмотрите на меня хорошенько, — он раскачивался, пружинясь на расставленных ногах, — с виду я неплохой парень, но я пятнадцать лет на военной службе. Может быть, я не высокого роста, но не беспокойтесь, я здесь на своем месте. Поэтому не пытайтесь меня обманывать. Все полученное вами отмечено в именных списках, и вы ответите за продажу даже самого маленького ремешка. Те, кто, как, вы, собираются обкрадывать армию, самые последние мерзавцы! Для меня это . . . . . ! — выкрикнул он, задыхаясь от злорадного торжества.

Я подумал с унынием: «Так вот что нас здесь ждет! Вовсе не братство людей, готовых идти умирать за Добро и Правду, как мне мечталось в Париже, а все то страшное, что рассказывали о дисциплине в иностранном легионе».

Но совсем уже неожиданным для меня было то, что последовало за командой разойтись. Несколько бретонцев, бывших моряков, выпущенных по случаю войны из тюрем, обступили аджюдана. Один, угрожающе надвигаясь на него грудью, кричал:

— Я тебе не позволю называть человека . . . . . ! Кто ты такой? Разве мы не знаем, как ты нарочно упал с мотоциклетки, чтобы не ехать на фронт!?

Грозное перед тем лицо аджюдана имело теперь испуганное, идиотически-хитрое выражение.

— Ребята, вы не так меня поняли. Я вовсе не хотел вас оскорбить, — лепетал он прыгающими, извилистыми губами.

С тех пор обращение с нами Легка, так звали аджюдана, переменилось. Он старался показать себя славным малым, если и требовательным в строю, то только в меру, предписанную уставом. Но его никто не любил. Он даже хвастал, что на фронте его ждет пуля в спину от своих. Уже после нашего отъезда в полк мы узнали, что по состоянию здоровья он был уволен из армии и сделался почтальоном. Так кончилась его пятнадцатилетняя военная карьера.

Уезжая из Парижа, несмотря на мои 33 года, я думал о моих будущих начальниках с детским желанием любить и чтобы меня все любили. Что-то вроде отношений между Ростовым и Денисовым мне представлялось. Но так же, как аджюдана, я не смог полюбить и командира нашей учебной роты, капитана Тонги. Раз-

дражительный, худой, желтолицый, он всегда говорил с нами с плохо скрываемым отвращением. По некоторым его замечаниям на учении можно было догадаться, что он считает себя выдающимся военным мыслителем. Может быть, этим и объяснялся его вечно недовольный вид: вместо ответственной работы в генеральном штабе, ему поручили обучать каких-то малограмотных ополченцев, из которых многие даже плохо говорили по-французски. Сам он говорил отчетливо и складно, даже с поэтическими сравнениями. Так, объясняя нам значение ружья-пулемета, он воскликнул: «ружье-пулемет — эта вибрирующая душа полувзвода! . .»

Он страдал какой-то неизлечимой болезнью желудка. Денщик носил ему на квартиру судки с отдельно приготовляемой для него едой. Мне были неприятны даже жидкие косицы волос у него на затылке.

Всю мою готовность любить начальников я перенес на старшего сержанта Эбера. Жизнерадостный, простой и мягкий в обращении, он всем нравился. На обучение запасных он держался совсем других взглядов, чем аджюдан Легак. Обычно, он вел нас в какое-нибудь укромное место в лесу и там мы проводили несколько часов ничего не делая, курили, болтали.

Однажды мне посчастливилось возвращаться с ним вечером из города в наш гараж. Меня смутило, когда он простодушно сказал, что жалеет, что попал в наше депо, так как бретонские полки посылают в самые опасные места. Я сбивчиво стал говорить ему, что если начальник хороший, то в опасности солдаты докажут ему свою любовь, никогда его не оставят. Он посмотрел на меня с удивлением и, сказав, что ему нужно в уборную, вошел в бистро, мимо которого мы как раз проходили.

Я остался ждать его на улице. Прохаживаясь взад и вперед перед входом в бистро и вдыхая всей грудью туманный ночной воздух, я с волнением думал о моей новой дружбе с Эбером. Мне приходили в голову ребяческие мечтания. Вот он ведет нас в атаку. «Теперь пора, за мной!» — говорит он, взглянув на часы, и я вижу, как его спина двинулась вперед. Я первым бросаюсь за ним. То я воображал, что он ранен, и я выношу его из огня.

Сразу за углом бустро начиналась такая темень, будто там совсем ничего не было. Только над головой, в разрывах угрюмо нависших черных туч, сквозь тревожно клубящуюся водянистую кисею, угадывались один над другим пролеты бездонной вышины. Пахло сыростью, потонувшая во мраке окрестность казалась печальной и пустынной. Глянцевитая после дождя асфальтовая дорога как река впадала в туманную черноту ночи. Было странно думать, что где-то на этой дороге стоит гараж, там крики, тесно и душно, сотни людей.

Наконец, Эбер вышел оживленный и веселый. Он, видимо, встретил в бистро приятелей. Увидев меня, он с досадой сказал: «Ты все ждешь? Право, не нужно было».

Большинство солдат в учебных ротах были крестьяне-бретонцы, которые по разным причинам не отбыли в свое время воинской повинности. Почти у всех у них не хватало многих зубов. Сказывали, это от сидра. Небритые, с запавшими глазами, они выглядели на много старше своих лет. Косясь на них, парижане не то неодобрительно, не то с уважением говорили: „Ca cavale à la baïonnette!“*)

В трезвом виде это были смирные, простые люди. Они говорили между собой по-бретонски и жевали табак, поминутно сплевывая на солому, на которой мы спали. К моему удивлению, многие из них не умели ни писать, ни читать. В детстве, в школе учились, но потом забыли. Они не делали, мне казалось, различия между нами, иностранцами, и французами из Парижа. Для них мы все были какие-то другие, чем они, городские люди. Один, услыхав мою фамилию, простодушно заметил: «Да, у вас парижан, у всех странные имена. Иногда даже выговорить трудно». Когда он узнал, что я русский, он силясь что-то вспомнить, сказал: «Ну да, русские — это вроде австрийцев».

Не умел ли он выражать словами сложные чувства или решил, что как австриец я не понимаю по-французски, но только он долго молча смотрел на меня, будто удивленный каким-то открытием. Я видел его загорелое морщинистое лицо с усталыми и спокойными, как у рабочей лошади, глазами и чувствовал, что этот человек, который всегда жил в бедности и в тяжелом труде, смотрит на меня не только без осуждения за мою праздную жизнь, а, наоборот, с ласковым доброжелательством.

— У меня младшего брата тоже забрали, — сказал он, наконец, со вздохом и опять замолчал. Но мне казалось, его взгляд говорил: «Вот и тебя, австрийца, гонят на войну. И ты такой же бедный человек как мы, крестьяне Морбиана. У нас у всех одинаковое горе!»

Я с недоумением видел, что эти люди не имели никакого представления о причинах и целях войны, но принимали ее без ропота, как природное бедствие — град или засуху.

Они часто болели и на переходах всегда отставали. Мы, горожане, с гордостью между собой говорили, что вот мы переносим тягости солдатской службы лучше крестьян. Тогда я не знал еще, что на самом деле эти люди были способны на самую тяжелую работу, какой никто из нас не мог бы выдержать. Но это, когда дело шло о понятной им крестьянской работе. Смысла же поворотов направо и налево, маневров и переходов они не могли и не хотели понять и поэтому уставали и болели. Одного такого крестьянина-бретонца по полной его неспособности научиться ходить в ногу, капитан назначил огородником.

Однажды, пойдя зачем-то в ротную канцелярию, я заглянул на огород. На солнце, за стеной дома, защищавшей от ветра, было

---

*) Они ходят в штыки.

тепло и тихо. Рузик, так звали этого бретонца, скинув мундир, в серой бязевой рубахе с засученными рукавами, перекапывал грядки. Меня удивила спорость его неторопливых движений. Узнав меня, он распрямился и, утерев потный лоб тыльной стороной ладони, стал дружелюбно объяснять, где и что будет посажено. Уже по-весеннему теплое солнце освещало его голову и плечи. Я помнил, как в строю, не понимая чего от него хотят, он смотрел на капитана с выражением необъяснимого ужаса. А теперь в простодушном и спокойном выражении его светлых глаз, по-хозяйски оглядывавших огород, мне почудилась творческая задумчивость, с какой художник смотрит на начатую картину.

Подняв ком земли и разминая его чугунными пальцами, он сказал:

— Вот, только жаль, земля неважная. Удобрения надо бы побольше.

*

По обочинам тех дней, освещенных для меня страстным интересом, с каким я следил за событиями, эти люди прошли неясными тенями. А жалко, я мог бы присмотреться здесь к человеческим существованиям, по-другому, чем мое, но таким же безвыходным. Вот «Адмирал», полусумасшедший, спившийся парижский «клошар». Он всегда говорил с удивительно забавной язвительной вежливостью. Потешаясь над своим шутовским званием «адмирала», он в то же время как будто на самом деле верил, что это прозвище соответствует какому-то его особому начальственному положению. Иногда он вдруг начинал кричать и отдавать приказания с таким гневом, что трудно было понять, шутит он или всерьез принимает себя за начальство. Но стоило кому-нибудь на него прикрикнуть, как у него на лице появлялась добрая, испуганная улыбка. Помню еще мрачного молчаливого человека, коммуниста, побывавшего в Испании. Он сказал мне: «Я убивал людей». Кроме крестьян было еще много бывших матросов, выпущенных из тюрем, когда объявили войну. «Каидом» у них был высокий рыжеватый малый, с длинными прадплечьями и огромными руками.

Среди иностранцев больше всего было турецких армян. Так же, как французы, они видели в войне только бессмысленное несчастье, которое разрушило их жизнь. Они боялись громко об этом говорить, но зато с каким одобрением слушали, когда кто-нибудь из французов рассуждал: «Это только богатым нужна война. Моя родина — это моя семья и моя работа. А кто будет нами править, мне все равно».

И несколько русских эмигрантов здесь было. С одним я познакомился в первый же день. Высокий, светловолосый, с приятно-расплывчатыми чертами круглого лица, он с расстроенным выражением ходил взад и вперед у входа в гараж.

— Какая катастрофа! — сказал он мне, когда я заговорил с ним по-русски. Он был ассистент в Сорбонне, на отделении химии. Он

недолго оставался с нами. Его назначили прибирать в офицерской столовой.

Вскоре прибыл еще один русский — двадцатидвухлетний Игорь Жеребятников, футболист и агент по продаже автомобилей. Он признался мне, что из всей русской литературы читал только «Анну Каренину» в переводе на французский, да и то не кончил, так ему скучно стало. Зато по-французски он говорил почти без акцента и почти исключительно готовыми выражениями, так что выходило, что он говорил как-то даже более по-французски, чем сами французы. Попадая в новую среду, он сейчас же перенимал принятые в этой среде мнения и манеру говорить и держать себя. В этом он был совсем не похож на эмигрантов моего поколения, которые в большинстве не сумели приспособиться к окружающей жизни. В отличие от ассистента Сорбонны, он относился ко всему бодро и весело, словно был уверен, что при его ловкости и сообразительности он и на войне устроится самым отличным образом. Он казалось думал, что так же как наряды и строевые учения, опасность быть убитым существует только для глупых, не умеющих ловчить людей, а не для него. Когда я раз пытался заговорить с ним о целях войны, в его хитро и жизнерадостно шмыгавших рысьих глазах засветились огоньки неудержимого веселья. Он даже посмотрел в сторону, чтобы не слишком показать мне своей улыбки, каким смешным и глупым ему казалось все, что я говорю.

Но и этому эмигрантскому алкивиаду случалось делать ошибки. Раз, с совершенно такой же интонацией, с какой часто это говорили французы, он сказал: «Я предпочитаю валять здесь дурака, чем ехать на фронт». Неожиданно веселый балагур и общий любимец, выпущенный из тюрьмы вор и сутенер Сики, назидательно ему сказал: «Ты не понимаешь, мы воюем, чтобы остаться французами». Жеребятников покраснел. На самом деле он вовсе не боялся ехать на фронт. Впоследствии он это доказал, записавшись ехать вне очереди. Он сказал, что предпочитает валять дурака в депо только потому, что много раз слышал эту фразу от французов и хотел подделаться под общий тон.

*

По дороге мимо гаража часто проходили караваны бесшумно и быстро кативших крытых грузовиков, раскрашенных зелеными и коричневыми разводами. За некоторыми мотаясь прыгали на толстых шинах короткоствольные пушки. На рвущихся вперед мотоциклах проносились резвые стаи веселых людей в желтых с раструбами перчатках.

— Да, это война агличан, — говорили французы, смотря им вслед, и я жалел, что я не в агнлийской армии.

По вечерам нас отпускали в город. Низкие дома, неровные мощеные булыжником улицы. Только в старой церкви что-то средневековое, торжественное. Еле различимые во мраке высокие своды,

свечи перед мерцающей золотом Мадонной. На скамьях с высокими резными спинками беззвучно шевелили губами призраки старух. Надпись на мраморной доске: в таком-то году, Anno Domini (я не мог разобрать латинские цифры), враги подошли совсем близко, но Господь не допустил, чтобы они взяли город.

Кроме церкви и лавок здесь были еще: два отеля, кино, три публичных дома. В бистро нельзя было получить порядочного кофе.

Одно утешение — письма товарищей. Ваня писал с линии Мажино: «Мы защищаем культуру, свободу, все человечное. Помни это и не унывай. Никогда еще не было столько миллионов солдат, готовых идти на бой за свободу и справедливость». Такие же письма приходили и от Володи Руднева и от Володи Ельникова из Баркареса, где формировались полки иностранных добровольцев.

Но только приезжая в отпуск в Париж, я мог до конца отвести душу, особенно, когда одновременно приезжал еще кто-нибудь из участников «экипа», поступивших в армию. Мануша встречал нас теперь еще ласковее, чем прежде и с таким выражением, с каким во время Светлой Заутрени церковный староста смотрит, как горят на алтаре свечи.

Я рассказывал о настроениях в казарме и о моем недоумении, как же демократии победят, если никто не хочет за демократию умирать. Но Мануша меня успокаивал: «Не бойтесь, милый. Германия будет разбита. Зло не сто*ит*, помните это».

С тех пор как война, которой он так не хотел, началась, с профессором Немчиным произошла чрезвычайная перемена. Он был охвачен теперь страстным желанием победы над Гитлером. Когда я рассказал ему, как один бретонец говорил: «мне нечего защищать», он, сжав свою восковую руку в кулак, воскликнул с поразившей меня горячностью: «Неужели вы не дали ему в морду?» Я почувствовал, он жалеет, что слишком стар, чтобы поступить в армию.

Только Бобровский не верил в победу. С непонятным мне безразличием он говорил, что это не верно, будто союзники сильнее. Но я больше верил Мануше, чем ему. Я возвращался в депо успокоенным снова чувствуя вдохновение от мысли, что участвую в великой борьбе за Добро и Правду. Уверенный, что в действующей армии все будет по-другому, я все с большим нетерпением ждал когда же, наконец, нас пошлют на фронт.

III

Сначала все шло хорошо. Нас выстроили во дворе казармы. Полковник сказал краткое напутственное слово: «Мы все бретонцы и не посрамим славу бретонских полков. О нас, бретонцах, говорят, что мы тупоголовые и слишком любим приналечь на бутылку. Что ж, есть такой грех. Но вы покажете, ребята, что не только пить, но и драться вы умеете, как настоящие бретонцы, как

дрались ваши отцы и деды. Чтобы победить, нужно быть сильным. Будьте несокрушимо стойкими в бою, как наши армориканские скалы, о которые разбиваются океанские волны».

Потом он обходил ряды. По все более грустному и недоумевающему выражению его лица чувствовалось, он не находит, что еще сказать. Видя теперь вблизи наши неуклюжие, навьюченные мешками фигуры и наши испуганно устремленные на него глаза, он, может быть, даже жалел, что упомянул об армориканских скалах. Он заметил лиловые пятна на моем подсумке. Переодеваясь в новое защитное обмундирование я впопыхах разбил банку с ватермановскими чернилами.

— Sacré debrouillard! — сказал он, качая головой с добродушно-насмешливой улыбкой.

Мне все это понравилось: он говорил именно так, как по моим представлениям, отец-командир должен говорить с солдатами. Потом офицер, который вел транспорт, начал с недовольным лицом перекличку. Наши имена, записавшихся в пополнение добровольцами, он назвал последними. Из десятка имен только одно было французское, все остальные, русские, еврейские, армянские. Офицер, морщась от усилия, брезгливо, по слогам их выговаривал. Наконец, не выдержав, он с отвращением сказал: „Ah, vous en avez des noms, comme on dit en français, à coucher dehors!“**)

Ему и в голову не приходило, что его слова могли быть для нас оскорбительны. Наоборот, он, видимо, был уверен, что мы и сами не можем не согласиться, что у нас недопустимо варварские имена. Может быть, ему даже казалось, что он сказал что-то остроумное.

Несмотря на правильные черты, в его бледном лице было что-то грубое и неприятное. Я вспомнил, как не стесняясь нашим присутствием, он громко сердито говорил, что это вовсе не ему, отцу троих летей, ехать на фронт, когда в депо столько бездетных молодых офицеров. Я понимал его возмущение несправедливостью, но это не уменьшало во мне дурного к нему чувства.

Нас повели на вокзал. Я шел в одном ряду с Жеребятниковым, Жаком и Раймоном. Из нас четверых только Раймон был назначен в пополнение. Жеребятников, Жак и я записались сами. Мы так условились, что если кто-нибудь из нас четверых попадет в список, остальные трое попросятся добровольцами. Выходило, что я записался не по убеждению, а только чтобы не отстать от товарищей. Это мне было неприятно. К тому же Раймона я в то время почти совсем еще не знал, а Жеребятников и Жак, лавочник с Сан-Поля, родившийся в Париже, но тоже «апатрид», явно меня чуждались.

По дороге на вокзал солдаты бретонцы то и дело выходили из рядов, чтобы выпить в последний раз в бистро. Лейтенант и сержанты как овчарки бегали вдоль колонны, загоняя их обратно в строй. Один с мрачным и непонятно многозначительным выраже-

---

*) Ну и ловкач!

**) У вас такие имена, что, как говорят по-французски, хоть на улице спи.

нием все повторял на угрозы лейтенанта отдать его под суд: „Mais pourquoi, mon Lieutenant?“*)

— Je ne tiens pas en l'air,**) — задыхался «Адмирал». Его сморщенное безбородое лицо было совсем белое. В полной выкладке, на своих тонких ножках, он казался еще тщедушнее.

*

Пьяный солдат без мундира, в одной розовой сорочке, вальсировал по перрону. Его кружение докучало мне, как жужжание бьющейся о стекло мухи. Я не хотел о нем думать, но все время невольно на него взглядывал. У него были слепые из-за длинных белесых ресниц, молочно-голубые глаза. Он ничего не говорил, но я слишком хорошо знал упрямое выражение отчаяния, обиды и ненависти на его опухшем, красном, дрожащем и злобно-хмурящемся лице.

Многие запасные почему-то были убеждены, что их никогда не пошлют на фронт. Они еще кое-как мирились с тем, что их оторвали от дома ,от семьи, от работы и заставляют вертеться как куклы, направо и налево. Но, что их пошлют туда, „là haut“,***) где — они знали по рассказам отцов — их ничего не ждет, кроме страданий, грязи, крови и смерти, представлялось им настолько чудовищным, что их сознание не могло этого вместить. Они убеждали себя: мобилизация и стычка на фронте, это только *так*. Но настоящей войны, в которой и им придется участвовать, не должно и не может быть. Или будет продолжаться, как теперь: поиски разведчиков, „une drole de guerre“****) или даже будут бои и немцев победят, как в ту войну, но это вовсе не они, а какие-то другие французы, полки действительной службы должны драться, и англичане, ведь все знают: это — война англичан.

И вот беспощадно наступило пробуждение. Больше нельзя было себя обманывать. Совершалось именно то, чего больше всего страшились, но чему не хотели верить: мы ехали в действующую армию. И их охватили отчаяние и бессильная злоба против кого-то, кто хитростью и насилием заставлял их расстаться с понятной милой жизнью — с любовью, с бистро, с осмысленной работой — и гнал в какое-то ужасное место, где работает чудовищная машина, устроенная для убоя людей. Они не знали, кто виноват в этом: другие страны, которые завидовали богатой счастливой Франции, капиталисты, испуганные ростом сознательности среди рабочих; поляки, из-за которых все началось, евреи. . .? Они ненавидели весь мир, Бога и людей, допустивших до этого, и самих себя за то, что попались дали себя усыпить ни на чем не основанными предполо-

---

*) Но почему, господин лейтенант?
**) Я еле держусь на ногах.
***) На фронт.
****) «Странная», «смешная» война (период затишья на фронте с начала второй мировой войны до весны 1940 года).

жениями, что все как-то устроится и вот теперь — конец... везут. Но, подчиняясь, как в страшном сне, этой безымянной ненавистной силе, которая принуждала их ехать на смерть, они для самоутешения хотели уверить себя, что еще можно что-то сделать, уйти по домам, «как русские в ту войну». Им казалось, что война тогда кончится сама собой. И с угрозой, точно магическое заклинание, способное все разрешить, торжественно произносилось: «революция!».

Я не хотел смотреть на этого в розовой сорочке. Все это было так непохоже на мои ожидания, на то, как мы говорили у Мануши. Так вот как они хотят умирать за свободу, эти солдаты демократии. Я понимал, они не читали, как я, Бергсона и не имеют никакого представления, почему нужно бороться с национал-социализмом, и все таки не мог заглушить в себе чувства досады.

Поезд тронулся. Сержант Лоренс в последний раз поцеловал в щеку очень прямо державшуюся седую женщину в черном. Бросалось в глаза сходство между ними. Тот же лоб, тот же нос с горбинкой, одно лицо, только у сына — бледное, одутловатое, безвольное, а у старухи словно вырубленное из темного дерева, с глубокими мужественными морщинами. Верно, крестьянка.

Лоренс вскочил на подножку и, хмурясь, шевеля бровями и подергивая шеей и головой, смотрел на высокую, черную фигуру матери на отходившем назад перроне.

В окне поплыли какие-то длинные каменные сараи, загородные пустыри, домишки с чахлыми садиками и вот, вольно вздохнув, развернулось незастроенное, печальное в опускающихся сумерках, поле.

На срезанном косогоре поджидал оркестр. Сержант в обтрепанной шинели смотрел на нас с равнодушным выражением и вдруг взмахнул руками. Солдаты перевернули в воздухе золотые трубы и над их приземистой голубоватой толпой до самого неба грянули торжественные громы и, прорезая воинственный бой барабанов, высоко, призывно и тревожно заплакали флейты.

У меня с детства осталось: когда я видел идущих с музыкой солдат, я все забывал, готов был с восхищением идти на смерть. Теперь же я почувствовал это с особенной силой: ведь это в нашу честь грозно и глухо били литавры, это нас провожали на войну. И хотя я видел по безучастным лицам музыкантов, что им давно надоело исполнять этот обряд военных проводов, я был тронут вниманием начальства.

Оркестр играл все тише и, в ответ на замиравшее вдали пение труб, в соседнем вагоне пьяные голоса нестройно затянули революционную «Молодую гвардию»: „Prenez-garde de la jeune garde qui descend sur la pavé, sur la pavé...!“*)

Впереди, предупреждая кого-то, протяжно и пронзительно засвистел паровоз, вагон все чаще встряхивало на стыках. Чувствовалось — поезд прибавляет ходу.

---

*) Берегитесь молодой гвардии, она выходит на мостовую.

— Большое приключение началось! — сказал Жак, округляя глаза. Обычно он говорил обо всем с парижским зубоскальством, рассказывал еврейские и марсельские анекдоты. Но теперь ему, видимо, хотелось сказать что-то торжественное, соответственное обстоятельсвам.

Сморя на тонувшие в сумерках поля, я чувствовал — теперь действительно начинается что-то совсем новое, не похожее на все бывшее прежде. Перед неизвестностью этого нового я был совсем один. Мое прошлое «я» сидело рядом со мной на скамейке, как посторонний мальчик, которого я никогда больше не увижу. Но кто же тогда «я» на самом деле? Только теперь, на войне, я это узнаю.

*

Я уже давно слышал, как, проснувшись, товарищи говорят между собой и закусывают, но продолжал дремать. Открывая глаза, я, еще из глубины и покоя сна, с какой-то неземной отрешенностью взглядывал на проходившие в окне мягко-зеленые поля и бугры, освещенные розовым светом встающего солнца, и снова засыпал под мерный стук колес. Внезапно в сладостность моей дремоты вторгся мучительно-пронзительный выкрик: „Youp la boum!“ Вздрогнув, я открыл глаза. Все засмеялись. Широко разевая рот, Жак пел: „C'est le roi du macadam . . !“*) Меня поразило глупое выражение его круглого, с толстыми щеками, лица. Он был доволен, что вот едет на фронт и не только не боится, а, наоборот, ухарски поет и все это видят.

Чувствуя вязкий дурной вкус во рту, я с отвращением закурил. Мне казалось, в этой песне нескончаемое число куплетов. Каждый раз, когда Жак выкрикивал „youp, la boum!“, я вздрагивал, словно меня били молотом по темени.

Поезд шел теперь совсем медленно. Товарищи говорили, мы огибаем Париж. Зевая от пронизывающей утренней сырости, я смотрел в окно. Верно окраина. Домов не видно, только деревянные навесы каких-то бесконечных складов. Свинцово блестят на солнце рельсы. На запасных путях длинные составы пустых вагонов. На выгоне пасутся старые паровозы. Мне бло грустно и приятно думать, что Париж где-то близко и в этот утренний час мои друзья просыпаются в своих комнатах на многоэтажной высоте, а я не могу прийти к ним и сказать, что я отправляюсь в путешествие, из которого, может быть, никогда не вернусь.

*

Мы идем по шоссе. С любопытством смотрю по сторонам. Все самое обыкновенное. Только по множеству проезжавших военных грузовиков видно — здесь «зона армии».

---

*) Это король тротуара (король сутенеров).

Шедший рядом со мной высокий солдат, дружелюбно на меня посмотрев, сказал: „On est fatigué“.*) У него была мягкая улыбка, напоминавшая мне кого-то знакомого. Я подумал, он, может быть, русский. Но оказалось, он француз, монах, приехал в армию из Канады. Его звали Ляпорт.

Нас привезли вовсе не на фронт, а на бельгийскую границу. Солдаты в батальоне встретили нас с насмешливой недоверчивостью. Они всю зиму стояли на передовой линии и смотрели на нас, как на ловчил, укрывавшихся до сих пор в тылу. Нам отвели чердак брошенного дома в деревне «Три фонтана». Всю ночь нам не давали спать душераздирающие свистки идущих в Бельгию поездов. И днем тоже шли один за другим длинные, груженные рудой составы.

— Не может быть, что это все для Бельгии. Это переправляют в Германию, чтобы «боши» убивали нас снарядами из французского железа. Разве так не было в ту войну?

Меня раздражали эти разговоры, но невольно закрадывалось сомнение: и правда, как много поездов, а ведь это только второстепенная линия.

В выбитом окне нашего чердака жили ласточки. По утрам они будили нас громким оживленным щебетом. Мне казалось, они на нас сердятся за то, что мы поселились на их территории.

Тянулись светлые пустые дни. Неожиданно объявили запись добровольцев в „corps franc“.**) После занятий я сказал Раймону, с которым очень подружился, что мне нужно с ним поговорить.

— Видишь ли, — начал я с усилием и не глядя ему в глаза, — я всегда жил малодушно, боялся всего тяжелого, а теперь представляется случай. . . — Странно шлепая губами я стал объяснять ему мой взгляд на эту войну, как на борьбу за правду и свободу.

— Не беспокойся, если будет случай заработать крестики, я их все получу, — сказал Раймон.

В штабе нас встретил лейтенант Колизе, молодой, застенчивый, очень вежливый. Именно эта его вежливость человека другого воспитания вызывала у солдат враждебное к нему чувство. Они нам говорили: «Вот увидите, какое он дрефло. Когда мы стояли на передовой, он запрещал нам ночью громко разговаривать».

Колизе нам обрадовался:

— Вот хорошо, а то изо всего батальона никого.

Когда вечером мы вернулись к себе на чердак, капрал Орман зашевелился в своем углу и недовольно проворчал, что мы слишком поздно приходим и всех будим. Это был болезненно самолюбивый человек, с вечной оскорбленной и язвительной улыбкой на губах. Он приехал в полк одновременно с нами и с тех пор каждый день напивался. Мы продолжали разговаривать, не обращая на него внимания. Тогда он сказал с внезапно прорвавшимся злорадством:

---

*) Устал.
**) Пластунская команда.

— Если вы думаете, что вы умнее товарищей, то вы ошибаетесь. Все в батальоне смеются над вами, что вы записались в «кор фран».

— Заткнись, — добродушно сказал ему Раймон. — Но Орман не унимался. Приподнявшись на локте и дыша на нас винным перегаром, он с ненавистью закричал:

— А где это видано, чтобы в «кор фран» принимали иностранцев. В армию еще куда ни шло, но в «кор фран» могут быть секретные задания. Разве можно доверить иностранцу!

— Заткнись! — уже с угрозой повторил оскорбленный за меня Раймон.

— И не подумаю. Если ты такой уж милитарист, то не забывай о моих капральских нашивках.

Тогда Раймон с внезапным бешенством закричал:

— Г.... твои нашивки!

IV

Я как раз собирался в четырехнедельный отпуск в Париж, как с какой-то устрашающей простотой наступило то грозное, чего я так давно ждал.

С той стороны Мёзы жители переходили на наш берег. Я уже видел все это и во время гражданской войны, и на снимках в журналах, и в кинохронике: население бежит при приближении неприятеля. Так всегда бывает на войне. Я смотрел спокойно.

Когда все уже прошли, на мосту показалась горбатая девушка. С трудом передвигая короткими кривыми ногами, она торопливо шла, толкая перед собой нагруженную узлами детскую коляску. Сверху на узлах покачивалась шляпная картонка.

Горбунья шла не подымая глаз. Казалось, ей самой было неловко, что такое уродливое и жалкое существо, как она, хочет спасти свою жизнь. Но не только страх заставлял ее идти так торопливо. Ее вело сознание, что она француженка, дочь великого народа не должна остаться у «бошей». У меня защемило глаза. «Это слезы», — подумал я обрадованно. Уже давно я плакал только в кинематографе. Я по-прежнему видел небо, зеленые освещенные солнцем холмы, мост над Мёзой, но вдруг все стало каким-то затуманенным, будто находилось только на *поверхности*, а эта горбатая девушка шла в глубине какого-то зеленоватого, неведомого света. Чувствуя головокружение и мучительную, но желанную боль, я сказал себе: «Это и есть настоящая действительность, которую я всегда искал, но не мог увидеть, так как у меня черствое сердце!» Но передо мной сейчас же опять опустилась какая-то непроницаемая завеса и все стало на свое место. По-прежнему несдвигаемо-тяжелые, горы с непроницаемым выражением смотрелись в Мёзу зелеными склонами.

Но я все думал об этом странном, будто подводном свете. В нем поднялось что-то из моего далекого прошлого. «Но что это было и

когда?, — спрашивал я себя, чувствуя, как после болезни, слабость и грусть. — И если это была настоящая действительность, то почему тогда мы продолжаем жить, малодушно мирясь с несправедливостью и безжалостностью и не можем не продолжать так жить?»

Я очнулся от цоканья множества копыт. На мосту показалась голова конной колонны. Это уходили на фронт стоявшие в деревне за рекой драгуны. Всё молодые краснощекие солдаты, на сытых рыжих лошадях, с атласно отливающей шерстью. Драгуны пели вполголоса: „Auprès de ma blonde".*)

После полудня показались первые немецкие бомбовозы. Я давно с волнением ждал этой минуты появления врагов. Что-то невероятное мне в этом представлялось, а на самом деле их появление не было ничем ознаменовано, совсем просто, буднично произошло. Они летели над нами медленно и низко, с тяжелым, будто прерывистым гулом моторов. Нам были отчетливо видны черные кресты на их корпусах и мне казалось, хотя я не видел их лиц, что сидевшие в них люди рассматривают на с холодной, какой-то научной пристальностью, как насекомых.

Неловко улыбаясь, я прятался, как все, за стволами деревьев. Но мне было не страшно, а радостно и жутко. Я чувствовал с облегчением: моя прежняя безвыходная жизнь неудач и бессилия кончается. Как на берегу океана мы стояли теперь перед открывшимся огромным простором неизвестности и риска. Деньги, положение, связи, все, что в мирное время дает чувство обеспеченности, — здесь не в счет. Как я мучался, что у меня не было всего этого. А теперь мы все равны. Нас больше ничто не охраняло от подымавшегося прилива. Это жизнь, а прошлое, так страшившая меня прежде моя неспособность быть как все, зарабатывать деньги, иметь любимую женщину, — только обман, остановка.

Самолеты склонились за гору и сейчас же оттуда послышались удары бомб, с сокрушительной силой бивших в каменные склоны. Эти звуки напомнили мне взрывы, слышанные в детстве во время гражданской войны, и торжественную радость, с какой я тогда их слушал. Я чувствовал: так будет всегда, бомбы будут падать не там, где я нахожусь, а в другом месте. То, что моя жизнь все длилась, как бы подтверждало это чувство, хотя разумом я понимал его обманчивость: попади в меня бомба, я бы ничего больше не сознавал и не видел, но поскольку этого не произошло, я продолжаю видеть и чувствовать как всегда, — однако это вовсе не значит, что я не могу быть убит.

*

К вечеру из Бельгии стали прибегать обратно драгунские лошади без всадников.

Меня назначили в наряд взорвать мост. Едва мы добежали об-

---

*) Подле моей блондинки... (старинная песня).

ратно до блиндажа, за нами так загрохотало, будто там гора обвалилась. Слушая то близкие, то глухие взрывы, мы не спали всю ночь.

Едва начало светать, нам на смену пришел другой полк. Незнакомые солдаты вереницей спускались по тропинке по крутому склону горы и по одному входили в наш окоп. Впереди бодро шел невысокий плечистый капрал, с большим мешком за спиной. Сержант Прево стал ему объяснять, как устроены переходы и как пройти в блиндаж, но капрал, не слушая его, уже хозяином продолжал идти по окопу, будто говоря своим самоуверенным видом: «Хорошо, хорошо, вы можете уходить. Мы уж как-нибудь сами разберемся. Это только вам, после ваших ночных страхов, кажется, что все это так сложно».

Мне было их жалко. Окоп был вырыт на голом обрывистом склоне горы, в какой-то лиловатой, слоистой и ломкой породе. Когда немцы начнут бить из орудий, щебень полетит во все стороны. Будет много раненых. «Но ведь я не по собственному желанию ухожу, это начальство переводит нас в другое место», — подумал я, радуясь, что мне не надо самому решать.

Мы шли по перевалу. Встающее солнце озаряло зеленые, округлые вершины холмов. Там, на горных пастбищах, чернели вырытые бомбами воронки и лежали убитые коровы. Уцелевшие спокойно паслись около мертвых. Как они, верно, скакали, ошалев от ужаса, когда падали бомбы, а теперь уже все забыли. Правда, они не подходили к мертвым совсем близко. Значит, до их сонного сознания все-таки что-то доходило. Но они не чувствовали возмущения против той силы, которая сделала это с их одностадными, такими же, как они, коровами и продолжали невозмутимо щипать и пережевывать траву. Мне тоскливо и страшно было видеть их равнодушие, их тупую, покорную примиренность.

Выйдя на шоссе, мы влились в голубоватых, рассветных сумерках в колонну батальона. Были слышны только шорох множества ног и побрякивание снаряжения. Никто не разговаривал.

Скоро нас догнали наши кашевары. Они возбужденно, как что-то радостное, рассказывали: только они снялись, бомба ударила прямо в то место, где прежде стояла наша полевая кухня.

У поворота на проселок прохаживался капитан. Он смотрел на нас озабоченно и хмуро. Мне показалось, — он чем-то недоволен.

Мы шли теперь по малоезженной, заросшей травой дороге. Сзади передали приказ идти гуськом, хоронясь под деревьями, в случае воздушных налетов — ложиться на землю.

Прежде, думая о войне, я все беспокоился: вдруг окажусь трусом, и как я смогу воевать, ведь я всегда чувствую такую усталость. А теперь я на фронте и вовсе не страшно, а радостно и любопытно.

Шедший передо мной незнакомый солдат неожиданно повернулся ко мне толстым лицом, перекошенным ненавистью и подозрительностью, и сказал:

— „Tu ne crois pas que nous sommes trahis?“*)

«Что за вздор, откуда он это взял», — подумал я с возмущением. Но, несколько раз вспоминая потом его слова, я чувствовал неприятный холодок под ложечкой.

Мы скоро дошли до бельгийской границы. Жандармов не было. В траве валяется поваленный пограничный столб. Я еще сильнее ощутил, началось что-то совсем новое, все прежние законы отменены. Еще третьего дня двоих наших солдат, которые ходили ночью в Бельгию за табаком, чуть не поймали бельгийские пограничники, а теперь мы вошли в Бельгию среди бела дня и нас никто не останавливал. Только этот лежавший на земле столб напоминал, что здесь проходила «граница», условная, не существующая на самом деле черта. Земля и трава в Бельгии были такие же, как во Франции, и деревья не знали в какой стране они растут.

Мы пришли в пустую, оставленную жителями деревню. Из ворот одного двора вышел с ведром французский артиллерист без шапки и, равнодушно посмотрев на нас, пошел куда-то наискось через улицу. Он шел так по-домашнему спокойно и буднично, будто был местным жителем. А ведь он только накануне мог попасть в эту бельгийскую деревню.

Мы еще не вышли за околицу, как высоко в небе показались немецкие самолеты. Нам приказали рассыпаться. Я вошел в ближайший двор и с удовольствием сел на плетеный стул, забытый у заднего крыльца. На припеке было совсем уже по-летнему тепло. Наклонясь, как Гулливер над миром крохотных существ, я вдруг услышал, как в высокой траве стрекочут невидимые жучки и кузнечики. Но мне помешали узнать, о чем они так радостно и возбужденно говорили своими звонкими голосами.

— Казимир, иди скорее сюда. Здесь для тебя что-то есть, — высовываясь из окна дома позвал меня один из товарищей. Я поднялся по ступенькам крыльца в сенцы. Несколько человек с веселыми лицами толпились на кухне. На еще теплой плите стоял кофейник. Все знали, как я люблю кофе и нам казалось, что эта находка была хорошим предзнаменованием. Кофе был еле теплый и без сахара, но, чтобы доставить товарищам удовольствие, я с важностью выпил целую кружку.

За околицей нам повстречались бельгийские беженцы с узлами. Впереди шла высокая толстая женщина. Ее лицо багрово пылало. Задыхаясь и размахивая руками, она что-то говорила с отчаянием и гневом. Я разобрал только слово «боши».

— Успокойтесь, мадам, теперь мы пришли и все изменится, — сказал Раймон с еще не потерянной французской уверенностью, что это только поляков и бельгийцев немцы могли так легко победить, а теперь, когда дошло до французов, все по-другому будет.

Женщина, замолчав, посмотрела на Раймона с сомнением. И по этому ее взгляду, и по тому, как мужчины шли не подымая глаз,

---

*) Тебе не кажется, что нас предали?

чувствовалось, им трудно было поверить, что мы с нашими ружьями сможем остановить могучего и грозного, все сокрушавшего на своем пути врага, от которого они бежали.

Мы вышли в поле. В открывшемся перед нами просторе было далеко видно. Я жадно вглядывался: в этом просторе таилась наша судьба. Несмотря на бессонную ночь, я ощущал радостное возбуждение. Все мои чувства были обострены. «Теперь ничего не надо пропускать, — говорил я себе, — приближается то, чего я ждал все это время, я *все* пойму».

По белой дороге, опасно кренясь на поворотах, по выпуклому как щит полю бешенно несся грузовик. За ним крутясь бежал по пятам столб пыли.

— Повез снаряды для бельгийского форта, — сказал сержант, показывая в сторону, где с короткими равномерными промежутками за чертой горизонта не переставая бухали тяжелые орудия. И вдруг я понял, почему так торопится грузовик: он мчался на перегонки со смертью. На этой открытой местности он был виден самолетам как на ладони. И эти орудия бьют по немцам. Это не игра, не маневры, а настоящая война. Здесь цель всей деятельности людей, не какая-нибудь полезная работа, а убийство. Это было так странно, что мне нужно было делать усилие, чтобы об этом помнить.

Мы свернули с большой дороги и пошли лугами, пересеченными частыми перелесками.

На опушке рощи, задрав толстые хоботы в небо, отдыхало стадо допотопных чудовищ. Словно играя с нами, они стояли к нам спиной, чтобы дать нам время спрятаться. Около них бродили артилеристы в синих штанах.

Наши офицеры пошли высматривать позицию. Ожидая их, мы расположились на привал на лесистом холме. Все время над нами гудели невидимые за вершинами деревьев самолеты. Время от времени, по лесу что-то рассыпалось, шурша в деревьях, но нам не было страшно. Мы знали, что бомбовозы летят на бельгийский форт и только на всякий случай по дороге нас обстреливают. Мы закусывали и шутили как на маевке, но было скучно и томительно так ждать в бездействии. Некоторые вырыли себе ямы. А мне было лень, да и лопатки мне почему-то не выдали.

Мне не сиделось на месте. Все меня возбуждало: и шум моторов над головой, и дальнее буханье пушек, и что-то унылое и вместе с тем бодрящее, разлитое в сыром лесном воздухе, и мысль, что столько людей и орудий здесь собрано в ожидании свершения чего-то великого и страшного. Я пошел навестить Ляпорта. Он вырыл себе у подножия большой сосны глубокую яму и даже замаскировал ее ветками. Я стал над ним подтрунивать. Он смотрел на меня со своей доброй бесхитростной улыбкой. Внезапно что-то огромное со страшной силой ударило в землю. Ляпорт с неожиданным проворством юркнул в свою нору. А я даже голову не нагнул. Радуясь, что совсем не испугался, я потом со смехом рассказывал Раймону

про Ляпорта: „il a foutu le camp dans son treu".*) Я был доволен, так как мне казалось, что я сказал это совсем, как сказал бы француз.

V

Уже начало темнеть, когда, наконец, вернулись наши офицеры. Мне показалось, у них были озабоченные и недовольные лица. Мы пошли занимать «позицию». К моему удивлению, это было место, которое ничем не отличалось от любого другого места на склонах обрывистых холмов над Мёзой. Я не понимал: мы должны были стеречь, чтобы немцы не переправились на этот берег, а реки с нашего места не было видно. Мы только знали, что она течет внизу под откосом. Там неясно белела в сумерках дорога, за нею берег круто обрывался. Горы другого берега, казалось, придвинулись совсем близко. Я всматривался в темноту, недоумевая, как же мы будем стрелять, ведь ничего не видно.

Потом кто-то пришел и сказал, что, может быть, немцы уже переправились и нужно спуститься к реке посмотреть, нет ли немецких патрулей. Сержант Прево спросил, кто хочет пойти с ним. Вызвались Раймон, я и еще один солдат, эльзасец Ланге. В потемках я все время спотыкался на почти отвесном спуске. Мне не верилось, что немцы уже переправились и все-таки на душе было тревожно и странно, как всякий раз, когда я участвовал в чем-то, что нарушало привычный, *законный* порядок жизни. Мне все время хотелось говорить, и я с трудом сдерживал нервное хихиканье.

Мы дошли до воды. По слабому журчанью и плеску угадывалось, как во мраке Мёза течет в своем туманном логовище.

— Они здесь, — прошептал Прево, показывая рукой. Там слышалось хлюпанье, словно кто-то ходил у самого берега по мелкой воде.

«Неужели, правда, немцы и сейчас. . .» Я чувствовал, как застучало сердце.

— Кто идет? — щелкнув затвором и падая плашмя на землю, крикнул Прево изменившимся голосом. Ответа не было. Перед головой Прево вырвалось короткое пламя и грохот выстрела прокатился вдоль реки. Боясь отстать от товарищей, я повалился на землю и выстрелил.

Хлюпанье прекратилось. Может быть, нам только почудилось, что там кто-то ходил. Но снова послышался плеск и что-то большое и темное вышло из воды на берег и грузно легло на песок. Это не мог быть человек, но кто же тогда? Оборотень? Неведомое чудовище, жившее на дне реки? заколдованный принц? Всё казалось возможным в эту ночь.

Неясно темневшее на берегу тело еще раз дернулось и, вытя-

---

*) Он улизнул в свою дыру.

нувшись, перестало шевелиться. Немного выждав, Прево встал и, держа винтовку на перевес, осторожно пошел вперед.

— Это молодой бычок, — вдруг сказал он со смехом, и его громкий голос рассеял очарование таинственности. «Не может быть», — подумал я, но подойдя ближе увидел: действительно — бычок. Он лежал, уткнувшись храпом в землю. Мы молча над ним стояли. Никто не смеялся. Мы вернулись к нашему ружью-пулемету. Ждали, что на рассвете немцы сделают попытку переправиться.

Было еще совсем темно, когда меня разбудили. Мне и Раймону пришел черед быть дозорным. Я лежал недалеко от Раймона и смотрел на неясно видневшуюся внизу дорогу. Я знал: на часах нельзя спать, но меня непобедимо клонило ко сну. Моя голова никла, веки закрывались. «Ничего, Раймон не пропустит», — подумал я, чувствуя, что больше не могу сопротивляться дремоте. Я погружался в какую-то чудную, слитую с ночью глубину. На том берегу Мёзы, за темными горами, шли немцы с танками и пушками, а вокруг моих висков начинали развиваться события волшебно-ярких сновидений.

Я вздрогнул и проснулся. Была еще ночь, но побледневшее небо будто раздвинулось еле угадываемым свечением. Из отступающего мрака всё отчетливее возникали черные кусты и плечи и голова в каске лежавшего рядом Раймона. Мои веки опять сомкнулись, мне необходимо нужно было досмотреть сон, и вдруг я услышал шепот Раймона:

— Они переправляются, ты не слышишь, как они поют?

Я открыл глаза. Навстречу, чертя в небе высокие дуги, неслись с того берега золотисто-огненные линии светящихся пуль. Они взвивались и летели с фейерверочно-праздничным, но злым торжеством. С вершин елей на нас посыпались ветки. Снизу, с реки доносился гул многих голосов. Или это только чудилось и Раймон ошибся? Но сейчас же, словно сорвавшись с цепи, яростно захлебываясь железным лязгом застучали наши пулеметы, установленные по гребням холмов, и вдруг стало совсем светло.

Над нами в невообразимой вышине пролетали снаряды тяжелых орудий бельгийского форта и с удаляющимся могучим гулом уносились за вершины гор на том берегу. Все вокруг меня стреляли. Наш пулеметчик трясущимися руками возился с затвором заевшего ружья-пулемета. Наконец, он справился, и с каской, свалившейся на затылок, припал горбоносым лицом к запрыгавшему прикладу.

Я не стрелял. Немцев, которые переправлялись через реку, мы не могли отсюда видеть, а в сплошном лесу на склоне гор на том берегу я не мог определить место, откуда вылетали эти золотые рои светящихся пуль. Я думал — товарищам покажется странным, что я не стреляю, но я не мог заставить себя стрелять вслепую.

Внезапно мы услышали немецкий говор уже не внизу на Мёзе, а на соседнем холме, где только-что стрелял пулемет нашего первого взвода.

— Как они кричат, — огорченно покачал головой наш капрал. И он прибавил, как Раймон: — они поют.

В доносившемся до нас гуле голосов, я улавливал отдельные слова, но не мог понять их значения. Да я тогда еще и не знал немецкого. Мне представлялось: там стоят молодые немецкие солдаты и кто-то, верно офицер, невысокий, уже пожилой, дает им наставления, выкрикивая концы предложений злорадным голосом школьного учителя.

— Ну, теперь мы попадем под перекрестный огонь, — сказал капрал, надевая ранец. Он полез в гору. Я чувствовал недоумение. Все это было так непохоже на мои ожидания.

*

Мы шли теперь по дну лесного оврага. Ноги мягко ступали по шуршащим прошлогодним листьям и перегнившему валежнику. В вершинах деревьев свистят пули, а здесь тихо и сумрачно, пахнет сыростью. Местами сквозь редеющую листву пробиваются солнечные лучи. Я следил, как шедшие впереди товарищи вступали в эти полосы света и вдруг, как из опрокинутого короба, их осыпал ливень золотых пятен. Потом они опять входили в сумрак и цвет сукна их шинелей гаснул, становился почти черным.

Лес внезапно кончился, мы вышли на проезжую дорогу. Около отпряженной белой артиллерийской лошади стоял солдат в синих штанах, заправленных в голенища резиновых сапог. Он смотрел на нас с беспокойством, видимо, не зная, что теперь делать, но ничего не спросил.

Встряхиваясь на ухабах, проехал автомобиль Красного Креста. Ветер трепал полы белого халата стоявшего на подножке военного врача. Он смотрел вперед и на его лице хлыщеватого французского офицера было высокомерное выражение, как бы говорившее: «Я должен вывезти раненых и мне нет дела, что там, куда мы едем, стреляют немцы».

Мы остановились около какой-то длинной изгороди, заросшей пыльной крапивой. Здесь собрались солдаты разных рот нашего батальона. Потом из леса вышли еще солдаты. Они шли кучей, молча. У них были изнуренные лица, как у людей, сделавших длинный переход.

— C'est tout ce qui reste de la compagnie, — сказал, качая головой, шедший впереди широкоплечий сержант. — Ah, du beau travail!*)

Двое вели под руки знакомого мне солдата. С бледным испуганным лицом, он шел осторожно передвигая ногами, словно прислушиваясь к чему-то важному и значительному, что происходило внутри него. На спине у него была в шинели круглая дырка.

Называли раненых и убитых, среди них Лоренса, Ляпорта и еще

---

*) Вот все, что осталось от роты... натворили дел!

одного знакомого мне солдата, похожего на метиса. Это еще усилило в мне возбуждение от горделивого сознания, что я побывал в настоящем бою. Именно так и должно было быть на войне — убитые и раненые.

В толпе я увидел Ормана. Левая рука его была на повязке, глаза оживленно блестели, с его помолодевшего лица сошла одутловатость. Смотря на его перевязанную руку, забыв о нашей ссоре, я сказал с восхищением и завистью:

— Ты ранен и остался в строю!

— Пустяки, царапина, — не в силах удержать довольную улыбку, ответил он мне таким же дружеским тоном.

Нам приказали построиться. Лейтенант Колизе, держа в руках ружье-пулемет, сказал Прево:

— Сержант, вы поведете взвод.

С забившимся сердцем, я понял, что Колизе хочет остаться прикрывать отступление батальона. Это было так замечательно, так соответствовало моим деским представлениям о геройстве, что я предложил Раймону остаться с Колизе. Я даже не спросил себя, имею ли я право ему это предложить, ведь я думал, мы останемся на верную смерть.

Колизе долго не соглашался, чтобы мы с ним остались. Но мы доказывали, что ему нужен будет заряжающий. Наконец, он согласился и я видел, ему было приятно, что мы не захотели оставить его одного.

Маленький, всегда веселый и доброжелательный сержант Прево пожал каждому из нас руку и сказал на прощанье:

— Я тоже хотел бы с вами остаться, но не могу бросить взвод.

Остальные с любопытством, не то одобрительно, не то насмешливо, молча на нас смотрели.

Они ушли и мы остались втроем. Мне было грустно, что вот уже конец. Так скоро он наступил. Мои мечтания так и не сбудутся: подвиги, приезд в отпуск в Париж, с орденской ленточкой на груди, встреча с какой-то женщиной, которая будет меня любить. Мне нечего было вспомнить. Только раз, когда на рассвете я приехал из Бретани в Париж, недалеко от вокзала уже немолодая проститутка, с вытертой лисицей на плечах, с обычным „tu viens, chéri?“*) загляну-ла мне в лицо с удивившим меня выражением нежности. И это было все и вот теперь — конец.

Мне было грустно, что я умру здесь, вдали от моих друзей. Мне казалось, если бы они могли меня теперь видеть, мне было бы легче. Когда мы говорили о высоких предметах, о Боге, о справедливости, я всегда боялся, что ввожу их в заблуждение. Они, может быть, думали, — я такой же чистый и жертвенный человек как они сами. Так хорошо было бы, если бы они узнали, что, несмотря на мою малодушную и порочную жизнь, я пошел на верную смерть за Правду. Мне хотелось, чтобы все это видели: все женщины, не

---

*) Пойдем, дорогой!

влюблявшиеся в меня, и все мужчины, считавшие меня ничтожеством. А здесь меня никто не знает, я умру в неизвестности, *напрасно.*

Я думал об этом с тяжелым и грустным, но не лишенным какой-то горестной услады чувством отрешенного ожидания смерти. Но в то же время, я ни на минуту не переставал заботиться о том, какое впечатление я произвожу на Колизе и Раймона и мне доставляло удовлетворение, что я, как мне казалось, говорю и держу себя спокойно.

Мы установили ружье-пулемет на пригорке, наведя его на мыс леса, где дорога, по которой мы пришли, сворачивала. Оттуда должны были прийти немцы, чужие люди, враги. Я буду стрелять в этих посторонних мне людей, а потом они безжалостно меня убьют. Мне было страшно и скучно об этом думать. Все мое существо противилось этому с такой силой тоски, что, вопреки очевидности, я говорил себе: «Нет, не может этого быть, разве это обещано человеку, разве этого я ждал?» А между тем, я видел, что это неотвратимо будет, уже началось и нельзя спастись.

Над нами медленно и низко пролетел немецкий истребитель. Мне показалось, что он, человек, который сидел в его голове, увидел нас и усмехнувшись: «ага! вот, где вы притаились», полетел дальше.

Когда замер вдали гул мотора, я с удивлением заметил, как вокруг было тихо. Высоко в синеве майского неба плыли белые облака. Все было пустынно. Как я попал сюда? Как, в сущности, все это странно. Кто мог бы предсказать, когда я родился в Москве, что я буду убит в Бельгии в шинели французского солдата?

Не узнавая местности, я смотрел на уходившее к Мёзе какое-то лиловое кремнистое плоскогорье. Я раньше не замечал его. Это вовсе не Бельгия, а какая-то древняя необитаемая страна на Луне или на Марсе, где нет жизни. Я чувствовал теперь, как все объемлет равнодушная, всегда бывшая, несуществующая бездна. Мне было странно, что я буду убит в этой бездыханной действительности, которая не имела никакого отношения к моей жизни.

Я чувствовал мучительное сожаление. Теперь, когда было поздно, жизнь казалась такой желанной: ведь могли бы быть, как у других людей, успехи на житейском поприще, любовь, творческий труд. Счастье — быть, дышать, видеть, чувствовать. Как же я пропустил все это, и вместо наслаждения каждым мгновением были долгие годы отчаяния, унижений, бедности и неудач, ни одного дня счастья и удовлетворенности. А теперь я умру, ничего не исправив и ничего не узнав. И как я мог обманываться странной мыслью, что меня не могут убить и что смерть мне не страшна, как другим людям.

Я смотрел на дорогу, и вдруг мне показалось, что кто-то вошел в пустой дом, стоявший ниже на косогоре. Я видел это только самым краем глаза, может быть, мне это только померещилось, но на всякий случай я сказал Колизе.

— Не может быть, — посмотрел он на меня недоверчиво, — а все-таки пойдите посмотреть.

Я спустился вниз и, стараясь не шуметь, обошел дом. Я не думал, что это мог быть немец. И все-таки сердце билось: а что если правда немец? Сжимая в руках винтовку, я спрашивал себя, решусь ли я выстрелить первым.

Обогнув угол дома, я почти столкнулся с человеком. Это был вовсе не немец, а наш солдат-бретонец. Я строго спросил его, что он здесь делает. Он тупо посмотрел на меня мутными глазами и, показывая на дверь дома, прохрипел пересохшей от жажды глоткой: „Il y a de la bière'.*)

Я сказал ему, что батальон отступил, сюда идут немцы и он должен уходить. Он смотрел на меня с бессмысленной и недоверчивой пьяной улыбкой. Верно думал, что я тоже остался в надежде найти чего-нибудь выпить. Но мой решительный тон на него подействовал. Со вздохом сожаления, посмотрев в последний раз на открытую дверь дома, он стал спускаться по крутой тропинке на дорогу. Я смотрел ему вслед с неясным чувтвом досады. Он шел пошатываясь. Земля осыпалась из-под его тяжелои неуверенно ступавших ног и шурша скатывалась вниз.

Время шло, а немцев все не было. Но, как в страшных романах Майн-Рида, за скалами, деревьями и кустами чувствовалось зловещее присутствие врагов. Колизе уже видел несколько раз, как они показывались на дороге: «Смотрите, вон там, там около дома». И он стрелял из ружья-пулемета. Как будто и в самом деле кто-то высовывался там из-за леса и прятался и вот опять высунулся и под стеной стоявшего при дороге дома пробежало несколько темных фигур. Но я не был уверен и не стрелял.

Потом я с досадой увидел, как сзади нас, на скалах, занимает позицию вернувшаяся рота «аджюдана» Ле Энаффа, маленького, на тонких кривых ножках, но чрезвычайно самоуверенного человека. Мне было неприятно смотреть, как, расставляя своих людей, он спокойно отдавал приказания. С приходом его роты опасность быть убитым не стала меньше, но мы не могли уже больше умиляться над собой, что вот мы втроем остались на верную смерть, чтобы прикрыть отступление батальона.

VI

Не помню, сколько времени мы еще тут оставались. Все кончилось самым неожиданным для меня образом. Просто пришел связной и передал приказ капитана присоединиться к батальону.

Мы шли вдоль заросшей крапивой изгороди. Потом открылась какая-то глупая местность: изрезанная колеями поляна, разбросанные купы деревьев. Здесь, за последним перелеском, дорога выхо-

---

*) Там пиво.

дила в поле, полого подымавшееся к голубой стене огромного неба. На этом поле ничего не росло — ни кустов, ни деревьев. Наши солдаты, растянувшись цепью, как сеятели, трудясь брели по нему вверх. Над ними медленно и низко кружили немецкие самолеты.

На опушке стоял капитан. Я робел перед ним и огорчался, что он не догадывается, как с моими представлениями о солдатской преданности я готов по его приказанию идти в огонь. Теперь, со злорадством отверженной любви, я с любопытством всматривался в его красное нахмуренное лицо, словно надеясь увидеть в его чертах растерянность. Но на его лице было выражение не страха, а гнева.

Колизе подошел к нему с донесением.

— Проходите, проходите, — недовольно хмуря брови, сказал капитан мне и Раймону, заметив, что я засматриваю ему в лицо. Колизе, оглядываясь на нас, что-то ему сказал, и тогда капитан одобрительно кивнул головой.

Мы последними вступили в это открытое, ничем не защищенное пространство. Я вошел в него еще ничего не подозревая. Было тяжело идти в гору. Стоявшее высоко в небе солнце пекло совсем уже по-летнему. Над нами все время гудели самолеты. Они показывались из-за леса за нашей спиной и низко, с тяжелым гулом моторов, пролетали над нами, стреляя из пулеметов и сбрасывая бомбы. Мы шли гуськом по обочине дороги, ложились, вставали, опять шли. Я старался не отстать от Раймона, и меня раздражало, когда между нами встревал какой-нибудь другой солдат. И с таким же раздражением я думал о Раймоне: «Только бы его не ранило, что мне тогда с ним делать?» Когда все вставали, я с беспокойством смотрел, встал ли он тоже.

Весь мир, вся жизнь, свелись к тому, чтобы перейти это пустое поле. Не знаю, сколько времени это продолжалось. Были ли это все новые самолеты или все те же кружили над нами, но все время воздух дрожал от грозно нарастающего гула моторов, слышалось потрескивание пулеметов, потом сверху вниз несся зловещий вой, и весь холм сотрясался от страшных ударов, бивших в землю с нечеловеческой силой. Я шел, как лошадь в шорах: впереди, покачивается спина Раймона, а по бокам чернота, и в этой черноте что-то грохочет и она освещается вспышками красного огня. И это повторялось все снова и снова. Я почувствовал, как во мне шевельнулся и начал расти страх. Я лежал в придорожной канавке. Падая, я сбил движением плеч ранец на затылок. Говорили, это может защитить голову от осколков и камней. Я видел дымно-черное небо, словно глядел, как при затмении солнца, сквозь закопченное стекло. На рубежах поля сверкает огонь и взлетают черные столбы земли.

Я не знаю, сколько времени мы так лежали. Может быть, часы, может быть, десять минут. Но мне трудно было вспомнить, что же было прежде. И это не кончается, никогда не кончится. Правда,

перед тем, как страх занял все *место*, я еще успел подумать: «Как хорошо, что в эти минуты опасности я не чувствую сожаления о моей неудачной жизни». Прошлого не было. Теперь я остался один на один с равнодушным, грозящим гибелью небом, и меня занимала только борьба, которая начиналась между мною и этим небом, а то, как я жил прежде среди людей и что они обо мне думали, больше не имело значения. Я даже вспомнил это место из Паскаля: «Когда мы здоровы, мы со страхом думаем о болезни, сожалея, что тогда мы должны будем отказаться от наших страстей, желаний и развлечений, но когда мы действительно больны, нам уже не нужно всего этого». Что-то в этом роде. «Как это верно и как хорошо, что это так устроено», — подумал я с благодарностью. Это была последняя пришедшая мне в голову членораздельная мысль.

Все мое тело было покрыто липким потом, и я чувствовал, как мною овладевает животный страх. Я понимал, что это происходит от мысли, что бомбы, именно бомбы, — пулеметы потрескивали так слабо, что я совсем их не боялся, — могут меня убить. Но мысль о смерти была только толчком, освободившим во мне темный, безымянный ужас, который поднимался из самых недр моего существа. И я боялся теперь не смерти, а самого этого не связанного ни с какими мыслями чувства ужаса, хотя и понимал, что его вызвал во мне страх уничтожения. Я чувствовал, если я поддамся этому чувству, если оно еще продлится и усилится, я не выдержу. А вместе с тем я с непонятным наслаждением хотел отдаться этому чему-то черному и ненавистному, что надвигалось на мое сознание. Мысль, что сейчас со мной произойдет что-то безобразное — вдруг я начну визжать, как животное — так меня испугала, что, сделав усилие, я сказал себе с чувством возмущенной гордости: «Как я могу бояться? как может быть этот унизительный, покрывший мое тело пот? ведь на наших сборищах у Мануши я так часто говорил о вечной жизни! Что же, значит все это было только пустыми разговорами, коли я теперь боюсь». Я вспомнил, как мы спорили и как жизнь вечная мне представлялась не в будущем, за гробом, а что она всегда присутствует вокруг меня и внутри меня, как какое-то непостижимое четвертое или пятое измерение действительности. И смотря, как взметаются черные столбы земли, я подумал: мое постоянное чувство, что меня не могут убить, было основано вовсе не на мысли, что в меня не попадет пуля или осколок, а на таинственной надрассудочной уверенности, что я останусь и после смерти, всегда буду, и поэтому мне, собственно, все равно — убьют меня или нет, так как это не имеет отношения к моему настоящему неуничтожимому существованию. Наоборот, если меня убьют, мне, может быть, даже легче будет. Кончится все это: как мы шли под палящим солнцем, и ложились, и опять вставали, и больше не будет падающих бомб, неясности, страха. Тогда на мгновение я с ужасом и восторгом увидел, как за этим небом и всем окружающим проступает *что-то другое* и, замирая от безумной радости, я сказал себе: «Вот она, жизнь вечная. Наконец-то! Это небо останется и эта зе-

мля, мой труп будет лежать на холме, а я перейду *на ту сторону*, и это все. Никакой смерти нет».

Теперь я спокойно следил, как где-то далеко, во *внешнем* мире, как на экране кино, бомбы вываливались из брюха самолета. Их относило назад. Они падали сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Мне показалось смешным, что *они* думают, что могут меня уничтожить этими бомбами. Но потом моя мысль еще продвинулась: а что, если на самом деле ничего нет, кроме этого холма, на котором я лежу? ударит бомба — и все кончится, исчезнет то, что я называл моей душой, а в действительности было только эпифеноменом движений молекул моего мозга. Но странно, это не поколебало моего отрицания смерти. С чувством злобы против кого-то, я подумал: «Ну, хорошо, если *вы* так устроили, что ничего нет, кроме бессмысленной толчеи атомов, то все равно это ничего не значит. Может *стать* другой порядок и потому, что всем моим человеческим мечтанием я хочу, чтобы был этот другой порядок, он уже неуничтожимо существует и никакие бомбы ничего против него не могут».

Впоследствии я не понимал, как я мог так думать. Но тогда мне так ясно это было. Эти мысли проходили в моем сознании, словно освещаемые вспышками молнии, так что я видел все их *будущие* разветвления. Одновременно я чувствовал, как пот высыхает на моем теле, и я уже не мог вспомнить, в чем же заключался бывший перед тем страх.

Мне казалось, мы шли через этот холм целый день. Над нами все так же гудели моторы немецких самолетов, по траве скользили огромные тени крыльев, такали пулеметы, несся вой и свист, и земля качалась от ударов падавших с неба бомб. Но я больше не думал о страхе. Я замечал, что когда мы вставали и шли дальше, некоторые солдаты оставались лежать. Но по какой-то странной рассеянности, мне не приходило в голову, что это значит.

VII

Мы идем по дну глубокой балки: Колизе, Раймон, я, рыжий сержант Леруа и еще несколько незнакомых мне солдат.

Не помню, как мы сюда попали. Здесь было тихо, еще тише, чем когда утром мы шли в лесу, в лощине. Даже вдали не слышно выстрелов. Война кончилась или, может быть, нам только приснилось, что была война. Наверху, в оставленном нами мире, в небе плыл серебряный самолет. Он не мог нас оттуда видеть, да и вовсе не для того, чтобы бросать бомбы он летел.

Я смотрел то на траву под ногами, то на красную глину обрывов. Я вспомнил, что что-то важное со мной случилось: сначала грохот и ужас, будто мое «я» подымали на дыбу, потом наступила уверенность в чем-то. . .

А тут, на дне оврага, такая тишина. Совсем не так, как когда мы шли наверху. Ни спешки, ни страха, ни отчаяния. Как часто меня

пугала мысль: если о моей жизни не будет знать ничье сознание, то выйдет, что меня как бы совсем не было. А здесь, в этом глухом месте, где, может быть, до нас много лет никто не проходил, растет трава и ей все равно, что о ней никто не знает, ей достаточно быть, расти навстречу солнцу.

С хлопотливостью домашней хозяйки покрывая землю несметными рядами тоненьких зеленых солдатиков, эта наивная и мудрая трава не могла понять нашу тревогу. Она была слишком занята радостью своего существования. И вместе с тем я чувствовал во всем окружающем будто начало любви, начало движения ко мне. Все ближе обступая, в меня входили покой и тишина жизни травы и деревьев. Но каждый раз, когда я взглядывал пристальнее, их движение ко мне останавливалось. И я знал, даже если я останусь здесь навсегда, я не смогу соединиться с блаженным сном этого освещенного солнцем склона. От сознания этой невозможности, что-то мучительно и в то же время сладостно раздиралось у меня в груди. Я чувствовал изнеможение и боль, как когда греешь у огня отмороженные руки. Но меня вела моя людская доля. Держась рукой за резавший плечо ремень винтовки, я проходил мимо, шаркая по траве тяжелыми и пыльными солдатскими башмаками.

Мы не знали, где немцы. Не знали, куда идем, может быть, прямо им навстречу. Мы еще не вышли из круга войны и смерти. Но в моей душе, словно возвращавшейся издалека и еще оглушенной, уже оживали надежды и ребяческие мечтания. «Нет, это не конец. Все еще хорошо будет. Мы остановим немцев. Еще будут бои, и я отличусь, совершу подвиг. Героем приеду в отпуск вПариж. Все знакомые, которые говорили про меня: ‚Ах, этот Гуськов, какой-то неудачник, неврастеник‘, увидят тогда... И как я мог думать, что умру, прежде чем исполнится мое ожидание любви. Но сейчас главное не попасть в руки к немцам, дойти до какого-нибудь спокойного места, где можно будет поесть, отдохнуть, выспаться хорошенько и тогда снова в бой».

*

Выйдя на большую дорогу, мы увидели подымавшийся нам навстречу полк тяжелой конной артиллерии. Мне странным это показалось: сзади нас «ничья земля», безлюдное пространство, в которое входили немцы. Куде же шел этот полк? Прямо им навстречу?

Первая запряжка остановилась.

— Ну, как? что там впереди?, — нагнувшись со спины громадной лошади, спросил ездовой, широкий в груди и плечах человек, в толстой артиллерийской шинели.

— Куда вы едете? — не выдержал Леруа, — мы последние, а за нами немцы.

На круглом усатом лице ездового выразилась досада.

— У нас и так уже по дороге несколько орудий разбили самолеты, — сказал он озабоченно.

Чувствовалось, как над полком уже распростер крылья ангел смерти. Что могла вся это масса отборных солдат и лошадей против поражавшей сверху смерти? Не больше, чем средневековое ополчение со старинными бомбардами.

*

Мои воспоминания становятся все отрывочнее. Между отдельными яркими картинами — провалы темноты, и я не знаю теперь, что было раньше, что потом.

Мы зашли напиться во двор большого дома при дороге. Здесь стояли артиллеристы. Нас окружили молодые краснощекие солдаты, с ясными глазами хорошо выспавшихся людей. По тому, как они участливо с любопытством и страхом на нас смотрели, стараясь понять по нашим лицам, как там, откуда мы пришли, очень ли плохо и страшно, было видно, они еще не побывали в огне и, думая, что находятся глубоко в тылу, были встревожены нашим измученным видом. Они дружески нас угощали, протягивая на перебой хлеб, сыр, сардинки. Несмотря на усталость и подавленность, я испытывал приятное чувство, видя это внимание, оказываемое нам, как фронтовикам.

Из дома вышел офицер. В том, как он был чисто одет и в оживленном выражении его лица, было что-то по-комнатному спокойное. Он посмотрел на нас с досадой.

— Я понимаю, — сказал он, — вы сделали тяжелые переходы в полной выкладке. Конечно, первое столкновение было трудным. Но подумайте, что может быть у немцев на этом берегу? — Он торжествующе взглянул на нас, уверенный в неотразимости своих доводов. — Что они могли переправить? какие-то пустяки! Вот, смотрите около Намюра пехотинцы, да, да, такая же пехтура как вы, сами собрались и опрокинули ‚бошей' обратно в Мёзу, да еще поддали коленкой в зад.

Он довольно засмеялся, чувствуя, какое впечатление должна на нас произвести его уверенность, что стоит только дружно ударить — и немцы не выдержат.

Леруа посмотрел на офицера взглядом, в котором выражались желание верить и в то же время сомнение:

— Да, но у них столько самолетов, а с нашей стороны ни одного, — пожаловался он.

Офицер чуть отвел глаза в сторону.

— Это тоже скоро изменится. Сегодня утром прилетали наши истребители и сразу же сбили полдюжины ‚бошей', — сказал он с напускной бодростью.

Заметив появившееся на наших лицах выражение надежды, он обрадованно заключил:

— Вот что, ребята, поешьте, отдохните хорошенько, а потом возвращайтесь на ваши боевые посты. Я бы так поступил на вашем

месте, — сделав ударе́ние на слове «я», прибавил он, смотря в глаза сержанту Леруа.

По его твердому спокойному взгляду чувствовалось, что он, действительно, так бы поступил. Он проводил нас до ворот. В толпе беспорядочно и торопливо проходивших солдат какой-то пехотинец с веселой вороватой улыбкой ехал на отпряженной артиллерийской лошади.

— Эй, что́ же ты на чужой лошади едешь? — крикнул ему офицер.

— А зачем она одна на дороге стояла, — с хохотом ответил пехотинец, проезжая мимо.

Лицо офицера приняло озабоченное выражение.

— Свел лошадь, да еще бахвалится, — укоризненно покачал он головой. Казалось, ему самому вдруг пришло сомнение, существуют ли еще те боевые посты, на которые он советовал нам вернуться.

— Идите! идите!, — махнул он рукой, — отдохните где-нибудь, а потом постарайтесь отыскать ваш полк.

*

Мы долго искали место для привала. Все нам казалось нехорошо: то слишком близко от дороги, то открытое поле, то роща. Немецкие самолеты обстреливали леса, видимо, предполагая, что там могут скопляться войска.

Я осматривался с тоской: вокруг не было места, где бы укрыться от опасности. «Смеющаяся», как пишут французы, освещенная солнцем, равнина; вдали — холмы, синие рощи. «Мир Божий». Каким безжалостным он мне казался. Врыться бы глуобоко в землю или, отвернув как полог край неба, очутиться *по ту сторону* этой страшной действительности, в которой нет убежища от смерти.

Я не мог поверить, что нет этой *другой стороны*. Этому сопротивлялось всё чувство моей жизни. А между тем, я видел, что всё остается непроницаемо твердым: небо — оштукатуренный голубым каменный купол, зеленые холмы, как из бетона. Сколько бы я ни просил, как бы ни напрягался, не сдвинуть ни на вершок, ни на полвершка.

Мы всё не могли выбрать подходящее место. Только сядем на землю, и вдруг как варом обдаст — именно сюда упадет бомба, безумие здесь оставаться. Наконец, мы прилегли на крутом склоне лесистого холма. Было неудобно так лежать и все-таки, едва я вытянул ноги, как по всему телу разлилась блаженная истома.

— Советую тебе снять башмаки. — сказал Раймон.

Но мне было лень двигаться. Смотря, как Раймон разувается, я с досадой подумал: «Почему он должен все время что-то делать, ни минуты не посидит спокойно». И вдруг что-то огромное, как обломок другой планеты, упало на землю и весь холм упруго дрогнул. Мы вскочили на ноги. Там, где прежде среди вершины деревьев

была видна крыша дома, во дворе которого нас угощали артиллеристы, теперь словно из недр земли, клубясь, подымался столб черного дыма.

Мы молча собрались и пошли. Об отдыхе больше никто не думал.

Каким-то образом, мы все-таки набрели на солдат нашего батальона. Они лежали в цепи на опушке леса.

Уже смеркалось. На той стороне пересекавшей поле канавы вдруг появились люди. Мы начали в них стрелять. Они закричали удивленно, как мне показалось, испуганно и сердито. Впоследствии, когда я привык к звукам немецкой речи, я никак не мог соединить их с этим криком. Нет, эти люди совсем по-другому, не по-немецки тогда закричали, а будто на каком-то не европейском, на каком-то даже не человеческом языке. Не обращая внимания на нашу стрельбу, они странно близко, словно сразу за стеблями высокой травы у меня перед глазами, продолжали, как журавли, ходить по краю луга, стреляя в нас из автоматов.

Из отдаления моего сознания, которое будто во вне меня мигало в какой-то мгле, я видел этих зеленоватых людей и меня самого, как лежа на земле я с судорожной торопливостью дергаю затвор и стреляю.

Почти сейчас же справа застучал наш пулемет и немцы исчезли, точно провалились сквозь землю. Все это слишком быстро кончилось и оставило неприятное впечатление недостоверности.

Когда стало совсем темно, мы ушли.

*

В Филипвилле ночью горела церковь. В проломе разбитой бомбой стены было видно, как внутри до самых сводов бушует пламя. Неверно озаряемый багровым отсветом пожара поток запрудивших площадь войск то останавливался, то снова двигался. Сменяя друг друга, из мрака призрачно возникали громады крытых грузовиков, колеса и черные стволы орудий, конские головы и лица людей, освещенные, как у идущих от Светлой заутрени.

Выйдя из города, мы сошли с дороги и легли у какой-то проволочной изгороди. Еще утром я бросил одеяло и теперь дрожал от пронизывающей сырости, такой обильной, будто мы лежали в воде. Я укрылся валявшейся у дороги конской попоной. Попона была совсем новая, из толстого сукна и я скоро согрелся. Но от нее так остро воняло конским потом, что я не мог заснуть.

На рассвете мы вернулись на дорогу. По ней по-прежнему беспорядочно шли толпы солдат, но грузовиков и пушек было меньше. Скоро показались немецкие самолеты. Весь день они пролетали над нами по одному, по два, по три, а то и целыми косяками. Иногда полнеба покрывали отряды бомбовозов. Один за другим всходили ряды серых птиц и воздух дрожал от могучего гула моторов. Мы

напрасно стреляли по ним из винтовок. Не ускоряя и не замедляя хода и не меняя порядка построения, они продолжали свое неостановимое движение.

Мы шли день и ночь.

В каждой сохранившейся в моей памяти сцене нас было разное число. То целая толпа, то только солдаты нашего взвода, то наших не было, но зато солдаты из других рот нашего полка, и Колизе то шел с нами, то исчезал, а потом снова появлялся и иногда с ним были еще другие офицеры. Каким-то образом мы встречались на дороге, а потом опять теряли друг друга и никто не знал, куда идти и где наш полк. Только с Раймоном я не разлучался.

*

Опять все непонятно изменилось. Только что на шоссе с грохотом выбивались в гору грузовики, слышались крики, брань, торопливо шли пехотинцы с измученными угрюмыми лицами. А теперь на усаженной деревьями, прямой как стрела дороге перед нами никого не было. Ни души. Будто все люди внезапно умерли. По обочинам редкие разбитые бомбами дома. Что-то уныло грозное проглядывало во все окрестности и в огромном, пасмурном теперь небе. В лугах, бродя среди вырытых снарядами воронок, ревела недоенная скотина.

По пути к нам пристал старик с двумя маленькими мальчиками. Грузный, седой, круглоголовый, с пухлыми покатыми плечами. Он нес на спине какой-то увязанный в простыню скарб. Этот ярко белый узел был верно виден самолетам с самой поднебесной высоты.

— Дедушка, вы бы замаскировали узел, вот как я, — показал на ветки на своей каске молодой солдат и белозубо улыбнулся, чтобы убедить старика, как славно тогда будет. Старик смотрел на него, смигивая слезящимися, воспаленными глазами и, улыбаясь, кивал головой, видимо, желая показать, что и он не хуже молодых умеет не унывать в трудных обстоятельствах.

— Да, вы военные все знаете, — сказал он, чтобы польстить солдату. Но он ничего не сделал, чтобы замаскировать свой белый узел. Я видел, каждый раз, когда появлялись в небе немецкие самолеты, он ложился в придорожную канавку и укладывал рядом с собой мальчиков. Когда налет кончался, он с трудом вставал, тяжело опираясь рукой о землю. У него еще хватало сил идти, ложиться и вставать, но он верно боялся, что если отойдет в сторону наломать веток, то у него не хватит энергии опять вернуться на дорогу.

Я не ложился. Мне не верилось, что я буду теперь убит. Я мог еще *согласиться* быть убитым, когда мы втроем остались прикрывать отступление батальона. С такой смертью примиряло совершенство героического лубка. Но быть убитым во время бегства, не успев ни о чем подумать, казалось мне настолько бессмысленным и не-

справедливым, что я не мог допустить возможности этого. Моя жизнь не могла так кончиться. И то, что после каждого налета немецких истребителей я все продолжал идти, как бы подтверждало, что я не буду теперь убит. Несмотря на это, что-то ужасное и неразрешимое было для меня в мысли, что на самом деле я каждый раз оставался жить только случайно. Какой тогда смысл в жизни, если в любое мгновение она может прекратиться. Подчиняясь каким-то математически вычислимым законам, бомба неостановимо падает и с одинаковой неодушевленной яростью разрушения бьет в землю, в дома, в людей. Сознание, что я случайно окажусь поблизости от места, где она должна упасть, и что никакая сила в мире не может охранить меня от этого бессмысленного произвола случайности, вызывало во мне тоску, какой я никогда еще прежде не испытывал.

После одного воздушного налета я заметил, что старика больше с нами не было. «Куда он девался, верно отстал?» — подумал я рассеянно.

— А старик и мальчики, как легли в последний раз, так больше и не встали, — словно отвечая на мои мысли, сказал кто-то из солдат шедших сзади. «Ах да, со стариком было еще двое мальчиков. Они верно очень устали, но все-таки какая странная мысль так остаться лежать», — подумал я. Впрочем, я уже, кажется, видел людей, лежавших при дороге. Так же, как когда мы шли через холм, я не мог сразу вспомнить, почему они так лежали. Но даже вспомнив, я сказал себе: «Мало ли что, ведь я сам не видел, что старик и мальчики больше не встали. Может быть, они просто вошли отдохнуть в какой-нибудь дом».

«Не обращай ни на что внимания, — говорил мне какой-то голос, — не заботься о старике и мальчиках. Что бы ты ни увидел: убийство, несправедливость, беспощадное уничтожение — проходи мимо. Ты еще жив, еще можешь идти и надеяться. Так будь же благодарен и не вмешивайся не в свое дело. Не то, смотри, как бы и тебе того же не было. Ты все равно ничего не можешь. Это не собрание у Мануши. Там легко было говорить о Правде, а здесь грозное, безжалостное небо».

Я смотрел на дорогу, на окрестные поля, на синеющий вдали лес и с недоумением чувствовал: во всем этом не было чего-то, что я надеялся найти. Теперь я все лучше узнавал ее: это была все та же ничего обо мне не знавшая, пребывающая вне времени моей жизни, «объективная» действительность, которая уже мелькала несколько раз. Но теперь, перестав таиться, уверенная в победе, она все обнаженнее проступала во всем своем мертвом безобразии. Теперь я видел, как она *устроена*. В ней не было ничего похожего на человеческие чувства — ни доброты, ни жалости. Мне казалось, в беспамятной вечности своего существования она грозно смеется надо мной. Я дрожу, а ей ничего не страшно и никого не жалко. Она была до моего рождения и будет после моей смерти. Она говорит своим присутствием: «Только я существую, а все твои чувства и

мысли, возмущение, отчаяние, страх, желание справедливости и вечной жизни — все это исчезнет, когда осколок бомбы разобьет твою голову, как глиняную».

Мне приходили странные мысли: именно эта неживая действительность — наш враг, а немцы — изменники человечеству, они перешли на ее сторону.

IX

Мы снова вышли на главную дорогу. По ней по-прежнему непрерывным потоком двигались грузовики и толпы торопливо идущих солдат. Среди них было много марокканских стрелков. Некоторые катили на новеньких штатских велосипедах. Теперь больше не могло быть сомнения: это — бегство. Грузовики мчались полным ходом. Многие солдаты шли уже без винтовок.

Леруа и другим повезло: их взял проезжавший порожняком грузовик. Но мне и Раймону не хватило места. Мы продолжали идти пешком.

Постепенно я бросил ранец, потом котелок, флягу и даже мундир, остался под шинелью в одной фуфайке. Кроме винтовки и противогаза я сохранил только небольшой кожаный несессер с туалетными принадлежностями. Мне было жалко с ним расставаться. Это в первый раз в жизни у меня был такой несессер. Все такие красивые, стеклянные и никелированные вещицы. Я купил его в начале войны, еще ужасался тогда, как дорого он стоил. Но ремень подсумка резал плечо все невыносимее. Я со злобой думал: это из-за этого несессера подсумок такой тяжелый, будто я нес в нем чугунное ядро. Наконец, не выдержав, я со злобой отчаяния вынул несессер и бросил его в придорожные кусты.

Мы еще совсем недалеко отошли от места, где я его бросил, как перед крыльцом одиноко стоявшего у дороги дома остановился грузовик. Шофер соскочил на землю и, подняв крышку, стал что-то поправлять в моторе. За ним вылез из кабинки сухощавый, с коротко постриженными рыжими усами «аджюдан», в каком-то синем, не армейском мундире. Раймон подошел к нему и, отдав честь, попросил разрешения ехать на подножке. Продолжая следить за тем, как шофер что-то завинчивает в моторе, «аджюдан» ничего не отвечал. Только какой-то круглый, как желвак, мускул дергался у него на щеке.

— Готово, — сказал шофер, захлопнув крышку.

«Аджюдан» занес ногу на подножку. Видимо, решив, что может быть в первый раз «аджюдан» его не расслышал, Раймон еще раз попросил его разрешить нам ехать на подножке. «Аджюдан» обернулся и словно только теперь нас заметив, заорал:

— Foutez-moi le camp!*)

---

*) Катитесь отсюда.

В то же мгновение мы услышали быстро приближающийся знакомый, зловещий рокот. И сейчас же с яростью ужасающей быстроты громада истребителя с железным дребезжанием и воем пронеслась над нами так низко, что мне показалось — нам снесет головы. Сквозь грохот мотора бешенно застучали пулеметы и короткий град пуль хлестнул по шоссе и по стене дома. На нас посыпались куски отбитой штукатурки. «Аджюдан» и шофер мгновенно очутились на корточках в канаве. Но мы с Раймоном остались стоять около грузовика. По испуганному лицу «аджюдана» мы почувствовали, что если он увидит, что мы не боимся, его отношение к нам изменится. И, действительно, вылезая из канавы и садясь в кабинку, он сказал, не глядя нам в глаза:

— Montez, les gars.*)

Мы вскочили на подножки по бокам кабины. Грузовик рванулся. В ушах засвистел вольный ветер. Придорожные деревья в смятении побежали назад. После того, как мы так долго брели среди безжалостной неподвижности полей, что-то победное было в этой опьяняющей быстроте. Мотор в ровном неукоснительном стремлении подминал под себя несущуюся навстречу дорогу, будто навивая ее на какую-то невидимую катушку.

Через четверть часа мы были уже на французской границе. Перед блокгаузом стояло несколько солдат и офицеров. Они молча на нас смотрели. Забыв в возбуждении быстрой езды, что мы только жалкие беглецы, Раймон приветственно помахал им рукой, как машут, входя в освобожденный город, победители. Он так был уверен, что французская армия победит, так как хотел этого, так живо воображал, что не мог удержаться от этого неуместного в нашем положении приветствия.

Нам казалось, во Франции кончится, как кончается страшный сон, все, что мы видели в Бельгии: быстрое, словно заколдованное продвижение немцев, путаница, чудовищное неравенство вооружения, точно правда нас кто-то предал. Все, что мы видели, подтверждало, что во Франции будет по-другому. Над нами совсем низко, словно желая рассмотреть наши лица, пролетел истребитель. Сначала мы испугались, но когда увидели на его коротких крыльях трехцветные круги, с облегчением вздохнули: значит и с нашей стороны есть самолеты. Да что в этом необыкновенного? Так и должно быть. А то, что в Бельгии не было ни одного, это только из-за какого-то недоразумения, которое потом разъяснится.

Описав над нами дугу, истребитель улетел обратно. Так собака, насторожив уши, подходит к воротам, но убедившись, что все в порядке, возвращается на свое место.

Дорогу пересекал широкий противотанковый ров. Он тянулся в обе стороны насколько хватал глаз. На берегу рва — вросшие в замлю круглые блиндажи. Это и была малая линия Мажино. Вдали, в прозрачном вечернем воздухе виднелись на рубеже лугов и распа-

---

*) Влезайте, ребята.

ханных полей башни, колокольни, крыши. К ним приближался четырехугольник больших птиц. Навстречу им сейчас же взвился истребитель. В одно мгновение он был уже над нами. Прежде чем мы поняли, что происходит, один из немецких бомбовозов выпал из движения отряда и вдруг, охваченный пламенем, стал медленно падать, как клок горящей пакли. Я следил за его падением с чувством торжества и ужаса.

А истребитель быстро, будто по канату, отвесно вскарабкивался выше гималаев меркнувших облаков. Оттуда он ринулся на задний бомбовоз. Чтобы уйти, тот тоже нырнул носом и с обрыва головокружительной высоты оба темными тенями понеслись вниз: первым, большой немец с широко распростертыми крыльями и почти на хвосте у него, точно вцепившись зубами, истребитель. Несмотря на большое расстояние, мы отчетливо слышали, как с торжествующей быстротой и злобой стучат пулеметы.

Все это длилось всего несколько мгновений. Оба самолета исчезли за чертой горизонта и почти сейчас же истребитель, уже один, взмыл в небо. Но отряд бомбовозов уже далеко уходил. Я подумал, что никогда не видел зрелища более трагически-прекрасного, чем этот воздушный бой.

Возбужденные радостью победы, мы торопливо шли, больше не чувствуя усталости. Нам хотелось поскорее дойти до места, где упали немецкие бомбовозы. Но мы скоро поняли, все это гораздо дальше произошло, чем нам сначала показалось.

Среди полей, сливавшихся в сумерках с небом, перед нами подымались окраинные дома незнакомого города. Над ними возник и протянулся через полнеба тонкий голубой луч. Потом еще один, третий, четвертый. Ища немецкие самолеты, они промахивали по черно-синему небу, то сближаясь, то снова расходясь: длинные, бесплотные пальцы невидимо стоявшего над крышами ангела-хранителя города.

Забыв о войне, я подходил к предместью с чувством, какое всегда испытывал при виде незнакомого города — здесь живут люди, которым открыто какое-то таинственное счастье. На заставе нас встретили долговязый английский слодат в плоском, как таз, шлеме и штатские с повязками на руках. За кружками света направленных на нас карманных фонариков — усатые, с провалившимися щеками лица старых рабочих. Проникнутые сознанием важности порученных им в этот грозный час обязанностей, они приглушенными дружескими голосами участливо объясняли нам, как пройти в казарму — там мы сможем выспаться, отдохнуть, поесть.

В огромном здании казармы во всех комнатах и проходах спали вповалку солдаты. Мы с трудом нашли место. В первый раз за все эти дни мы заснули с чувством покоя, почти счастья. Мы во Франции, в безопасности.

На следующее утро, выспавшиеся, свежие и бодрые, мы пошли прописаться в комендантское управление. Здесь в толпе солдат,

разыскивающих свои части, мы нашли Леруа и ребят из нашей роты. Писаря выкликали номера полков. Все это действовало успокоительно. Здесь нам скажут, где теперь дивизия. С Леруа во главе, мы протискались к одному из столиков. Писарь стал расспрашивать, откуда мы идем и какое там положение. Услышав от Леруа, что немцы перешли Мёзу, стоявший рядом высокий, длинноносый офицер в каске моторизованных частей резко сказал:

— Il ne sait pas lui-même la moitié de ce qu'il raconte*), — и сердито смотря на Леруа прибавил: — Как же вы говорите, что немцы перешли Мёзу, когда бельгийский форт около Живе еще стреляет.

Довольный, что нашел такое неопровержимое доказательство неправильности рассказа Леруа, он посмотрел на нас с торжествующим выражением. Он не знал, что это был как раз тот форт, около которого мы стояли на Мёзе и который замолчал в первый же день немецкого прорыва. Но офицер был так уверен в своих словах, что я подумал, может быть, это мы каким-то непонятным образом ошиблись и все тогда произошло не так, как нам казалось. Понимая, что утверждение офицера, будто этот бельгийский форт еще стреляет, способствует поддержанию духа войск, Леруа, подавив обиду, твердо смотря офицеру в глаза, сказал:

— Вы совершенно правы.

— Ну, вот видите, — обрадовался офицер, — сейчас вы можете идти. Мы еще не связались с вашей дивизией, но в полдень возвращайтесь. Вам дадут направление.

Мы вышли на площадь. Раньше, когда я думал о провинциальных глухих городах, мне представлялась жизнь, неподвижная, как вода в илистом пруду: скука, сплетни, соглядатайство соседей. А на самом деле здесь было так хорошо, светло и тихо. Старые дома стояли в глубине мягкого света, как в вечности, и что-то завершенно прелестное было в соразмерности их объемов, в блеклой окраске их стен, в прозрачности воздуха вокруг них.

Лавки были открыты. Я купил зубную щетку и кусок мыла. Как раньше я не понимал, какое это счастье — мирная, цивилизованная жизнь. Вместо того, чтобы стрелять по врагам, которые хотят тебя убить, можно войти в лавку и приветливый человек дает кусок душистого мыла, завернутого в красивую бумажку. Какое-то доброе волшебство мне в этом чудилось.

Потом мы пошли в солдатский «очаг». Чистые бумажные скатерти на столиках. Нам подали дымящийся шоколад с белыми булочками. Прямо глазам не верилось.

Я читал газету, правда, старую. Не мог сообразить, вчерашнюю или позавчерашнюю. Большими буквами: «Немцы продолжают продвигаться, но несут ‚огромные потери'. Вейган принял командование, сместил десять генералов и отдал войскам приказ не отступать, ‚se faire tuer sur place'».**)

---

*) Он сам толком не знает, что говорит.

**) Умирать на месте (не отступая ни на шаг).

По детским воспоминаниям о гражданской войне я знал, что значат такие приказы, но мне не хотелось об этом думать. Я сидел у открытого окна. Ветерок чуть шевелил тюлевую занавеску. За окном, на площади непрерывно длилось торжество уже по летнему теплого дня. Каким далеким теперь казалось все это — бомбы, трупы на дорогах, горящие дома постоянная тревога на сердце. Да, конечно, нужно ‚se faire tuer sur place', и я не увижу, чем кончится война, но мне не верилось этому: уж слишком мирно выглядела площадь за окном. Вот мимо греющихся на припеке домов, опираясь на палку, неторопливо идет маленький, как ребенок, чисто одетый старичок. Если бы была опасность, он не вышел бы так гулять.

И вдруг, грозно напоминая о постылой неизбежности войны, чудовищный мерзостным змием зашевелился грохот беглой орудийной пальбы и раздались удары взрывов. Над площадью, со злорадным торжеством воплотившегося призрака летел немецкий самолет. У его крыльев и хвоста ватными розанами распускались дымки рвущихся снарядов. Еще не веря, я сказал товарищам: «Не беспокойтесь, это наши зенитки». Не успел я договорить, как снаружи, совсем близко, сверкнуло пламя. Все бросились под стенку. Я присел на корточки под окном. Осколки стекла посыпались мне на голову и плечи. Какой-то незнакомый солдат с круглым бабьим лицом валился на меня, всхлипывая от страха. Я ждал — стены и потолок сейчас рухнут. Мне вспомнился фильм «Гибель Помпеи». Видел в детстве, в кинематографе у Никитских ворот: шатаются и падают колонны, в смятении бегут люди в длинных одеждах. Но тогда, затаив дыхание, я восхищенно смотрел из темноты зрительного зала, не зная, что я тоже обречен на смерь. А теперь я испытывал такое же чувство жгучего сожаления и непоправимости, как когда мне снилось, что падаю в пропасть.

Раймон не ложился. Прижавшись в простенке, он внимательно следил за разрывами бомб.

Потом наступила тишина, и все бросились к выходу. Перебегая площадь, я заметил в парадном одного дома подметки башмаков неподвижно лежавшего на спине старого господина.

Казарма гудела теперь, как встревоженный улей. Во всех проходах и на лестницах — толпа солдат. Нам сказали, немцы взяли малую линию Мажино. Мы не хотели верить, но по расстроенному лицу офицера, утверждавшего утром, что бельгийский форт еще стреляет, мы поняли страшную правду.

— Соберите ваших людей и уводите их из города, немцы будут здесь через два часа, — сказал он, узнав Леруа.

— Теперь он совсем по-другому говорит, — усмехнулся Леруа, когда мы выходили из казармы. Леруа понимал, что немецкий прорыв — беда для армии, для Франции, для нас всех, но ему доставляло самолюбиво-мстительное удовлетворение, что этот офицер, который обвинил его в распространении пораженческих слухов, теперь сам убедился, что он говорил правду.

Опять, как в Бельгии, дороги, запруженные войсками и беженцами, воздушные налеты, переходы без сна и отдыха. Но теперь уже не было надежды дойти до места где будут свежие войска, порядок, укрепленные позиции. Может быт, мы были уже отрезаны.

Была ночь, когда я шел, держась рукой за двуколку. Я спал на ходу, но и во сне, словно из черной подводной глубины, продолжал воспринимать движение моего тела, храп лошадей, шорох множества ног и говор толпы, и все время с тоской помнил: надо торопиться уйти от немцев, от этого зависит моя жизнь.

Днем мы остановились отдохнуть у околицы большой деревни. Жители выходили.

— Messieurs les soldats, Messieurs les soldats, venez vite, nous avons arreté un éspion,*) — подбежав к нам, взволнованно сказал штатский молодой человек, совсем еще мальчик. Раймон молча закинул за плечо винтовку. Я спросил его, куда он идет. С осунувшимся, вдруг ставшим чужим, лицом он сказал:

— Je vais regler son compte.**)

На мощеном спуске к площади собралась толпа. Протиснувшись вперед, мы увидели неподвижно лежавшего на спине человека в опорках и обтрепанных брюках.

— Мы ему уже дали хорошенько. Теперь он притворился, обмер, но я только что видел, как он шевельнулся, — сказал кто-то из толпы, возбужденно, но уже неуверенно. Мне показалось, человек на земле действительно шелохнулся и, чуть приподняв одно веко, хитро за нами наблюдает.

На лице Раймона было теперь выражение недоумения, смешанного с отвращением. Злобно взглянув на меня, он повернулся и ничего не сказав, пошел обратно в гору, к месту нашего привала.

Мы кончали закусывать, когда на дороге показалась куча торопливо идущих солдат. Один нам крикнул:

— Eh, les gars, vous ne voulez pas vous sauver, ils arrivent les boches.***)

Мы начали собираться. Но в это время около нас остановился автомобиль. Из его окна высунулся штабной полковник с лицом как коровье вымя. Он сердито закричал, чтобы никто не уходил.

— Я поеду дальше, остановить ушедших, а тех, кто не захочет вернуться — расстреляю на месте, — сказал он с угрозой и ненавистью.

Машина рванулась и, завыв, понеслась. Мы больше никогда не видели этого полковника.

Остановившиеся было солдаты, немного подождав, пошли как стадо дальше. И вдруг я увидел, как Раймон, хотя он не был даже капралом, стал их останавливать:

---

*) Господа слдаты, идите скорее, мы задержали шпиона.
**) Я с ним сочтусь.
***) Эй ребята, вы что, не хотите спасаться? Сюда идут немцы.

— Où allez-vous, les gars? Il faut rester,*) — говорил он расстроенным голосом.

Почти испуганно, с недоумением на него взглядывая, солдаты молча его обходили.

В роще при дороге осталось человек тридцать. Скоро над нами начали кружить немецкие самолеты. Я пошел в кусты оправиться. Какой-то марокканец на меня смотрел. Мне это было мерзко и мысль, что я могу быть убит в этой унизительной позе мне мешала. Я вернулся и спросил Раймона:

— Как ты думаешь, что теперь будет?

— Чего же можно ждать, — злобно сказал он, показывая на солдат, прятавшихся за деревьями. Некоторые, не оглядываясь, втянув голову в плечи, уходили в глубь леса. Я сел на землю, прислонившись спиной к сосне. Теперь над рощей рвались снаряды. Леруа, смотря вверх, точно он мог рассчитать, куда упадут осколки, прыгал на корточках вокруг ствола огромной сосны. Я следил за ним, чувствуя, как ему мучительно неудобно так прыгать, искривив шею, и меня охватило чувство страшной усталости.

Ночью мы пошли дальше.

Мы остановились на какой-то ферме. Орсини, капитан другого батальона, пошел узнавать, где штаб дивизии, «если только дивизия еще существует». Когда он вернулся, у него был усталый и недовольный вид.

— Положение очень плохое, — сказал он. — Мы, по всей видимости, окружены. Нельзя продолжать идти всем вместе. Назначаю место сбора в . . . — он назвал какой-то неизвестный мне городок, — пусть каждый добирается, как может.

На дороге мне и Раймону повезло. Нас подобрал проезжий грузовик и без того набитый солдатами. От многих несло вином. Один молодой все время пел дребезжащим пьяным голосом и смеялся. На этом грузовике мы добрались до городка, где условлено было собраться. В комендантском управлении — ни души. Раскрытые настежь двери, пустые выдвинутые ящики столов. Ветер шевелит ворохи брошенных на пол бумаг. В соседнем помещении, как в стойле, под стенами лежали на гнилой соломе редкие фигуры спящих солдат. Когда мы вошли, никто не поднял головы. Мы здесь заночевали.

Проснувшись на рассвете, я увидел, все уже ушли. Я начал будить Раймона. У него было какое-то странное, безучастное выражение.

— Куда ты торопишься? У нас еще много времени, — говорил он, неохотно собираясь.

В воротах казармы стояли такие же как мы, отбившиеся от своих частей солдаты. Незнакомый «сержант-шеф», в каске моторизованных частей, установив на дороге пулемет, подошел к толпе

---

*) Куда вы, ребята, нужно оставаться.

и, оглядывая всех смеющимися глазами, спросил, кто хочет быть у него заряжающим. Я переглянулся с Раймоном.

— Не называйте меня «шеф», а просто Роже, — сказал сержант. Он был доволен, что мы с ним остались. Меня он называл сначала Вальдимир, но скоро перешел на более привычное Казимир.

Постепенно улицы, двор казармы и дорога впереди нас опустели.

— Ничего, Казимир, — хлопнул меня Роже по плечу, — если будет нужно, мы и втроем остановим бошей.

Я понимал бессмысленность его слов, но, наблюдая, как он бодро хлопочет около пулемета, я отвлекался от мысли о безнадежности нашего положения.

Над нашими головами теперь целыми стайками пролетали пули, но впереди дорога оставалась по-прежнему пустынной. Потом из боковой улицы выехала вереница грузовиков. Впереди, в легковой машине — капитан. У него был спокойный, внимательный взгляд. Он спросил нас, какого мы полка и что мы здесь делаем. Выслушав наш ответ, он сказал:

— Вот что, ребята, берите ваш пулемет и полезайте в один из моих грузовиков. Мы окружены, но я постараюсь вас вывезти.

С этим капитаном мы исколесили два департамента и, наконец, доехали до какого-то приморского города. Мы остановились около вокзала. Море было где-то совсем близко. За крышами домов виднелись мачты, портовые лебедки, трубы пароходов. Вдали били тяжелые орудия. Нам сказали — это стреляют английские корабли. Но мы так и не увидели моря. Нам не суждено было плыть по его волнам к берегам свободы. Рота нашего нового капитана получила задание защищать старую крепость, прикрывающую дорогу в порт.

*

Мы сошли с грузовиков на площади перед крепостью. «Аджюдан» велел выгружать пулеметы. Он не успел договорить, как над улицей, по которой мы приехали, с ужасающей быстротой пронесся снаряд и упал в углу площади. Там грозно, как из преисподней, вырвалось пламя, черным столбом взлетела земля и на мгновение повиснув в воздухе, посыпались булыжники. Никто не успел лечь. Мы только жались друг к другу. «Аджюдан», оглядев нас со строгим удивлением, упрямо повторил, точно желая нас наказать:

— Alors? Il faut décharger!*)

Мое тело, прежде чем я успел что-либо сообразить, испуганно шарахнулось исполнять приказ. Но все стояли в нерешительности. Мне мгновенно передалось выражавшееся на всех лицах недоумение: не может «аджюдан» этого требовать. Ударит снаряд, так и

*) В чем дело? Нужно выгружать!

погибнешь в грузовике, в пламени и взрывах ящиков с гранатами. Наоборот, под обстрелом все выскакивают и ложаться на землю. И будто в подтверждение — снова зловещий свист. Но вдруг мысль: «А как же мои героические мечтания? Сколько раз я спрашивал себя, как я буду держать себя в опасности. И вот наступило. Неужели не решусь?»

Что-то огромное упало совсем близко. Земля качнулась под ногами. Движимый будто посторонней силой, я был уже около грузовика. Но когда я вскочил на подножку и мне глянуло в глаза темное нутро фургона, точно невидимая преграда меня оттолкнула. Безумие туда лезть! Там притаилось что-то безжалостно злое, уничтожающее жизнь. Не лезть туда, а бежать и где-нибудь в стороне, упав ничком, прижаться всем телом к любимой, нагретой солнцем земле.

Я никогда еще не был так одинок. Товарищи смотрят на меня, но они не могут мне помочь. Я понимал, их мнение обо мне несоизмеримо с важностью для меня моей жизни. И все-таки мысль, что они заметят, что я боюсь, заставила меня решиться. Я всунулся головой и плечами внутрь фургона. «Кажется затихло», — подумал я с облегчением. Но сейчас же снова раздался быстро приближавшийся свист. Любовь, добро, счастье — все, чего я ждал от жизни, и память о близких, надежда с ними увидеться, всё отступило как призрак. В мгновенной вечности настоящего ничего нет, только неостановимый лет снаряда и страх уничтожения. Сейчас оглушит. В слепой ярости кромсая мои мышцы и кости, бессмысленные осколки врежутся в мое тело, я перестану быть. «Ах, скверно, — подумал я, криво улыбаясь и чувствуя, как невольно сутулится спина. — Молиться? Но кому? В воздвигшейся надо мной пустоте никого нет. Как же тогда спастись? Нестерпимость ожидания! Я не могу даже начать думать. Так много мыслей теснится в голове, но всё разбегаются. И сейчас ударит».

И вдруг я понял, как эта борьба, и замирание, и страх мне давно надоели. Слишком часто все это повторялось. Я чувствовал злобу от сознания своего ничтожества. У Мануши я говорил о борьбе со злом национал-социализма, а теперь боюсь. «Ну, что же, пусть убивают», — сказал я себе с решимостью возмущения и, опершись на локтях, подтянулся вверх. Было жутко, как при разбеге по трамплину для прыжка головой в воду. В то же мгновение, сверля воздух с могучей быстротой, снаряд пронесся над крышей грузовика и где-то совсем близко ударило. Грохот, треск, звон. Задыхаясь, я лег животом на железный пол кузова. Вблизи я увидел, какой он холодный, твердый и гладкий, из толстого листового железа. В нем не было ни малейшей крупицы жалости. Я больше не чувствовал страха, только удивление, что так трудно было влезть; сердце колотилось и всё тело под тяжелой шинелью взмокло от пота. Я не отдавал себе отчета, как я ослаб за десять дней почти без сна и еды.

Неумелыми руками я принялся срывать со стенки прикрученные проволокой пулеметы. Я видел лица товарищей, обступивших

грузовик. Их не раздражала, как я этого боялся, моя неловкость. Наоборот, они смотрели на меня с ободрением и участием. Один даже протянул плоскозубцы. Потом все ушли в крепость, а мы с Раймоном остались на площади охранять наши грузовики. Я с удивлением замечал происшедшую во мне перемену. Во время отступления я так измучился, совсем выбился из сил, а теперь никакой усталости больше не было. Прохаживаясь около грузовиков, я чувствовал, как при каждом шаге от упругого потягивания мышц моих ног по всему телу разливается блаженная отрада. И все мои мысли, само чувство жизни изменились. Не знаю, как это произошло. Прежде меня всегда тяготило ощущение моей худосочности, усталости, слабости. Всякое усилие — вставать, бриться, ехать в метро — меня утомляло. А теперь мне казалось, я мог бы полететь, такую стремительную легкость я чувствовал. Правда, никакого ответа на вопрос о загадке́ существования по-прежнему не было, но я не мог вспомнить, почему раньше это меня так мучило. И также меня больше не беспокоило, что моя жизнь ничем не охранена. Мне вдруг стало безразлично, что будет с нами, кто победит, увижу ли я конец войны или буду убит в следующее мгновение. Токи огромной радости проходили через меня и я не мог верить, что вместо этого неуничтожимого, всенаполняющего чувства бытия, могло наступить «ничто», что-то чего нет, чего, даже закрыв глаза, нельзя себе представить.

В том, что я испытывал, не было никакого мыслимого содержания. Только удивление и счастье быть, словно я видел землю в первый раз. Эта площадь, и деревья, и дома, и стены крепости, отчетливо обрисованные в чудной прозрачности воздуха, — всё́ казалось мне каким-то первозданно новым и в то же время всегда бывшим; как будто я уже когда-то все это видел.

Раймон тоже был возбужденно весел. Как мы радовались, как дети, когда прошумев в вершине дерева, под которым мы стояли, и сбив несколько листьев, осколок чиркнул по мостовой у самых наших ног. Мы показывали друг другу оставленную им метку, взволнованно говоря:

— Я видел, как он упал.

— Я тоже.

— Как раз между нами.

Но сердце уже сжималось: а что же дальше, что делать с этим избытком вдруг пробудившихся сил жизни, к чему ведет, что обещает эта радость — ведь она не может длиться вечно? И голова кружилась от предчувствия невозможного, несбыточного счастья.

Одно было неприятно. Пока я мылся у колонки, кто-то унес мою каску, оставив вместо нее свою старую, еще той войны, синюю с накладным гребнем. А, главное, она была вне мала, еле держалась на самой макушке. Раймон бранил меня за ротозейство, да мне и самому было досадно: в этой нелепо маленькой каске у меня был, верно, смешной вид, а мне хотелось быть похожим на настоящего воина.

Наступил вечер. Со стены капрал крикнул нам идти наверх. Ужин уже отошел, но нам оставили горохового супа с мясом. Только начав есть, я почувствовал, как я голоден. Меня удивляло, почему до тех пор я не вспоминал, какое наслаждение может доставлять еда. Хлебая суп, я осматривался по сторонам. Вдоль бульвара — двухэтажные дома, за ними на холме — глухой, запущенный сад. Только недавно отсюда ушли люди, но распад человеческого устроения уже начинался. Зияя дырами выбитых окон, брошенные дома белели на черной зелени пихт и терновика романтическими развалинами. По вечерам здесь, верно, гуляли влюбленные, а теперь всюду муссор, как на свалке. Откуда, посреди светлого чистого города, взялся этот дико разросшийся сад? Словно его *забыли* или хуже — *не могли* убрать, когда строили город. И хотя я старался не смотреть назад, я все время чувствовал за спиной молчание этого таинственного сада. Оно будто говорило о чем-то неустранимом, но я не мог вспомнить, о чем.

А вдоль парапета крепостной стены уже кипела новая, пришлая жизнь. Товарищи с повеселевшими лицами хозяйственно хлопочут, устраиваясь на новом месте. В углу двойной пулемет 13-2, грозясь, уставился в небо вороненными стволами. «Аджюдан» скинул мундир и, засучив рукава рубахи, широко расставив ноги, моется над ведром. Его движения так по-домашнему спокойны, точно мы не в осажденной крепости, а на биваке в мирное время. Он плещет мыльной водой и, с наслаждением фыркая и отдуваясь, крепко трет волосатыми руками лицо и покрасневшую шею. Совсем как описывают в книгах. В этом было что-то необыкновенно успокоительное.

Капитан, свеже выбритый и помолодевший, защищая рукой глаза от бьющих в лицо лучей закатного солнца, наклонился над дальнозором и смотрит в поле, виднеющееся за выездом из города. Я попросил у Роже бинокль. Там как тли ползли по лугу пятна грузовиков, из них выскакивали и торопливо бросались рыть землю крохотные солдатики. Было странно думать, что эти еле различимые человечки и есть тот грозный враг, перед которым мы отступали. Это они, а вовсе не какие-то гиганты, *производили* смерть, поражавшую нас в грохоте падающих с неба бомб и снарядов.

— А ну-ка, погладь их немножко, — весело блеснув глазами, говорит капитан.

Наводчик, крутя колеса, опускает хоботы 13-2. Воздух дрожит от быстрого воинственного стука коротких очередей.

Меня все больше охватывало чувство покоя. Теперь я окончательно уверился: неясность и путаница во время бегства, когда казалось, сквозь какие-то дыры проглядывает чернота другой, совершенно бессмысленной и страшной действительности — все это было только недоразумение. Слава Богу, теперь это недоразумение кончилось и лучше не думать, как оно могло произойти. По тому как товарищи по роте, нормальные, здравомыслящие люди, спокойно действовали и говорили, и по тому как капитан уверенно отдавал

приказания и его приказания сейчас же исполнялись, я с удовлетворением чувствовал — теперь все будет происходить, как нужно, в согласии с каким-то установленным порядком, в незыблемость и в доброе значение которого я продолжал еще, как в детстве, подсознательно верить. И, странно, мне все больше казалось, что я узнаю в окружающем что-то уже виденное, знакомое, привычное. Но как могло это быть, как могла эта обстановка мне напоминать что-то хорошее, бывшее давно — ведь я в первый раз на войне. А между тем, когда слушаешь знакомый напев, я даже *знал*, что будет дальше.

На следующий день немцы с утра начали обстреливать нас из австрийских 88 мм орудий. Заметив, что молодой пулеметчик робеет, капитан сам сел за 13-2, сказав, чтобы все ложились под стену и только двое дозорных остались на ногах. Я стал направо от капитана, а Раймон налево, в углу.

Теперь, когда я добровольно вызвался на самое опасное, я был доволен собой. В первый раз в жизни я держал себя по отношению к другим людям до конца порядочно, без всякого соучастия в несправедливости. Меня удивляло, как это легко было. О том, что я здесь, чтобы убивать людей, я совсем не думал.

Товарищи сидели под стеной, притихнув, как напуганные дети. Я знал, они молчат, чтобы дрогнувшим или неестественно спокойным голосом не выдать себя и чтобы не отвлечься от борьбы с подымающейся мутью страха. Блестящими на бледных лицах глазами они смотрели, каждый на свою жизнь, которую в любое мгновение мог уничтожить случайный осколок снаряда.

Я без всякого осуждения видел, что они боятся. Наоборот, они все казались мне славными и близкими. Мне хотелось бы охранить их от опасности. И я заметил, что они тоже посматривают на меня одобрительно, словно в награду за мое поведение, признав меня, наконец, своим. Я так хотел этого раньше и ничего не выходило, а теперь само собой сделалось. Мне даже немного совестно было. Они не знали, что мне ничего не стоило оставаться на этом опасном месте — мне совсем не было страшно. Я даже не оборачивался, когда сзади, шурша рассыпались осколки.

Один из товарищей, поднявшись, подошел ко мне и дружески тронул за рукав:

— Eh, le frisé, va te reposer un peu.*)

Но я только замотал головой. Мне совсем не хотелось уходить с моего места, мне так хорошо здесь было, а он подвергался бы опасности. Мне стало его жалко. Я знал, у него остались дома жена и дочь. Впоследствии я никогда не мог понять, он сказал „frisé“, а у меня прямые жесткие волосы.

Мне было приятно, что все смотрят на меня с одобрением, и я держал себя с несвойственной мне спокойной уверенностью в себе и скромным достоинством. Меня это удивляло, но думать об этом

---

*) Эй, кудрявый, поди отдохни немного.

не было времени. Мое внимание было поглощено ожиданием появления на площади немцев.

Это была самая обыкновенная, как во всех французских городах площадь, с памятником убитым в ту войну. На ней никого не было, но на ней должны были появиться немцы. Мне казалось, ни одно место в мире я не видел освещенным с такой силой. Все остальное я воспринимал только как неясные тени по краям оглушительно белой пустынности этой площади.

По наступившей вдруг тишине, я понял, что немецкие орудия больше не стреляют. И сейчас же Раймон крикнул:

— Танки!

Жгучая зависть: конечно, не я, а Раймон увидел первый. Но как же я прозевал? Я все время смотрел, не отрывая глаз, и площадь все оставалась пустой. А теперь, как только Раймон крикнул, я увидел: около памятника мертвым стоит огромный немецкий танк. Странно раскрашенный зелеными, коричневыми и желтыми разводами, он стоял, как ископаемое железное чудовище, злобно и насмешливо смотря на нас щелями прорезов в орудийной башне. Вдруг, как корабль на старинных картинах, он опоясался клубами порохового дыма. И сейчас же загремела пальба. Над самым моим ухом Роже оглушительно строчил из своего Гочкиса. Капитан стрелял из 13-2 и по всему гребню пошла перекатываться пальба наших пулеметов и винтовок. Немецкий танк и вышедшие за ним два поменьше в упор били по крепости из орудий и поливали нас пулеметным огнем. Взметая струйки каменного праха, пули чиркали по парапету с прекрасной хищной быстротой. У меня больше не было времени досадовать, что не я первый увидел немецкие танки. Я выстрелил, торопливо рванул и задвинул затвор и опять выстрелил. Мне было весело и жутко от грохота: невозможно отличить звуки наших выстрелов от неприятельских. Я не думал о том, что стреляю в людей и что меня могут убить. Испуганно и радостно улыбаясь, я только старался стрелять как можно быстрее, досадуя, что ружье не автоматическое. Это было увлекательно, как партия в пинг-понг, когда целлулоидный мячик все скорее и скорее перелетает с одного края стола на другой и ты, забыв все на свете, еле успеваешь его отбивать и только боишься, что долго не выдержишь этой веселящей быстроты. Одно досадно — эта дурацкая маленькая каска у меня на голове.

Не успел я выпустить вторую обойму, как немецкие танки, продолжая бешено отстреливаться, пятясь ушли назад. Я чувствовал себя как после короткой атлетической схватки. Грудь глубоко дышит, кровь быстрее бежит по жилам и память словно вымыта. Но странно, мне опять казалось, — это не я, а какой-то встроенный в меня робот только что торопливо дергал затвор и стрелял, а я только видел это со стороны.

Все вокруг были радостно возбуждены, глаза блестели на помолодевших лицах. К капитану подошел незнакомый высокий

офицер и что-то ему говорил, тонко, по-светски улыбаясь. Когда он ушел, капитан с довольным видом сказал, что это комендант крепости присылал поздравить с успешным отражением атаки и поблагодарить за отличную стрельбу.

Солнце стояло высоко и майский день достиг предельной силы сияния.

Вдруг сзади раздался неприятно меня поразивший, почти нечеловеческий крик. Вздрогнув, я обернулся. На каменных плитах дергался марокканец. Когда санитары хотели положить его на носилки, он начал, корчась, извиваться на земле. «Действительно, как раздавленный червяк», — подумал я с содроганием. Он кричал каким-то блеющим, пронзительно верещавшим голосом, но хотя я чувствовал по его крику, какая страшная боль режет его внутренности, мне не было его жалко, и я отвернулся с бессмысленным чувством враждебности. Благоуханный воздух, торжество весны и мы отбили врага. Зачем же этот марокканец безобразием своего страдания портит нашу радость, чего он хочет от нас своим криком, разве мы — здоровые и живые — виноваты, что осколок попал ему в живот; мы сами подвергались такой же опасности.

— Il va claguer,*) — сказал Роже с поразившим меня грубым выражением. Но в его глазах блестело что-то нестерпимо светлое.

Так продолжалось весь день и весь следующий день: артиллерийская подготовка и попытки немецких танков подойти к стене. Все время меня не покидало приятное сознание, что я хорошо себя держу, и все это видят и одобряют. Я даже с удовольствием замечал, что во мне появилась такая же спокойная деловитость, как у капитана, точно мы были не на войне, а участвовали в какой-то самой обыкновенной человеческой деятельности. Я стал теперь хорошим солдатом: я больше не думал о том, что меня могут убить. В меня самого вошло так ужасавшее меня прежде равнодушие природы к смерти людей. Я спокойно, как если бы это происходило на экране, смотрел, как они падают, не чувствуя значения этого для каждого из них. Я был теперь совершенно здоров. Потом, когда я вспоминал об этом, мне казалось, что несмотря на смертельную опасность, эти дни на стене осажденной крепости были самыми легкими в моей жизни.

Наступил вечер второго дня осады. Мы улеглись прямо на камнях под стеной. Рядом Роже, шепелявя и давясь от смеха, громким шепотом рассказывал на плохо мне понятном северном наречии о своих запутанных отношениях одновременно с двумя девицами. Я помню, как он сказал: „Eh ben, la rose que tu m'as jetée, je te la regarrote".**) Его слова покрыл приглушенный взрыв дружного хохота слушателей. В это время Раймон неожиданно сказал:

— Как ты думаешь, что нас ждет завтра, будем ли мы еще живы? Ты знаешь, мы окружены.

---

*) Он сейчас загнется.

**) Розу, которую ты мне кинула, я тебе возвращаю.

Я ничего не ответил. Я подумал, Раймон не должен был этого говорить. Сегодня больше не было слышно орудий английских кораблей. Значит, они ушли. Что могло остановить немцев? Наша единственная 75-миллиметровая пушка была разбита прямым попаданием. Против немецкой артиллерии, самолетов и танков у нас оставалось только два пулемета 13-2. Но я знал: так же, как о смерти, об этом не надо думать. Мы должны защищать крепость, а все остальное нас не касается. Да мне вообще не хотелось думать. Мне так хорошо было здесь лежать, примиренно с самим собой вспоминая прошедший день. Мне стало досадно. Своими словами Раймон отвлек меня от покоя и радости моих уже сонных мыслей. И так непохоже на него это было. Наоборот, раньше он болезненно раздражался, когда кто-нибудь говорил о безнадежности нашего положения. А в опасности держал себя так, словно ему никогда не приходило в голову, что его могут убить. Что с ним стало? Я посмотрел на него с отчуждением и, чтобы не отвечать, сделал вид, что сплю.

На следующий день я по-прежнему стоял дозорным направо от капитана, а Раймон в углу, налево. Все привыкли, что это наши места. Даже «аджюдан» больше не предлагал нас сменить. Да я бы и не согласился. В первый раз в жизни я делал что-то, признаваемое всеми нужным и важным, в первый раз у меня было место в человеческом обществе и я не испытывал моего всегдашнего страха, что я живу не так, как все. Наоборот, у меня было теперь спокойное чувство укрепленности моей жизни в чем-то достоверном и прочном.

Я замечал, что Раймон со своего места смотрит на меня с особенно дружеским, необычным для него грустным и задумчивым выражением. Мне становилось его жалко, но почему-то я не мог смотреть ему в глаза и поспешно отворачивался, когда мне казалось, что он хочет со мной заговорить. А между тем, мы вовсе не были в ссоре, и я сам не понимал, почему я его избегаю.

Внизу, по площади, около памятника мертвым ходила лошадь. Ее левая передняя нога была перебита пулей. Она все хотела ступить на эту ногу, но нога подворачивалась, как ватная, и лошадь сейчас же отдергивала ее кверху. На это было мучительно смотреть. Потом лошадь, неловко подпрыгивая на трех ногах, проковыляла за выступ стены. Там стоял к нам спиной широкоплечий солдат. Навалясь грудью на парапет, он смотрел вниз. У него под локтем лежала винтовка. «Слава Богу, он пристрелит эту лошадь, а то она только мучается», — сказал я себе и с облегчением отвернулся, боясь пропустить немцев. И, действительно, сейчас же хлопнул выстрел. «Вот и хорошо, — успел я подумать, — солдат ее пристрелил», — но в то же самое мгновение что-то ударило меня по кисти руки.

— Я ранен, — пролепетал я полуиспуганно, полуобрадованно.

— Ah, les saluds, ils ont tué un type!*) — вскрикнул капитан.

Но я уже понимал, что я не ранен — совсем не было боли. Ударивший меня предмет лежал на парапете: вовсе не осколок снаряда, а плоская, с зазубренными краями костяшка. Как странно. Я взглянул на капитана. Он с отвращением обтирал полу шинели, густо заляпанную каким-то серым, похожим на грязь студнем.

— Casimir, ils ent tué ton copain,**) — сказал за моей спиной Роже.

Раймон? Не может быть, зачем Роже это говорит, ведь капитан сказал „un type", а не Раймон. Но не мог же Роже так ошибиться. Значит, это тот широкоплечий солдат, вместо того, чтобы пристрелить лошадь, убил Раймона. Рассказывали о таких случаях внезапного помешаельства.

Чувствуя прилив ненависти к этому злому солдату и желая показать товарищам, как я потрясен смертью Раймона, я закричал:

— Кто его убил?

Все смотрели на меня с удивлением:

— Как кто? Ему снесло пол черепа маленьким разрывным снарядом, знаешь, у немцев есть такие, немного побольше нашего 13-2.

Я сейчас же понял нелепость моего предположения, что Раймона мог убить свой же французский солдат.

— Подойди к нему, — сказал Роже.

Все знали о моей дружбе с Раймоном и смотрели на меня с участием и любопытством. Я понимал, чего они ждут. Я должен подойти к Раймону и, как полагается в таких случаях, сказать что-нибудь с отчаянием и гневом. Например, „ah, les vaches!".***) Товарищи предоставляли мне, как другу Раймона, первому это сделать. Я не мог обмануть их ожидание, но мне это было неприятно. Мне всегда было мучительно неловко, когда приходилось выражать на людях свои чувства принятыми, ритуальными словами и жестами. К тому же мне не хотелось уходить с моего места: здесь так хорошо было стоять, подстерегая появление немцев. И именно теперь, когда все так *правильно* шло, вдруг Раймона убили, прямо как нарочно, и я должен к нему подойти. Это очень досадно было. Ища предлог, чтобы этого не делать, я нерешительно сказал:

— Но как же я оставлю мой пост?

— Ничего, я пока тебя заменю, — сказал Роже, становясь на мое место.

Мне ничего не оставалось, как покориться. Не мог же я сказать, что на самом деле я вовсе не любил Раймона. Меня самого это поразило: мы дружили с самого приезда в полк. Как же это случилось, что я его не люблю? Ведь он все время заботился обо мне, старался, чтобы я не чувствовал своего одиночества иностранца. Правда, в последние дни он так легко раздражался. Нет, это не то, я не мог его разлюбить из-за этого.

---

*) Сволочи, они убили одного парня.
**) Казимир, они убили твоего друга.
***) Скоты (буквально: коровы).

Обходя капитана, который продолжал обтирать с шинели мозг Раймона, я вдруг вспомнил наш разговор, когда мы ложились вчера спать, и мне пришла нелепая мысль: Раймон умер, так как он усомнился, допустил мысль, что его могут убить. Именно после того я начал от него отдаляться, точно боясь заразиться.

Я остановился над Раймоном не зная, что делать. Раздвинув ноги, он сидел прислонившись спиной к стене. Шлем свалился с его поникшей на грудь головы и волнистые каштановые волосы низко свисали перед его лицом, вернее половиной лица. Другой половины не было: ее снесло снарядом. Торчали одни зазубрины обломанных костей черепа. Но уцелевшая сторона было совсем не тронута, только стала землисто-серая.

Я старался вызвать в себе жалость к Раймону, иначе, что скажут товарищи, но мои глаза оставались сухими. Я не мог понять, что было передо мной. Я знал, это Раймон, он не мог быть нигде в другом месте. Но я не чувствовал его присутствия. Здесь была тайна. Как будто вместо исчезнувшего Раймона теперь у моих ног сидело одетое в его шинель, неизвестно откуда взявшееся его изображение, сделанное из особого, невыразимо мерзостного вещества. Это был даже не предмет, как все неодушевленные предметы, которые имеют определенное назначение, а что-то бсссмысленное, загадочное и страшное. Это было ничто, и в то же время это был Раймон. Он стал теперь таким и это навсегда, непоправимо с ним произошло.

Мои мысли путались. То я чувствовал, что мертвое тело Раймона свидетельствует о постигшей его величайшей неудаче. Он больше ничего не может, скоро начнет разлагаться. То, наоборот, мне казалось, ему хорошо было так отдыхать, привалившись спиной к стене и молча, не чувствуя ни беспокойства, ни боли, участвовать в свершении мира, где ему ничего больше не было страшно. Но тут я вспомнил, что это только в моем восприятии тело Раймона производит впечатление покоя, на самом же деле оно ничего не испытывает, в нем нет жизни, нет сознания, оно — ничто.

Я не был сумасшедшим. Разумом я знал, что я умру. Иногда у меня кружилась голова, как на краю пропасти: это неизбежно, от этого нельзя спастись! Но какой-то голос безумно и настойчиво твердил мне: хотя *они* решили, что это неизбежно, вдруг здесь все-таки ошибка, обман. Пока присутствует мое сознание, как представить, что вместо него наступит *ничто?* Все, что я вижу — это и внешний мир и мои восприятия этого внешнего мира. А если это так, если мои восприятия — часть меня самого и вместе с тем часть окружающей меня действительности, то с их исчезновением исчезнет и какая-то частица этой действительности, а этого не могло быть: она занимает *все место*, она неуничтожима. Тогда значит и я, мое сознание, тоже никуда не может исчезнуть. Правда, я никогда не мог внимательно вдуматься в это ощущение. Верно боялся, что его убедительность тогда окажется мнимой.

«А как же Раймон, — подумал я, — ведь он тоже, как в вечно-

сти, жил с этим ощущением всегда длящегося бытия, а теперь... значит тогда...» Будто ожидая ответа, я напряженно вглядывался в его поникшее лицо. Но никакого ответа не было. И вдруг я заметил: уцелевшая сторона его лица имела странное выражение. Это был отпечаток в мертвом веществе чувств Раймона в его предсмертное мгновение. Я раньше никогда не видел его таким. В последние дни он был озлобленно возбужден, а теперь в его измученном лице больше не было ни отчаяния, ни гнева. Все его черты прояснились, в них выражался глубокий покой. Но вместе с тем, как будто удивленная покорность человека, который понял безнадежность борьбы. Около рта — горькая складка. Я уже где-то видел это выражение скорби и одновременно неземного успокоения. Я вспомнил: Туринская плащаница. Несмотря на все доказательства ее подлинности, я чувствовал несомненный обман — это не могла быть «фотография» Христа. И все-таки, когда я смотрел на ее воспроизведение, я думал о Христе. Это измученное лицо, закрытые глаза, горестный изгиб губ, все говорило о поражении, «испустил дух». Но как будто в самом этом поражении была непостижимая победа.

Но как же это могло быть? Ни одно «доказательство» бессмертия души мне не вспоминалось. Наоборот, невозможность представить себе что-либо по ту сторону трехмерного пространства с неотразимой очевидностью убеждала меня, что жизнь Раймона так же, как жизнь человека на туринской плащанице, нигде не продолжается, так как нет никакого другого мира, кроме этого, где от Раймона осталось только мертвое тело. Но выражение печали и успокоения в его лице? В этой не занимающей места в пространстве, но неуничтожимой действительности человеческой скорби, мне чудилось необъяснимое торжество над смертью.

Я старался внимательно разобраться в моих впечатлениях, чтобы потом написать об этом рассказ. Но когда мой взгляд опять упал на изуродованную сторону головы Раймона, я почувствовал, как во мне шевельнулся ужас. Но тут я вспомнил, что мне некогда об этом думать: каждую минуту немцы могли начать новую атаку. Вернувшись на свое место, я видел, как двое санитаров с носилками, чуть не до земли пригибаясь под обстрелом, подошли к Раймону. Совсем еще мальчики, один в очках, с вьющимися волосами. Я подумал, верно студент. Трясущимися руками они неловко старались поднять Раймона под мышки, чтобы переложить его на носилки. Но они не могли одолеть мертвую тяжесть его тела. Мне нравилось, как эти мальчики, хотя им видимо было очень страшно, старались исполнить свой долг. Потом они поняли, что больше нет смысла куда-то нести Раймона. Оставив его сидеть под стеной, они пошли подбирать других раненых. Теперь тело Раймона съехало еще больше и его голова еще ниже свалилась на грудь.

Немецкая артиллерия больше не стреляла. «Ну, теперь начнется *настоящее*», — подумал я спокойно. Не оставлявшее меня с тех пор, как мы попали в крепость, странное чувство как бы *воспоминания* о том, что будет, говорило мне, что именно сейчас произойдет

что-то, что поможет мне окончательно вспомнить. И, действительно, капитан говорит:

— Теперь держитесь. Будет приступ. Стреляйте все вместе.

Под стеной дома на противоположной стороне площади неожиданно появился молодой человек в штатском. Высокого роста, без шляпы, в каком-то зеленоватом непромокаемом плаще. Он внимательно на нас смотрел. В лучах солнца его волосы отливали золотом.

— Как странно, откуда он взялся? Я выстрелю, чтобы он ушел, ведь там опасно стоять, — сказал Роже. Выстрел грянул. Молодой человек посмотрел на место в стене дома, где сбив штукатурку пуля врезалась над его головой и презрительно пожал плечами. Потом, заглянув в переулок, махнул кому-то рукой. И сейчас же оттуда с грохотом выехал огромный немецкий танк.

— Les chars!*) — закричал я, радуясь, что на этот раз я первый увидел.

Мы отбили атаку. Но прежнего подъема не было. Теперь у нас было слишком много раненых и убитых. Снаряды пристрелявшихся немецких орудий ложились все точнее.

С другого конца стены, где стоял наш второй пулемет 13-2 пришел сержант с белым как у Пьерро лицом. Он говорит что-то капитану. Я расслышал только: „C'est horrible, mon capitaine!“**) Верно он старается убедить капитана, что больше нельзя оставаться на гребне. «В чем он видит ужасное, — подумал я с недоумением, — ведь на войне всегда так бывает».

Капитан с грустным и недовольным лицом пошел за сержантом. Я раньше не замечал, как он сутулится. Может быть, он был гораздо старше, чем я думал. Они скоро вернулись. За ними, волоча пулеметы, шли остатки второго взвода. И правда, теперь их как будто меньше было, чем прежде.

— Заберите, что можете. Мы переходим в замок, — говорит капитан, не глядя нам в глаза.

Тогда я понял: ничего не будет. Не будет того великого, грозного боя, которого я ждал. Точно я слушал, замирая от ужаса и восторга, нарастающие громы рояля и вдруг звуки оборвались и наступила мучительная пустота. Позже я понял, что капитан, как опытный военный, видя безнадежность положения, хотел спасти нас от напрасной гибели. Но тогда мне было на него досадно.

Как только он отдал приказание уходить, защитники с обрадованными лицами, согнувшись, некоторые чуть ли не на карачках, толпой схлынули с гребня.

Выждав пока все уйдут, мы с Роже взяли по пулемету и пошли за ними. Когда мы переходили открытое место, Роже велел мне пригнуться. Я вспомнил с детства, что стыдно «кланяться» пулям,

---

*) Танки.

**) Это ужасно, господин капитан!

но по сердитому лицу Роже я почувствовал, что это глупо, и я шел за ним неловко сутулясь.

В воротах замка жандарм, опасливо косясь на мою винтовку, спросил, не забыл ли я переставить на предохранительный взвод. Меня удивило, как он может теперь об этом беспокоиться.

Капитан, видимо, не заметил, что я принес пулемет. Положив мне руку на плечо и с грустным укором глядя мне в глаза, он спросил:

— А ты, ничего не принес?

Кровь хлынула мне в голову:

— Я принес пулемет, но если хотите, я вернусь посмотреть, что там еще осталось.

Капитан ничего не ответил. У меня было впечатление, что он думал уже о другом.

Я вернулся на гребень. По открытому месту я прошел теперь не нагибаясь. Возмущение несправедливостью заглушало во мне чувство опасности.

Теперь на бульваре вдоль парапета стены было пустынно. Всюду валялись расстрелянные гильзы, сумки, зарядные ящики, винтовки, банки из-под консервов. Около искалеченного пулемета 13-2 Раймон по-прежнему сидел, прислонившись к стене. Еще несколько трупов сидело и лежало, застыв в неестественных уродливых положениях. Никого живого здесь не было. Только шорох рассыпающихся осколков и камней время от времени нарушал неподвижность светлого дня.

Я постоял, ища глазами, что бы стоило взять. Единственно, что оставалось здесь целого, был дальнозор. Когда я шел обратно в замок, я не нагибался уже не из гордости, а по какому-то равнодушию, которое вошло в меня при виде унылой и грозной пустынности бульвара. Здесь воцарилась смерть... И этот странный, запущенный сад. Мне чудилось, он разросся теперь еще шире и глуше...

— А, ты принес мой дальнозор, — сказал капитан ласково, но рассеянно. Его голубые глаза были застланы каким-то туманом. Мне опять показалось, он замечает происходящее только с трудом и как бы издалека.

— Если бы ты знал, разве так было в ту войну, в скольких атаках и разведках я участвовал, а теперь, — сказал он неожиданно и, стряхнув слезинку, нахмурившись вскинул голову, — ну что же, ничего не поделаешь.

Я вошел в комнату, где собрались остатки нашей роты. У всех был вид как у людей, которые только что перенесли нервное потрясение. Один в полном изнеможении лежал на кровати, другой пил из фляги. Его рука тряслась и тонкая струйка красного вина стекала у него по подбородку.

«Аджюдан» попросил меня пойти в соседнюю комнату посидеть у пулемета. В той комнате окно было обложено новенькими, одного размера мешками с песком. Пулемет стоял между ними, как

в бойнице. Молодой пулеметчик, сузив глаза, проверил прицел и с удовлетворением сказал:

— Ну вот, так в самый раз будет. Посиди здесь пока я закушу. Я скоро вернусь.

Я сел у пулемета и стал смотреть в окно. Я слышал за собой хлопанье двери и голоса и шаги входивших и выходивших людей. Потом о чем-то задумался и вдруг словно очнувшись заметил, как вокруг было тихо. Я обернулся. В комнате никого. Только вдоль стены лежит что-то покрытое брезентом. Из-под края этого брезента, образуя неровный ряд, торчат голые восковые ноги. Под полотнищем угадывались очертания семи или восьми человеческих тел, положенных головой к стене. Я знал, бурые пятна на брезенте — засохшая кровь. Эти лежавшие под брезентом люди еще недавно двигались, говорили, думали, чувствовали, надеялись.

Их молчаливое присутствие напомнило мне рассказы о смерти. Я даже подумал: нужно бы это запомнить, чтобы потом рассказывать знакомым и мне стало досадно, что я не чувствую никакого волнения.

— Pourqoui on n'enlève pas les macchabées?*) — недовольно посмотрев на мертвых, сказал вошедший «аджюдан».

Потом вернулся пулеметчик. Я постоял еще немного и вышел во двор.

У входа в погреб сидело несколько человек нашей роты. Так отдыхают крестьяне на завалинке после трудного дня.

— Ah, Casimir, — приветливо окликнул меня товарищ, который назвал меня тогда кудрявым.

Я остановился около них. Снаряды рвались в верхних этажах замка. На мощеный двор с шумом сыпались осколки и куски облицовки.

— Je me suis degonflé, lorsk'il ont foutu en l'air le 13-2,**) — сказал товарищ.

Желая попасть в общий тон, я поддакнул:

— А я, когда они убили Раймона.

Но на самом деле я вовсе не чувствовал себя „degonflé". Я еще не понимал, что все кончено.

Во дворе шли приготовления к обороне. Жандармы суетились у ворот, укладывая мешки с песком и поднося ящики с ручными гранатами. Я с бессмысленным злорадством смотрел на их озабоченные и испуганные лица. Я всегда боялся полицейских и жандармов: им дана власть бить людей. Теперь мне было приятно видеть, что под обстрелом они боятся еще больше меня.

Через двор тяжелой рысью пробежал рослый жандарм с красным, нахмуренным лицом. У него на спине, обхватив его руками за шею, сидел другой жандарм, поменьше. Мне было забавно за ними следить, хотя я знал, что маленький жандарм ранен и это

---

*) Почему не убирают мертвяков?
**) Я потерял дух, когда они разбили 13-2.

вовсе не игра. Оба скрылись в дверях в погреб. Над теми дверями был прикреплен флажок с красным крестом. На мгновение мне стало страшно: там, в подземелье, среди стонов и криков, врачи в окровавленных халатах режут мясо и пилят кости живых людей, но я сейчас же начал думать о другом.

Приближался вечер. Артиллерийский обстрел все усиливался. «Аджюдан» молча внимательно следил за падающими с карниза обломками. Вдруг, с решительным выражением, он вскочил и, круто повернувшись, застучал каблуками вниз по ступенькам в погреб. Мы пошли за ним.

Кто-то сказал, что немцы предложили нам сдаться, завтра утром комендант должен дать ответ. Сначала я слушал невнимательно. Но вдруг мысль, что завтра я, может быть, попаду в плен, меня поразила. В этой крепости, которая обманула меня напоминанием о чем-то знакомом, я попался как в мышеловке. С мучительным сожалением я вспомнил теперь, как три дня тому назад мы приехали в порт: трубы и мачты пароходов за крышами складов, дальние выстрелы английских кораблей. Их не было видно, но я живо представлял себе, как на груди молочно-ртутного моря они стоят неподвижными серыми глыбами. Именно тогда я успокоился, решив, что теперь, когда море близко, все будет хорошо. Я не понял, что мне давалась последняя возможность спастись. Нужно было достать в порту лодку и на парусе — впрочем я не умел управлять парусом, ну все равно, на веслах, Ламанш не так широк, — плыть в Англию. А теперь — конец.

Я провел мучительную ночь. Мне еще приходили в голову ребяческие сожаления. Война будет продолжаться, другие люди будут ездить с фронта в отпуск, в Париж, а мне с моим всегдашним невезением — бесславная доля пленного. Когда война кончится, будет стыдно перед знакомыми: я всем написал, что пошел добровольцем в corps franc.

Но за этими мыслями я все время помнил о неустанном и страшном значении того, что происходило. Всё, что я считал добром и правдой, всё, что я любил и во что верил, потерпело поражение. Я с горечью вспомнил, как Мануша говорил: «Зло не сто*ит*». А теперь я видел торжество этого зла. Нет, лучше тогда не жить В первый раз в жизни мне по-настоящему пришла мысль о самоубийстве. Освобождение в моей власти — поставить винтовку между ног и выстрелить себе в рот. Я содрогнулся, представив себе прикосновение к зубам оконечности стального ствола. Я не знал, что так страшно решиться сделать это над собой. От одной мысли, что это может произойти, стоит мне только захотеть, у меня выступил на спине пот. Нет, я никогда не решусь. Да и винтовка слишком длинная. Я не достану рукой до спуска, нужно будет, как делали солдаты в России, разуться и надавить большим пальцем ноги. Это слишком сложно и утомительно. Да и товарищи заметят и помешают. Но тогда завтра — плен. А этого я больше всего боялся. Круг безвыходно смыкался.

Мне не было жалко самого себя. Наоборот, я казался себе каким-то зверьком, вроде крысы или хорька, попавшим в западню. И я чувствовал ненависть к самому себе, к своему ничтожеству, к жизни, к людям и к тому неведомому, что меня создало и довело до этого. Даже теперь, когда я думал о самоубийстве, мои мысли не стали глубже и яснее. Наоборот, они шли обгоняя друг друга в какой-то неприятной поверхностной сутолоке и разбегались в стороны. Я не мог додумать их до конца. Боясь, что, может быть, сделал ошибку в ходе рассуждения, я все снова возвращался к исходной точке, и снова начинал рассуждать, и снова путался и не мог прийти ни к какому заключению. Иногда я забывался, но мысль, что завтра мы должны сдаться, вдруг огненной змеей безжалостно проползала в моем сознании, и я просыпался с чувством тоски и неустранимого ужаса и в неверном свете маленькой лампочки под потолком видел нависшие каменные своды погреба и сидевших и лежавших на полу людей. Спертый воздух, смрад. Я сижу неудобно скорчившись. Затекшие ноги мучительно ноют, но когда я пробую их вытянуть, башмаки упираются в несдвигаемую инертную тяжесть тел спящих товарищей.

*

На рассвете еще никто ничего не знал. На кухне, как всегда, варили кофе.

В коридоре мы столкнулись с капитаном. По его заросшему седой щетиной изнуренному лицу было видно: он провел бессонную ночь. Меня опять поразило странное, как у человека не совсем понимающего, что происходит, выражение его глаз.

— Мне нужны двое для опасного дела. Но я не хочу приказывать, — сказал он, смотря на меня и на Роже, словно желая убедиться, правильно ли мы его поняли, — пойдите и вызовите охотников.

Мы молчали. Нам казалось, это так ясно: ему нужны два человека и нас как раз двое.

Подождав немного, капитан грустно спросил:

— Что же вы не идете?

— Ну, вот же мы, тут, — с недоумением посмотрел на него Роже.

— Хорошо, спасибо. Так вот что, — начал капитан, но вдруг задумался. Мне показалось, он не может вспомнить, о чем хотел сказать.

Мы так никогда этого не узнали. Подошел молодой лейтенант и расстроенным голосом передал капитану, что его просит комендант. Капитан, сутулясь, торопливо пошел за лейтенантом. Удаляясь под каменными сводами длинного, плохо освещенного подземного коридора, они заметно уменьшались.

Через несколько минут, где-то в недрах замка прогремели выстрелы и раздался топот ног.

— On a oué le salopard!*) — крикнул, пробегая, сержант с бледным лицом. Нам сказали, какой-то солдат внезапно сошел с ума и начал стрелять по своим. Его сейчас же прикончили, но он успел ранить двух офицеров. Мне стало страшно, капитан и тот молоденький лейтенант?

У нас не было времени разузнать. По всем коридорам и лестницам, тревожно переговариваясь, шли солдаты с мешками и ружьями. Было приказано всем выстроиться на площади.

В каменном мешке готического балкончика появился комендант. Высокий, худой, настоящий Дон Кихот, он раскачивался, произнося речь. Парапет балкончика не доходил ему до пояса. Я все боялся, он вывалится.

— Немецкий генерал, командующий группировкой, осадившей крепость, прислал мне предложение сдаться, — начал комендант срывающимся голосом. — Положение безнадежное. Немецкая танковая дивизия и несколько батальонов моторизованной пехоты обложили город. Дальнейшее сопротивление бессмысленно. Сегодня на рассвете я должен был начать переговоры о сдаче. Не думайте, что это было мне легко, — его голос задрожал еще больше, — я проделал всю прошлую войну, мне шестьдесят лет, но в начале войны я поступил в армию добровольцем. Пока оставалась малейшая надежда, я продолжал сопротивление. Но что мы можем? У нас ничего не осталось, кроме винтовок! Ждать помощи неоткуда. Мы отрезаны, наша армия отступила. Английский флот ушел. Немецкий генерал передает мне, что в знак восхищения перед героизмом защитников, которые три дня без поддержки артиллерии отбивали все атаки, он предлагает следующие условия сдачи: гарнизон выйдет из крепости с оружием, немецкие войска воздадут нам военные почести. Но прошу вас, подтянитесь, приведите в порядок одежду. Пусть враг видит, что и в поражении французский содат не теряет чувство своего достоинства.

Комендант сказал все это с тем декламационным французским красноречием, которое, веря Толстому, я считал несовместимым с искренним волнением, но я видел, что по его старым, худым щекам текут слезы.

Стоявший впереди товарищ попросил меня поправить ему на спине складки шинели. Я никогда не умел делать эти складки, а теперь мне дико было, что в такую минуту он может об этом думать. Мне, наоборот, хотелось иметь растерзанный, выражающий отчаяние вид, «посыпать пеплом голову».

— Пусти, я сам, — сказал товарищ недовольно и назидательно прибавил: — когда новая одежда измята, то пропадает удовольствие ее носить.

И в самом деле, на нем была совсем новая, на редкость добротная шинель.

Происходило то, чего я больше всего страшился. Но, странно,

---

*) Мерзавца убили!

окружающее нисколько не изменилось. Такое же небо было над нами, так же высился замок и я продолжал по-прежнему видеть и чувствовать, хотя ничего доброго, ничего человеческого меня больше не ожидало. А мне было даже любопытно.

Прозвучали слова команды и ворота растворились. Вытягивая шею, я старался рассмотреть, что там снаружи, но за спинами и головами стоявших впереди, ничего не было видно. Только день, как будто более светлый, чем во дворе крепости, но нерадостный и неверный.

Ряды колыхнулись. Впереди несли на плечах носилки с телами убитых, а сзади — мы с винтовками. Всё как на исторических батальных картинах. Только в действительности всё это проще и грубее выглядело и мне было совестно перед мертвыми, что мы пользовались ими для придания торжественности этому маскараду.

Как только мы вышли за ворота, я сразу *их* увидел. Они стояли шпалерами по бокам дороги, а за их спинами танки с наведенными на нас орудиями и огнеметами. Меня поразила мысль: значит, пока комендант говорил речь, а, может быть, и раньше, когда ночью я думал о самоубийстве, враг, который вот уже две недели за нами гнался, бесшумно подойдя, стоял у самых дверей.

Это в первый раз я видел их так близко. Непривычный, мутно-зеленый цвет их мундиров придавал им что-то водолазное, странное, словно они пришли сюда со дна моря или с другой планеты.

Крайний, вдруг став на вытяжку, вскинул перед собой ружье. Я вздрогнул от неожиданности. Бряцание амуниции сопровождало его отчетливые движения как звук пружины, щелкающей внутри заводной куклы. Это был худой, долговязый малый, с желтым лицом, с длинной нижней челюстью. Он смотрел на нас оловянными глазами без вражды, но и без участия. И так же равнодушно, всё с такой же механической отчетливостью движений, он опустил карабин и отставил длинную ногу в коротком, широком, как ушат, пудовом сапоге. И сейчас же, с таким же бряцанием и щелканьем пружины, вскинув перед собой винтовку, вытянулся во фронт следующий в ряду солдат, смотревший на нас с такой же отчужденностью.

Им, верно, скучно было воздавать почести людям, которых еще вчера они должны были убивать. Их лица будто говорили: «Так велело начальство, мы исполняем, а прикажут, мы так же не рассуждая вас перебьем». Мне казалось, они видели в этой машинной бесстрастности свое превосходство над нами, жалкими выродками, подвластными страху, надеждам и сомнениям.

Вполголоса обмениваясь замечаниями, товарищи с беспокойством и любопытством смотрели на «бошей». Но под безучастными взглядами людей-роботов, обычное французское оживление с них сходило и, замолкая, они испуганно ускоряли шаг.

Внезапно я вспомнил, что давно ничего не ел и стал с завистью смотреть на товарищей, которые шли с мешками и подсумками, на-

битыми консервами и всякой снедью. А у меня ничего не было, кроме ненужной больше винтовки.

*

За чертой города, на пустыре, нам велели бросить винтовки и противогазы. Началось наше превращение из солдат в стадо двуногого скота.

У поворота на большую дорогу, пропуская нас, стоял выпятив костлявую грудь, перетянутый ремнями, пожилой немецкий офицер в фуражке с высокой тульей.

— Passez, Messieurs,*) — смотря на нас без всякой доброты, сказал он по-французски, сделав особенное, презрительно-ироническое ударение на слове „Messieurs“.

На шоссе мы смешались с длинной колонной понуро шедших французских пленных. Их гнали немецкие конвойные в грибообразных шлемах. Но еще неприятнее, чем эти пешие конвойные, было мелькание белобрысых, все на одно лицо, молодых солдат, которые взад и вперед шныряли вдоль колонны на маленьких автомобилях. Сжимая в руках автоматы, они настороженно оглядывали наши ряды, точно тявкающие на своре, готовые броситься гончие.

*

Нас долго гнали под палящим июньским солнцем по дорогам Бельгии. Мы проходили разрушенные, догоравшие города. Пить и есть почти совсем не давали. А я и без того был изнурен двумя неделями отступления без отдыха, без сна. Но усталость все больше притупляла во мне чувство отчаяния.

У нас у всех был, верно, очень жалкий вид. Я понял это по тому, как встретившийся у околицы полуразрушенной деревни высокий немецкий офицер, все повторял с расстроенным выражением: «впереди много воды». Французское beaucoup d'eau**) он выговаривал «поку то». Этот офицер с круглым лицом и коротким носом, напомнил мне какого-то знакомого русского интеллигента.

Мы остановились на площади. Никто не знал, чего мы ждем. Говорили, будто другую, такую же колонну пленных. Сесть на землю не разрешали. Впереди, через ряд от меня, стоял высокий худощавый человек в английской форме. В руке он держал за горлышко хрустальный графинчик с водой. Ничего, кроме этого изящного графинчика, у него не было — ни подсумка, ни шинели, ни одеяла, ни пилотки. Он стоял с непокрытой головой. Его волосы разделял безукоризненный пробор и, несмотря на английскую солдатскую куртку, у него был такой вид, будто он в светской гости-

*) Проходите, господа.
**) Много воды.

ной. Я слышал, как на хорошем французском языке он рассудительно объяснял французам, что так как немцы озлоблены против англичан и обращаются с английскими пленными гораздо хуже, чем с французскими, он решил идти с нами. Почему-то мне казалось, он, верно, не настоящий англичанин, а русский эмигрант. Но из-за усталости и застенчивости я его не спросил.

Время шло. Торжество солнечного жара все усиливалось. Под высоким небом островерхие дома с проломленными снарядами стенами и наша длинная колонна на площади чем-то напоминали мне картины «старого» Брегеля. Я видел все с необыкновенной отчетливостью. Ничего удивительного в том не было в такой погожий день: воздух был дивно прозрачен. Но мне что-то сверхестественное представлялось в этой прозрачности, какое-то обещание, приглашение увидеть что-то, что должно было сейчас открыться. Перед тем, мне все мерещилось, что из-за угла длинного серого дома на краю площади, уже показывается голова другой колонны. Но теперь я вдруг *вспомнил*, вовсе не этого ждут, а чего-то гораздо более важного — сейчас объяснится тайна жизни. Опять, как когда я лежал под бомбами, за всем окружающим начинало проступать что-то сокровенное, к чему так давно стремилась моя душа. Преграды, которая прежде мешала мне видеть, больше не было. Я подумал: это верно потому, что я скоро умру, может быть, уже умираю. Но от этой мысли мне стало не страшно, а, наоборот, радостно.

Меня вывели из рассеянности крики немецких конвойных. Головы и плечи стоявших передо мной заколыхались и двинулись вперед.

*

Нас посадили в заколоченные товарные вагоны. Впоследствии, когда я узнал, как возили депортированных, я понял, что нас везли сравнительно не так уж плохо. Всего 50, а не 60 человек в теплушке. Но у меня осталось воспоминание о чудовищной тесноте, точно меня в самом неудобном положении запихнули в какой-то узкий ящик. И мысли всё безрадостные.

Мне всегда хотелось всем нравиться. Я никому не делал ничего хорошего, но почему-то ждал, что все будут меня любить, как в детстве дома все меня любили. Когда же я чувствовал к себе вражду, на меня это действовало угнетающе: какая-то пустота, в которой страшно жить. Пустота и, в то же время, так тяжело давит, и тоска... Ведь даже на войну я шел с надеждой заслужить любовь людей. И вот теперь конец — я во власти немцев, они смотрят на меня, как на врага. Да я и в самом деле им враг, враг того человеконенавистнического идеала, которому они служат. Даже немецкая земля казалась мне враждебной. Сквозь отдушину в стенке вагона я видел незнакомую мне страну. Сначала, освещенные солнцем виноградники на горном берегу Мозеля, потом равнина. Но никакого любопытства я не чувствовал.

На третий день усталость, отвратительное ощущение мучительного телесного неудобства и муки голода и жажды вытеснили в моем сознании все человеческое и желанное. Ни надежды, ни воли, ни памяти у меня больше не было. Только темный страх пойманного зверя.

Около Берлина с нами поравнялся дачный поезд. В зеркальных окнах — женщины в весенних платьях, офицеры в застегнутых на все пуговицы зеленых, как у русских лицеистов, мундирах. Они сидели чинно и прямо, даже не посмотрели в нашу сторону — людей низшей, смешанной с неграми расы, которых за попытку сопротивления немецкому порядку везли теперь в заколоченных скотских вагонах куда-то на восток.

XI

Бараки, песок, три ряда колючей проволоки. Вышки с пулеметами.

Перед кухнями длинные хвосты. Ослабленные голодом, мы почти теряли сознание под лучами палящего солнца. Немецкие унтеры прохаживались вдоль очередей. Если кто-нибудь пытался протиснуться вперед или возникало замешательство, лупили палками без разбора, как лупят скотину. Раз я видел, как два пожилых капрала били алжирца. Огромный, поджарый, темнолицый, в каком-то зеленоватом бурнусе, он был величественно красив: кондор, верблюд, «корабль пустыни». Из широких рукавов бурнуса коричневые руки выпрастывались крылиным взмахом. Ноги — выточенные из черного дерева палки. Вместо того, чтобы броситься бежать, как все обыкновенно делали, он присел на подгибающихся коленях и, ломая над головой руки, стал рыдающим голосом умолять немцев. От неожиданности те по началу даже испугались. Но видя, что он и не думает сопротивляться, они принялись бить его еще пуще. Все больше входя во вкус и тяжело дыша, они начали похотливо смеяться, показывая гнилые стертые зубы. В их лицах трудолюбивых честных немцев вдруг проступило что-то порочное.

*

До войны, случалось, у меня не было денег на обед, но мне никогда не приходилось голодать по-настоящему. Голод изменил теперь все мое ощущение жизни и все мои мысли. И днем и ночью я чувствовал под ложечкой неотступную боль. Это была ноющая пустота. Она вселилась в меня, как какое-то злое и страшное существо, которое вгрызалось в живую ткань моих внутренностей. «Ты должен есть, ты должен меня насытить или я все сглодаю внутри тебя», — говорило это безжалостное существо с такой грозной властью, что все силы моего сознания были сосредоточены только на одном: как достать еды. Я не мог больше терпеть и во мне вызы-

вало чувство недоумения и отчаяния, что никто не дает мне есть, хотя все знали, как мне это необходимо.

Недели через две, перед отправкой в «командо», нас повели в душ. Раздеваясь, я не узнал своих ног. Нагнувшись, я увидел, что у меня между стегнами, хотя я стоял составив ноги, широкий проем, отчего они казались кривыми. Мне стало жалко себя и на глазах у меня выступили слезы, но я должен был поспешно выпрямиться. Теперь, когда я нагибался, у меня кружилась от слабости голова. Я посмотрел на товарищей. Люди разных сословий, разного возраста и телосложения, они все казались теперь похожими друг на друга. Один повыше, другие поменьше, но у всех одинаково отекшее, грушеобразное тело: узкая грудь и раздутый живот, лопатки остро торчат, странно ничтожные ножки, по детски слабые безмускульные руки. Мы копошились в тесной бане — бледные, человекообразные личинки. Сквозь струящуюся сверху тепловатую воду я с отвращением чувствовал гнусно-шелковистые прикосновения дряблых скользких тел.

*

Нас привезли в местечко, которое называлось Добрин, но ничего доброго нас здесь не ждало.

Мы должны были рыть осушительные канавы. Главный широкий ров для стока малых канав немцы называли «канал». Раньше мне никогда не приходилось работать физически. Мне казалось, я не вынесу и несколько часов этой пытки. Я и потом не мог привыкнуть к тяжелому и постылому труду, а эти первые окаянные месяцы, когда от истощения я еле держался на ногах, были истинной каторгой.

Как я ненавидел светлые, долго незаходящие летние дни. Казалось, беспощадное солнце, не двигаясь, стоит в вышине беспредельно простертого над плоской равниной неба.

— Schoen, klar!*) — говорил вахман, подняв лицо и вдыхая полной грудью.

И правда, какой ясный день. С удивлением вспоминая, как мир прекрасен, я жадно вглядывался в облака. Они плывут, клубясь, тая, переходя одно в другое. Остаются только легкие, редеющие клочья, как мазки белил на высокой голубой стене. И как чудесно все освещено: и дно «канала», где мы, пленные, рабы, копошимся с кирками и лопатами, и зеленоватые мундиры вахманов на берегу, и почти выцветшая голубая, с коричневыми заплатами полотняная куртка на сгорбленной спине старого немца-работника. Солнце старается преобразить этот день нашей каторги в рай на земле, приглашая нас увидеть мир глазами Ренуара. Но я не могу последовать этому приглашению солнечного света. Я сейчас же почувство-

*) Как хорошо, какой ясный день!

вал изнеможение. Покой недостижимо далекого неба не избавлял меня от люто сосущего голода и нестерпимой усталости во всем теле. Я думал с отчаянием: «Солнце стоит высоко, еще долгие, долгие часы будет длиться эта мука».

Теперь меня занимало только одно: что можно извлечь съедобного из всего, что я видел. Когда я смотрел на золотую рожь, я не думал о том, как она красива. Я только прикидывал, как бы ухитриться потихоньку, чтобы не заметил вахман, нарвать колосьев. Мы растирали их в ладонях и ели твердые, зеленовато-серые зерна. Среди всякой «ненужной» травы, я научился различать горькие листья попова-гуменца. Потом поспела картошка. Мы ее ели сырой. Твердая, противная. Мы все страдали поносом.

Около плетня одного крестьянского двора, совсем близко от канала, лежал дохлый теленок. Точёная, маленькая голова с обозначавшимися бугорками на лбу, чистенькая, белая с черными пятнами шерсть. Совсем как игрушечный, новенький, пасхально-сахарный. Я все думал, вот бы съесть. Итальянец-мясник, лаская теленка масляным взглядом, уверял, что если хорошенько зажарить, совсем не будет запаха. Но другие товарищи, показывая на мух, которые жужжа копошились в шкуре падали, говорили, что мы с ума сошли.

Из труб крестьянских домиков, прозрачно дрожа в хрустальной неподвижности воздуха, подымались дымки. «Верно это жены бауэров пекут хлеб», — думал я, живо воображая, как толстые, румяные немки вынимают из печи тяжелые, чудно пахнущие горячие хлебы, с коричневой, словно лакированной коркой. И мне представлялось высшим блаженством, больше которого не может быть на свете, пожить месяц в таком домике, ничего не делая, и только с утра до вечера есть этот ситный хлеб и пить молоко.

Что-то знакомое мне чудилось в Поморской равнине, пересеченной вдали перелесками. Там польская граница, а за Польшей — Россия. Какая судьба: двадцать лет тому назад, я уехал оттуда на запад, а теперь почти вернулся. Но путешествие прервано, моя жизнь остановилась, как заколдованная. Я раб в Померании.

Казалось, день никогда не кончится и все-таки, меня это почти удивляло, наступал вечер. Я видел, как небо, сначала еще прозрачное, потом зеленое, розовое, синевея, меркло. В луже, в которой оно отражалось, менялся цвет воды. Это, верно было очень красиво. С чувством сожаления и щемящей грусти, я думал, что пропускаю, не могу удержать видение прекрасного, но у меня не было сил. Все заслоняла смертельная усталость, и я только ждал, когда «шахтмейстер» скажет, наконец, „Feierabend!“,*) и вахман засвистит отбой. Эти последние минуты перед шабашем тянулись невыносимо долго.

Ложась спать, я чувствовал такое отчаяние от неутихающего голода, что мне хотелось плакать. Многие товарищи уже получали из дому продовольственные посылки, а я еще нет. Вспоминая, кто

---

*) Шабаш.

из друзей и знакомых мог бы мне прислать посылку, я недоумевал, почему они этого не делают. Их лица соединялись в моем мечтании с коробками консервов, колбасой, шоколадом.

Вдруг вспоминая, что может помочь молитва, я говорил: «Боже, неужели Тебе не жалко меня, разве Ты не видишь, как я мучаюсь от голода. Я знаю, надо безропотно переносить страдания и нельзя молиться об удовлетворении своих желаний, но мне так хочется есть. Сжалься надо мной, прости мне мое малодушие, мою слабость, пошли мне еды, пожалуйста, сделай это, и Ты увидишь каким я стану хорошим, как исправлюсь, не буду больше думать только о себе, а буду стараться делать добро другим людям».

В эти мгновения я вовсе не думал о том, есть Бог или нет, как вообще больше не задавал себе метафизических вопросов, которые прежде меня так мучали. Только одно я знал с несомненностью: мне нужно насытиться. И если даже в мире, познаваемом разумом, нет никого Всемогущего, кто мог бы спасти меня от всего тяжелого и страшного, моя мольба должна быть исполнена. Меня не смущало противоречие между этими двумя представлениями. Вспоминая учение о том, что если человек по-настоящему чего-нибудь пожелает, то это обязательно исполнится, я старался представить себе разверстое небо и в нем Кого-то неопределенного. Только глаз как в церквах, Всевидящее око. Это — Бог. Он смотрит на землю, и я делаю страшное усилие, чтобы вообразить луч, идущий от Его глаза ко мне. Вот Он увидел, как в смраде и темноте я лежу на полу, на гнилой соломе под нарами, на которых спят тяжелым сном мои товарищи. И я стараюсь с таким напряжением, что у меня выступают на глазах слезы, вообразить, что Богу стало меня жалко и Он согласился исполнить мою просьбу: завтра придет посылка или каким-нибудь другим, нежданным и чудесным способом я смогу насытиться.

С этими мыслями я проваливался в сон и снова, как днем, начинал нагружать телегу землей. Напрасно я говорил себе: «Теперь ночь, отдых, даже немцы не заставляют меня работать, и я могу спать и видеть сны о чем хочу. Но я все продолжал наваливать на телегу лопатины земли, всю ночь, без передышки, до самой побудки. И так же всю ночь я сквозь сон безостановочно расчесывал ногтями кожу на всем теле, горевшую нестерпимым зудом, хотя у меня было меньше вшей, чем у других.

Или мне снилось: я рою канал, но только его скаты и дно не из земли, а из коричневого медового пряника. Я втыкаю заступ в эту пряничную землю, и могу ее есть сколько захочу, но почему-то не ем, хотя не понимаю, что мне мешает.

Из моих тогдашних снов я любил только один, но он мне редко снился. С волнением узнавая знакомые улицы, я гуляю по Парижу. Я только не могу вспомнить их названия. Но вот вхожу в длинную и тесную улицу и вдруг вспоминаю: это улица Святого Якова. Я знаю — здесь должна быть кондитерская, а дальше, на углу еще другая. В витринах пирожные, торты, плитки шоколада. Странно,

я в штатском и у меня в кармане деньги. Какое волшебное чувство — быть на свободе, иметь деньги: могу войти в кондитерскую и есть пирожные. Но что-то мне мешает. Что же это? Вертится на кончике языка, а не вспомнить. Что-то печальное, как смерть. А улица Святого Якова уже меняется, не удержать. Теперь это совсем другая, незнакомая улица где-то на окраине. Ее высокие дома обступают меня, с угрозой теснят и все вокруг так уныло. Всю ночь я с беспокойством ищу и не нахожу забытую дорогу в ту часть города, где кондитерские, где я был счастлив. «Как же я так заблудился?» — спрашиваю я себя с мучительным недоумением, и, хотя я в Париже, мне грустно, но в этой грусти какая-то горестная услада.

Только раз мне снился сон, в котором не было ничего съестного. Вначале это был необыкновенно приятный, радостный сон. Мне снилось, я лежу грудью на краю зеленого холма. Холм круто обрывается над равниной. Там народное гулянье, справляют какой-то праздник, все счастливы, веселы. Я все больше вытягиваю шею, чтобы лучше рассмотреть, быть ближе, и вдруг делаю неловкое движение, мое тело сдвигается, неудержимо скользит по траве откоса, и с чувством жгучего, непоправимого сожаления, что гибну по собственной оплошности, я падаю в пропасть вниз головой.

*

Когда «шахтмейстер» Франк, уже немолодой, но еще крепкий жилистый человек, брал в свои длинные цепкие руки кирку, был сразу виден работник. Но когда он садился, он вдруг казался совсем дряхлым: его тело сваливалось на стуле грудой костей. Только высовывалась из ворота длинная черепашья шея. Почти не утолщаясь, она переходила в обглоданное, как у мумии, лицо с хитрыми, маленькими глазами и плотоядными сильными челюстями.

Таким я застал его, когда товарищи послали меня на кухню с жалобой, что суп слишком жидкий. Нашим продовольствием заведовала жена Франка, толстая женщина с необыкновенно коротким носом на плоском круге лоснистого румяного лица. Она давала домашние обеды немцам-столовникам, но мы не получали даже тех нескольких кружочков кровяной колбасы, которые нам полагались.

Когда я вошел, Франк читал газету. Дрогнувшим от волнения голосом — мне показалось даже, его глаза увлажнились — он, хлопнув ладонью по столу, с убеждением сказал:

— Вот, наш фюрер приказывает: в эту войну никто не должен обогащаться!

Фрау Франк, подойдя к нему, провела рукой по рыжеватой щетине его волос. Ее растроганный, ласково насмешливый взгляд говорил, как она понимает и ценит неисправимый идеализм мужа.

Заметив меня, Франк повернулся ко мне и его глаза несело засветились в глубоких глазницах.

— Ну-с, мусье, вам чего?

Я передал жалобу товарищей: суп — вода и слишком мало хлеба.

С неожиданной для меня непонятной восторженностью, Франк всплеснул руками и, чуть не плача от веселья, принялся объяснять, как что-то радостное для всех нас, что, наоборот, до сих пор он слишком много отпускал нам хлеба, а теперь должен будет давать меньше. Говоря это, он с обезьяньей размашистостью раскачивался на стуле, то весь складываясь, то снова распрямляясь, причем его шея вдруг во всю длину выскакивала из широкого ворота. Я боялся, мне станет дурно.

— Вот, сколько! — показал он, сложив щепотью большой и указательный пальцы. И он смотрел на эту изображаемую его пальцами ужаснувшую меня, почти вдвое против прежнего меньшую пайку хлеба с таким выражением, точно его самого удивляло, но и восхищало, до чего тоненькие теперь будут ломти. Все его лицо, лучась морщинами, светлело в улыбке умиления.

Мое ходатайство привело только к тому, что капрал Кох стал особенно следить за мною во время работы. Как только остановлюсь передохнуть, кричит: „Los, Mensch, arbeiten!“*)

Он уверял, что маленький ребенок сработает больше, чем я. Раз он даже прицелился в меня из винтовки, делая вид, что хочет меня пристрелить. Но он ни разу меня не ударил. То, что я, один из всех товарищей, понимаю по-немецки, внушало ему необъяснимое уважение, хотя и смешанное с враждебностью. „Professor — Brotfresser“**) — говорил он про меня, задумчиво и неодобрительно качая головой.

Он был неказистый, коротконогий, с тупым выражением на деревянном солдатском лице, с глазами на выкате и скобленными до лоска маслаками. Только в пьяном виде он становился по-настоящему опасен. Тогда он ходил вдоль канала, надоедая всем бессмысленными распоряжениями и криками „arbeiten!“. Или вдруг ему приходило в голову, что мы роем канал не в том направлении, в каком нужно, и он начинал уговаривать головного товарища свернуть в другую сторону. Показывая на колышки, вбитые в землю Франком, товарищ, размахивая руками, взволнованно говорил:

— Contremaître, Frank, contremaître!***)

— Франк? — спрашивает Кох, вдруг бледнея и угрожающе надвигаясь на товарища грудью. — Г. . . Франк. Я сам «шахтмейстер», я здесь приказываю, я хозяин, — кричал он, все более пьянея начальническим гневом и, сняв с плеча карабин, бил товарища прикладом.

Но на следующий день он появлялся угрюмый и молчаливый. Ни на что не обращая внимания, понуро сидел на берегу канала, положив карабин на колени и уныло уставившись перед собой пустым, безучастным взглядом. Когда кто-нибудь из «цивильных»

---

*) Давай, работай!
**) Профессор-дармоед.
***) Нарядчик, Франк, нарядчик.

немцев пытался с ним заговорить, он, сокрушенно качая головой, только вздыхал: „Alles Scheisse!“*) Раз даже добавил с убеждением: „Krieg, Scheisse!“**)

В один из таких смирных дней Коха товарищи уговорили меня спросить у него, не может ли он купить нам папирос. Долго не понимая, о чем я прошу, Кох с грозным удивлением смотрел на меня своими мутными неподвижными глазами. Я видел, как медленно доходит до его сознания значение моих слов. Наконец, он понял и, к моему удивлению, согласился.

Возбужденно переговариваясь, мы стали считать деньги. Стоявший недалеко от нас немец из «цивилей» сказал, растроганно улыбаясь и качая головой:

— Arme Gefangene!***)

Я мельком на него взглянул. Высокий, худой, очень некрасивый, лицо неприятно белое, все в бледных рябинах. Над большим хрящеватым носом — рыжие брови кустами.

У меня не было ни пфеннига. Я умолял товарища, прозванного Крысой, дать мне взаймы марку. Крыса, чуть не плача, говорил, что это не его деньги. Я все упрашивал, в отчаянии и страхе, что пропущу такой счастливый, единственный случай. Мне так хотелось курить. Все это время я чувствовал, что высокий немец смотрит на нас, внимательно прислушиваясь. Он, видимо, старался вникнуть в непонятные ему звуки чужой речи и догадаться, о чем мы говорим. И вдруг, поняв, он просветлел лицом и откинув голову спросил меня с какой-то гордой и радостной решимостью:

— А почему вы у меня не хотите взять?

Он протягивал мне марку. Мне было удивительно: немец предлагает мне деньги. Он смотрел на меня чуть торжественно и все его некрасивое лицо светилось изнутри ласковым, добрым выражением.

— Verboten,****) — недовольно сказал Кох.

Высокого немца звали Вицке. Наша дружба особенно упрочилась, когда он узнал, что я понимаю по-английски. Теперь, приходя на работу, он прежде всего решительными шагами направлялся к нам и радостно спрашивал:

— А где здесь инглишмен?

Но за двадцать с лишним лет он, видимо, совсем забыл английский: с трудом подыскивал слова и произносил их, как немецкие.

Я сказал:

— По-английски легко читать, а говорить трудно.

— Ах, нет, как раз наоборот, говорить легко, а читать трудно, — ответил он убежденно.

В ту войну он был пленным в Англии. Однажды он показал мне

---

*) Все г . . . .
**) Война г . . . .
***) Бедные пленные!
****) Запрещено.

фотографию: верхом на лошади мальчик в картузике с пуговкой и в куртке с вензелем на кармашке.

— Это ваш сын, он жокей? — спросил я, хотя костюм мальчика смутно мне напомнил что-то чуждое здешней жизни, не немецкое. Вицке долго, не понимая моего вопроса, смотрел на меня с удивлением и все старался мне что-то объяснить. И вдруг я понял — этот мальчик вовсе не его сын, у него не было детей, а сын английского фермера, у которого он работал, когда был военнопленным в Англии.

По словам Вицке выходило, что этот фермер и его жена были добрые справедливые люди и хорошо его кормили.

— А они как, тоже были вами довольны? — спросил я с любопытством.

— Ах, как довольны! — сказал Вицке и по растроганному, задумчивому выражению его лица я с удивлением увидел, что он вспоминает о плене в Англии, как о чем-то, может быть, самом хорошем что было в его жизни.

Я спросил его, почему, хотя я могу объясниться по-немецки, мне так трудно его понимать, особенно, когда он говорит с другими «цивильными» немцами. Он улыбнулся:

— Вы учили Hochdeutsch,*) а мы говорим на Platt.**) На Hochdeutsch говорят только *большие* в городе.

Это было время, когда после разгрома Франции начались ежедневные воздушные налеты на Лондон. С трудом удерживая торжествующие похотливые улыбки, немцы возбужденно говорили о «большом наступлении». Особенно Кох казался потрясенным сознанием немецкого могущества.

— Польша капут! Норвегия капут! Голландия капут! Бельгия капут! Франция капут! Лондон капут! Alles kaputt machen!***) — кричал он, охваченный патриотическим восторгом.

Показывая, как бомбы падают на Лондон, он долбил воздух кулаком, приговаривая: «Бум! бум!» и разражался торжествующим деревянным хохотом.

Слушая эти разговоры о немецких победах, Вицке хмуро молчал, и на его бледном, с безжизненно закрытыми веками лице появлялось неодобрительное, замкнутое и печальное выражение. А когда я его спрашивал о положении на фронте, он, отводя глаза в сторону, уныло говорил: „Ich weiss nicht. . .“****)

Однажды, видимо желая, чтобы я хорошо его понял, он, смотря мне в глаза и особенно медленно и внятно выговаривая каждое слово, сказал:

— Ты не думай, когда в ту войну я был солдатом, я ни одного француза, ни одного англичанина, ни одного русского не убил. Я

---

*) Литературный немецкий язык.
**) Простонародный говор.
***) Все изничтожить.
****) Не знаю.

всегда стрелял в воздух. Все мы одинаковые люди, это только *большим* нужна война.

Он давно уже говорил мне «ты» и от меня требовал того же.

— Что с того, что я немец, а ты француз, пленный? Я такой же бедный рабочий человек, как и ты. Мне все равно, что нам запрещено с вами разговаривать. Для меня пленные такие же люди как мы.

Я скоро заметил, он работает через силу. Когда, расставив ноги, он медленно замахивался киркой, я чувствовал, смотря на его узкую длинную спину и жалко обвисавшие на тощих ягодицах заплатанные плисовые портки, что только приобретенная с детства сноровка позволяла ему справляться с работой. Он даже ходил трудясь, переставляя свои длинные, худые ноги как деревянные.

— Müde?*) — спрашивал я.

— Müde, — соглашался он, печально и просто смотря мне в глаза.

Я хотел выпытать у него, стало ли при Гитлере рабочим людям жить лучше, чем прежде. Он мне только ответил: «богатые остались богатыми, а бедные — бедными», но больше ничего не хотел сказать.

Вообще он мало и неохотно рассказывал, но очень любил слушать, когда товарищи рассказывали ему о своей жизни во Франции. Каждого расспрашивал, что тот делал дома, женат ли, есть ли дети. Когда товарищи показывали ему свои семейные фотографии, он долго и внимательно их рассматривал, спрашивая, как приходятся друг другу мужчины, женщины и дети, снятые на фотографиях. Детей он всегда находил красивыми. По улыбке, морщившей его губы, я видел, ему доставляло удовольствие представлять себе, что у каждого из нас была дома счастливая жизнь среди любящих нас людей.

Один товарищ, набожный католик, попросил меня спросить у Вицке — католик он или протестант. Вицке посмотрел на меня с любопытством и, покачав головой, сказал:

— Я евангелист, но не хожу в церковь.

С моим всегдашним страхом разговоров, которые могут привести к спорам и отчужденности, я примирительно заметил:

— Единственная религия — это стараться быть добрым к другим людям.

Это была одна из тех мыслей, в справедливости которых я не сомневался. Но они не становились моей волей и не меняли моего поведения по отношению к другим людям. А Вицке усвоил эти мысли всем своим существом. Мои слова произвели на него необыкновенное впечатление. По тому, как он вдруг оживился, я понял, что они отвечали самому задушевному его убеждению, которое он только не умел сам выразить. Все его лицо осветилось радостью. Ласково посмотрев на меня, он сказал:

---

*) Устал.

— Вот, вот, это самое главное, а там католик или лютеранин — не все ли равно. Мы, маленькие, неученые люди не можем даже в этом разобраться.

Только раз я видел его рассерженным. На улице немецкие мальчишки стали бросать в нас камнями. Вицке заметил и вдруг пошел на них, что-то громко и гневно крича, задыхаясь и угрожающе размахивая руками. Мальчишки отбежали за угол дома и смотрели на него оттуда, стараясь сохранить вызывающее выражение, но у них были испуганные лица.

— Was ist los?*) — сонно и недовольно спросил Кох.

*

На соседнем лугу пас стадо мальчик-поляк. Он был высокенький, лет двенадцати, но под черными лохмотьями — такие на пугала вешают — плечики еще по-детски круглые. Когда, мелькая своей русой головой, он гонял коров, норовивших зайти в рожь, казалось по лугу мечется веселый солнечный зайчик. Что-то смышленно-шустрое, славное и мужественное было в открытом взгляде его серых глаз.

Подойдя к краю канала и смотря на нас с жалостью и страхом, но не в силах сдержать оживленный блеск глаз, он бойко спросил:

— Quelle heure est-il?**)

Довольный произведенным его словами впечатлением мальчик радостно рассмеялся. Обрадованные товарищи спрашивали, где он научился по-французски. Но «который час» было все, что он знал. Я один мог с ним объясниться. К моему удивлению я почти все понимал, когда поляки говорили медленно. Я стал расспрашивать мальчика о военных слухах. Он сказал, что немцев всюду бьют и война скоро кончится. Все это было далеко от истины, но мне понравилась его непоколебимая вера в победу. Я сказал:

— Англичане опять бомбили Берлин!

— Юж немо цо, — кивнул мальчик с таким видом, будто все это давно ему хорошо известно, и, нахмурившись, добавил дрогнувшим от злобы и обиды голосом: — И правильно, как они у нас все разбили, так и им надо сделать.

Вицке с доброжелательным любопытством слушавший наш разговор, спросил его, откуда он. Мальчик исподлобья на него покосился. Все оживление сошло с его лица, сменившись упорно-замкнутым, настороженным выражением.

— Оттуда, — махнул он рукой в сторону польской границы.

— Да как же ты сюда попал? — смотря на него с высоты своего большого роста, простодушно спросил Вицке.

— А так: пришли ночью, отца взяли, а нас на телегу и привезли сюда, — сказал мальчик, как говорят о стихийных бедствиях. Но

---

*) Что такое?

**) Который час?

по тому, как, отвернувшись, он стиснул зубы и странно шевелил бровями, я видел, он делает усилие, чтобы не заплакать.

Вицке покачал головой с тем недовольным, осуждающим выражением, которое появлялось у него всякий раз, когда при нем говорили о войне и о немецких победах.

— Что, твой отец у «бауэра» работал?

— Нет, он сам был «бауэр», — гордо ответил мальчик.

— Wie gross?*)

— Zwei Pferde.**)

— Kleiner Bauer,***) — сказал Вицке одобрительно. Ему видимо понравилось, что отец мальчика был «маленький бауэр», свой брат, бедный рабочий человек.

— А кто же теперь дома работает?

— Наш двор немцам отдали. Все, как есть, — дом, землю, коней, плуги. Нам даже взять ничего не позволили, — и опять показывая на восток — dort alle Polen kaputt!****)

— Как же ты живешь теперь? — спросил Вицке с участием.

— Что делать? — сказал мальчик, смотря ему прямо в лицо. Его твердый взгляд был уже не детский, а как у взрослого человека, знающего, что в жизни некому жаловаться.

Но как только Вицке отошел, глаза мальчика опять заискрились неудержимым радостным оживлением. Внезапно обхватив меня руками за локти, он стал вокруг меня прыгать, весело меня тормоша.

— Ты не бойся этого немца, он добрый, — сказал я.

Лицо мальчика опять приняло жесткое, упорное выражение.

— Они все добрые! — усмехнулся он злобно и недоверчиво.

Каждый день он отдавал свой полдник кому-нибудь из французов. Он положит под куст, а француз выкарабкается со дна канала, будто за нуждой пошел, сядет под куст орлом, а сам — хлеб в карман. Но, несмотря на все предосторожности, Франк скоро это заметил.

*

К каналу подъехал небольшой серый автомобиль. Из него вылез Бубуль, а за ним другой немец, оказавшийся, когда он распрямился, таким огромным, что было непонятно, как он мог поместиться в этом маленьком автомобиле, который рядом с ним казался игрушечным.

Бубуль был начальником всех дренажных работ в округе. Толстенький, подвижной и веселый человечек с круглым лицом. Это французы прозвали его «Бубуль». Приезжий немец следовал за

---

*) Крупный.
**) Две лошади.
***) Мелкий фермер.
****) Там все поляки пропали.

ним, высокий, как слон. По тому, как Бубуль суетился у него под ногами, было видно, что это очень важный начальник. Они остановились на краю рва и Бубуль что-то говорил, показывая на окрестные поля. Высокий молча слушал, изредка кивая головой, слишком маленькой для его огромного туловища, на подобие еще не открытого памятника, задрапированного непромокаемым балахоном. Он смотрел себе под ноги, но вдруг, вращая глазами, быстро взглядывал в сторону с беспокойным и подозрительным, яростным, но в то же время застенчивым выражением.

Навстречу им, вобрав живот и мерно, как заводной, подымая ноги в начищенных до блеска сапогах, шел в зеленом егерском костюме Франк. Исполняя священный обряд, отчетливо — раз! раз! — печатал шаг. Чувствовалось, — только смерть может его удержать.

Остановившись недалеко от приезжих, Франк замер с вытянутыми по швам руками и почтительно, всем телом клонясь вперед по косой линии. Я подумал, он не сможет и несколько секунд сохранить равновесие в таком положении, но он стоял, как вкопанный.

Не подавая ему руки, Бубуль стал у него что-то спрашивать и, обращаясь к высокому, пояснял ему слова Франка, точно Франк говорил не по-немецки, а на каком-то туземном наречии, непонятном такой важной особе. Я видел, как Франк, что-то докладывая, показал рукой на луг, где мальчик поляк пас стадо.

— Эти вахманы ничего не хотят делать, — громко и недовольно сказал Бубуль. — Кто начальник караула? позовите его сюда!

Франк протяжно крикнул:

— Унтер-офицер Бёзе!

Бёзе только что вернулся с фермы солдатки фрау Засс, и по его лицу было видно, он беспокоится, не заметило ли начальство его отлучки.

Бёзе мы не любили и боялись больше всех других вахманов. Он хотел казаться одним из тех немцев «честных служак», чья вера в призвание Германии править миром основана на глубоком убеждении, что никто лучше немцев не способен установить разумный и всеобъемлющий административный порядок. С педантическим усердием выводя буквы своим щегольским писарским почерком, он составлял бесконечные донесения и списки: имя, где и когда родился, семейное положение, вероисповедание, занятие и сколько у каждого из нас денег, сколько белья и других вещей, и все это по многу раз, для разных отделов лагерного управления. Он разработал подробнейшее расписание нашего дня, вплоть до того, когда и сколько минут мы должны чистить обувь и платье, и строго следил за неукоснительным выполнением этого расписания. Когда же из лагеря пришло предписание не препятствовать религозным проявлениям, Бёзе стал требовать, чтобы по воскресеньям перед обедом мы несколько минут сидели молча, опустив голову и сложа ладони перед грудью.

Один из всех вахманов он говорил нам «вы», словно желая подчеркнуть своей холодной вежливостью, что между ним и нами не может быть никаких других отношений, кроме предписанных уставом и что он исполняет свои обязанности, не позволяя себе поддаваться никаким непосредственным личным чувствам.

Несмотря на его вежливость, он казался мне самым опасным из всех немцев. Поляки мне говорили, что в начале войны он был полицейским в соседнем городке и бил польских женщин по щекам. Поляки особенно его ненавидели. Он делал вид, что не понимает по-польски, а сам был родом кашуба и только с приходом к власти Гитлера переменил свою польскую фамилию на немецкую.

Я присматривался к нему с тем смешанным чувством страха и любопытства, с каким смотришь в зоологическом саду на хищных зверей. Он был коренастый, грузный, с затылком циркового борца. Лицо смуглое, но не бронзовое, как у южан, а цвета золы. Его мрачные, красивые, широко расставленные глаза смотрели нагло и в то же время с каким-то беспокойным и самолюбиво оскорбленным выражением.

Мне доставило теперь злорадное удовольствие видеть, как этот самоуверенный сорокапятилетний человек, как провинившийся ученик, тяжело переводя дыхание, рысью подбегал к начальству. Не добежав нескольких шагов, он остановился и так же, как Франк, врос в землю, уставившись в лицо Бубуля и высокого инспектора немигающим взглядом. Его глаза будто хотели вскочить в душу начальства.

— Вы старший? — спросил Бубуль недовольно. — Поляки дают пленным хлеб и рассказывают небылицы, а вы что смотрите?

От оскорбления лицо Бёзе стало бледносерым. Сделав над собой усилие, он, отчеканивая каждое слово, но почтительностью голоса давая понять, что вполне разделяет недовольство и виды начальства и только ищет случая доказать свое усердие, сказал:

— Нас всего четыре вахмана, а вспомогательный цивильный вахман Вицке позволяет пленным и полякам делать все, что им угодно.

Бубуль с довольной улыбкой посмотрел на инспектора. Ему, видимо, понравилась эта солдатская готовность, но, повернувшись к Бёзе, он опять сделал строгое лицо.

— Одного вахмана на каждых десятерых пленных вполне достаточно. Не забывайте, нам солдаты нужны на фронте. Война еще не кончена, — сказал он, смотря на уничтоженного Бёзе с насмешливым презрением. Тот хотел что-то пролепетать, но Бубуль крикнув «кругом», отвернулся от него и стал что-то оживленно говорить большому немцу.

Шаркая ногами по траве, они пошли через луга к оставленному на дороге автомобилю. Франк, продолжая держать руки по швам, следовал за ними, почтительно держась несколько позади. Они остановились около поляка-пастушка. Я видел, Бубуль строго ему выговаривает, а мальчик, подняв голову, смотрит на него без страха

и что-то ответил с таким открытым и самостоятельным выражением на своем умном личике, что даже Бубуль не мог удержаться от улыбки и только погрозил ему особым немецким помахиванием руки: драть тебя, мол, нужно.

Забежав вперед, Франк открыл дверцу автомобиля. Согнувшись и с трудом пролезая внутрь, высокий инспектор сказал:

— Vielen Dank, vielen Dank.*)

*

В перерыве на обед Вицке по своему обыкновению не пошел к другим немцам, а сел на землю тут же, где работал. Вынув завернутый в газету хлеб, он отрезал складным ножиком маленький кусочек и стал есть с усталым и безучастным видом.

Я невольно все взглядывал на его медленно жующий рот. Зная, что он всегда делится своим хлебом с кем-нибудь из французов, соседей по работе, я с беспокойством спрашивал себя, кому он даст сегодня: мне или пленному из фламандцев, который, по другую сторону от Вицке, сидел на корточках на скате канала, как орел-стервятник. Он смотрел в рот Вицке с бесстыдной собачьей мольбой в голубых глазах. Вицке поманил его и фламандец поспешно к нем подошел. Вицке дал ему полломтя намазанного сырцовым салом хлеба и фламандец, вернувшись на свое место, принялся есть. Я смотрел, как плотоядно работают его сильные челюсти и как его горло, заглатывая разжеванные куски, двигается вверх и вниз. Я с живостью чувствовал, как пища проходит дальше по его пищеводу и вдруг мне открылось, что это и есть все его существо: пищевод, как червь, с отверстием глотки в верхнем конце и анальным отверстием внизу, а все остальное — лоб, нос, глаза, которые без всякого выражения смотрели теперь внутрь, грудная клетка, руки, ноги, все это только надстройка, нарост, вспомогательные придатки. И это не только он, а всякий человек, я сам так устроен. Мне даже показалось странным, как прежде я этого не замечал. Несмотря на голод и отчаяние, что Вицке дал хлеб не мне, а фламандцу, я почувствовал отвращение. К горлу подступила тошнота и поспешно отвернувшись, я стал смотреть в сторону.

Под кустом ракиты сидел Бёзе и невзрачный мужичонка, в тяжелых, вымазанных глиной сапогах, прозванный французами «Зеро». Бёзе уже кончил закусывать и что-то рассказывал, чистя ножиком яблоко. Моя ненавить к нему еще уилилась от раздражения, что он срезает кожуру. Ведь в кожуре все витамины! Воображая, как я надкусил бы это великолепное, продолговатое, желтое с красными щеками яблоко, я с необыкновенной живостью почувствовал на зубах его хруст, его желанную, сахарную, прохладную вязкость.

Срезаемая кожура, вздрагивая, все ниже свисала длинной, сви-

---

*) Премного благодарен.

вающейся лентой и, наконец, качнувшись, упала на черную вскопанную землю. Я подумал: когда Бёзе встанет, я незаметно ее подниму и съем. Насупив брови, Бёзе грыз яблоко. Видимо, он рассказывал Зеро о мальчике-пастушке. Я слышал, как он несколько раз злобно и с недоумением повторял «поляк». Мне стало стыдно, что я хотел есть кожуру после него, но я не мог отвести от нее глаз. В это время раздалось знакомое глухое покашливание и слабый голос позвал меня по имени. Это Вицке. В надежде чего-то доброго и хорошего, я подошел к нему. Он протягивал мне на ладони маленький кусок хлеба. Чувствуя в груди и в животе теплоту благодарности и уже беря хлеб, я все-таки спросил:

— А как же вы сами, это вас не лишит?

Он грустно покачал головой:

— У меня никакого аппетита нет, мне совсем мало хлеба довольно.

У него были бледные десны и желтые, стертые как у старой лошади, зубы.

Я сажусь около Вицке и ем, но все смотрю на кожуру у ног Бёзе. Вот он доел яблоко и встал. Все с тем же сумрачным выражением закинул за плечи карабин. Поправляя пояс, переминается, все глубже вдевливая сапогами в черную жирную землю обрезки кожуры. Верно опять собрался на ферму фрау Засс. За его спиной Зеро насмешливо переглядывается с другими немцами.

Но у Бёзе, видно, другое было на уме. Переваливаясь при каждом шаге половинками толстого гузна, он неторопливо шел к мальчику поляку. По мере того как он к нему приближался, воцарялась недобрая тишина. Мы все смотрели ему вслед, не в силах отвести глаз. Подойдя к мальчику, он что-то сердито у него спросил. Мальчик слегка побледнел, но отвечал ему не опуская взгляда.

— Still stehen!*) — зловеще бледнея, исступленно закричал Бёзе. Мальчик невольно вытянулся, руки по швам. Бёзе наотмашь ударил его по щеке каменно тяжелой рукой. Голова мальчика мотнулась, он едва устоял на ногах, но не крикнул, не заплакал, а все так же не смигивая смотрел Бёзе прямо в глаза. На его вдруг осунувшемся лице проступило выражение суровой, не детской силы.

— Quelle brute!**) — не выдержав, громко сказал Крыса.

— Was?***) — грозно обернулся Бёзе. Он все так же неторопливо и тяжело сошел по откосу на дно канала. Молча, с опущенными зрачками, подошел к Крысе и замахнулся. Правда, ему мешал карабин, но по тому, как он неловко и медленно отводил назад руку, мне показалось ,что, несмотря на всю свою силу, он не умеет драться. Забывая, что еле держусь на ногах от истощения я подумал: «Ведь я его побил бы».

Теперь глаза Бёзе открылись. Они странно бегали с беспокой-

---

*) Смирно стоять.
**) Какая скотина.
***) Что?

ным и преступным выражением и все его изуродованное лицо дрожало. В углу губ застрял клочок серой пены. Крыса увернулся и кулак Бёзе ткнул его в плечо. Задыхаясь и все больше бледнея, Бёзе снова замахивается и стеная, как женщина, еще несколько раз ударил. Крыса защитился, подняв локоть.

*

Прошло несколько дней. Я видел, что Бёзе не может забыть унижение выговора, полученного им из-за мельчика поляка. Он уже не старался казаться вежливым. По малейшему поводу орал, заходясь бешеным, как звериный рев, криком. Одного товарища так двинул прикладом, что того свезли в госпиталь. Мы чувствовали себя спокойно только когда он уходил на ферму фрау Засс.

Мальчик поляк по-прежнему отдавал свой хлеб кому-нибудь из французов, и я боялся, что Бёзе это заметит.

Мундир у Бёзе был гораздо лучше, чем у других вахманов. Он вообще очень следил за своей наружностью. В этот день он пришел на канал в новой, с лаковым козырьком, фуражке гвардейского образца.

— Да ты теперь совсем офицер, — сказал ему Зеро.

— Что, идет? — весело спросил Бёзе, охорашиваясь, вертя головой и оживленно блестя глазами. — Почему только офицерам носить? Чем мы хуже?

Он вынул из кармана пачку дорогих папирос и раскрыв ее, великодушно предложил Зеро. Восхищенно покачивая головой, Зеро корявыми, запачканными глиной пальцами осторожно выколупал одну папиросу из коробки.

— Откуда у тебя такие?

— Фрау Засс, — усмехнулся Бёзе, многозначительно подмигивая.

Зеро опять с еще большим уважением покачал головой.

— Да, с женщинами надо уметь обойтись. Главное, ... , тогда женщина с ума сходит, все отдаст, — улыбаясь глазами своим воспоминаниям, говорит Бёзе с тонким выражением человека, умеющего жить.

— Я прямо скажу, я еще могу доставить женщине удовлетворение, лучше, чем молодой. Что фрау Засс? Были и другие, очень высокопоставленные. — Он с важностью помолчал, давая понять, что не все может рассказывать.

Зеро слушал его, открыв рот и в знак одобрения и восхищения только цокал языком. Говорили, у самого Зеро было восемь человек детей и злая старая жена его бьет, когда он приходит домой пьяный.

— Ты может думаешь, — продолжал Бёзе, — я всю жизнь в деревне жил, не умею вилки-ножа держать? Нет, я понимаю обращение. Сама бюргермейстерша говорит, что я очень представительный. А женщины, знаешь, любят видных мужчин. Теперь я

похудел, конечно, а до войны, смотри, какой был, — он вынул из бумажника и протянул Зеро фотографию.

Как раз в перерыве на обед шел проливной дождь, и мы укрылись в тесном угольном сарае. Я стоял так близко от Бёзе и Зеро, что мог рассмотреть фотографию. Это был Бёзе в форме «С.А.»: лицо вдвое толще и шире, чем теперь: жирный шар, насаженный на пухлые, круглые плечи. В этом раздутом лице только с трудом можно было различить теперешние отекшие черты Бёзе.

— Mein richtiges Format,*) — улыбнулся Бёзе, любуясь на карточку. Заметив, что я тоже смотрю, он, покосившись на меня самолюбиво-подозрительным взглядом, продолжал повышая голос:

— Так, с виду я не очень большой, а силен. Когда служил в полиции у меня, знаешь, такая резиновая дубинка была: только раз ударишь, — он замахнулся, с мокрым сладострастным шипением всасывая воздух сквозь стиснутые зубы, — aber ganz kaputt.**)

Лицо его все более мрачнело.

— Мы, немцы, хорошие парни, только слишком уж добрые. Но если нас заденут, мы умеем за себя постоять. Знаешь, мальчишка поляк — сказал он с недоумением, — ведь он продолжает давать хлеб французам. Я сам видел. Паршивый народ! Поубивать бы их всех! Только даром немецкий хлеб жрут.

Дождь прошел так же внезапно, как начался. Выйдя из сарая, Бёзе осматривается, поеживаясь шеей и свистит. Вдыхая полной грудью живительно-свежий после дождя воздух мы идем к каналу. Еще падали последние капли, а уже светило солнце и над омытыми лугами и ржаным полем раскинулась через полнеба радуга.

Бёзе остался у сарая. Расставив ноги, он мочится на угол и издает громкий, как треск раздираемого полотна звук.

— Schwein, was machst du?***) — с шутливой угрозой обернулся он к Зеро, будто это тот сделал. Но его лицо сохраняло озабоченное выражение. Поправив за спиной карабин, он с решительным видом направился в сторону, где поляк пастушок пас стадо. Тот смотрел на него настороженно и, видимо, почувствовав опасность вдруг бросился бежать. Сняв на ходу карабин, Бёзе щелкнул затвором. Я видел, как Вицке пытался его задержать. Но Бёзе с презрительной усмешкой отстранил его своей сильной рукой и, держа винтовку на перевес, пошел быстрее. Солнце было у него за спиной и на светлом лугу он казался выпиленным из черного железа: только голова и плечи обведены сиянием света. Когда он свернул к ржаному полю, стало видно спокойно-сосредоточенное выражение его словно помолодевшего лица. Внимательно следя за бегущим мальчиком, он слегка наклонившись шел теперь упругим, легким шагом.

«Не может быть, что он хочет пристрелить мальчика», — поду-

---

*) Мой настоящий формат.
**) Прямо в лепешку.
***) Ты что делаешь, свинья?

мал я. Это было бы так чудовищно, так невероятно, что я не мог этому верить и, в то же время, я чувствовал, как ход времени зловеще замедляется. Вся действительность, как в страшном сне, омывалась теперь каким-то мглистым, неверным светом — зеленым, черным, красным.

Мальчик, согнувшись, бежал, быстро перебирая босыми ногами. Он был уже у самого края большого ржаного поля, но мне казалось, он совсем не продвигается вперед, а только на месте семенит маленькими, утороплеными шажками.

С неожиданной для его грузного тела гибкостью, Бёзе стал на одно колено и вскинув приклад винтовки к плечу прицелился. Меня поразила звериная точность его движений. Сказывали, он был охотником, поставлял дичь генералу, начальнику здешнего военного округа.

Мне вспомнилось, как я раз сам был на охоте. Я стоял в кустах и увидел зайца. Легким скоком он приближался ко мне по скошенному полю. Из-за ствола соседнего дерева охотник повел ружьем и выстрелил. Заяц сделал еще скачок, но его вытянутое в воздухе тело словно сломалось посередине, передние лапы подвернулись, как ватные, и, ткнувшись мордой в землю, он покатился по жнивью. Еще мгновение и он лежал на боку маленьким серым трупом. Меня поразил этот невместимый сознанием непоправимый переход от стремительного бега к неподвижности смерти. Я продолжал все видеть и воспринимать, но это будто внутри меня оборвался заячий скок и вместо него водворилась невыносимая, устрашающая пустота. А ведь теперь был не заяц, а славный, с живыми ясными глазами, мальчик, который отдавал нам свой хлеб.

Пастушок все-таки добежал до ржаного поля. Расступясь перед ним, высокая рожь опять сомкнулась. Прокладываемый им путь уже терялся на ее серебряной поверхности, волнуемой только ветром и проходящими тенями облаков.

Бёзе, держа палец на спуске, зорко всматривался, стараясь различить среди колыхания колосьев исчезающий след мальчика. С тем страшным усилием, с каким стараешься иногда проснуться, я сказал себе: «Он не должен выстрелить, мое сознание, все мое существо не могут этого допустить». И, словно исполняя мою волю, покачав головой Бёзе встал с колена и закинув карабин за плечо, в раздумьи медленно вернулся на свое место.

Мы все вздохнули с облегчением. Только теперь я заметил бледные лица товарищей. С их губ сходили забывшиеся странные улыбки.

Потом видели, как Бёзе пошел на ферму, где мальчик работал. Товарищи, которые рыли канавы около этой фермы, рассказывали вечером, что после прихода Бёзе хозяин «бауэр» так бил мальчика что сломал у него на спине толстую палку.

*

Я больше не видел мальчика. Меня перевели на другой, дальний участок канала.

Нам казалось, добринская каторга никогда не кончится, но как всему в жизни, пришел конец и дренажным работам. Ударили морозы. Ни заступ, ни кирка больше не брали оледенелую землю. Нас перевели в соседнее село работать на фермах. Прощаясь с Вицке, я сказал: «Спасибо за все, что вы для меня делали. Я никогда не забуду вашей доброты». — Но на самом деле я уже о нем не думал. Я не знал, что нас ждет на фермах, но мне не терпелось скорее уехать из проклятого Добрина. Занятый мыслями о будущем, я был уже далеко отсюда и сказал эти готовые слова благодарности, не думая о их значении. Тем больше меня удивило, какое впечатление они произвели на Вицке. В волнении сжимая мою руку своими большими костлявыми пальцами, он все силился что-то выговорить, но губы его дрожали и, отвернувшись, он махнул рукой. Из его выцветших глаз по морщинистым худым щекам текли светлые, прозрачные слезы.

Я увидел его снова только следующей осенью. Мы возили на тракторе картошку на станцию Линде. Когда мы проезжали Добрин, товарищ, толкнув меня в бок локтем, сказал: «Ты не узнаешь, это Вицке!»

И я его увидел. Он стоял у двери маленького, в два окна серого домика. Меня поразила болезненная худоба его некрасивого лица и всего костлявого тела. Или прежде, видя его каждый день, я привык к этой его страшной худобе, перестал ее замечать, или она с тех пор увеличилась, но только теперь она бросалась в глаза, была главной чертой всего его облика.

Узнав нас, Вицке очень обрадовался. Взволнованно размахивая руками и крича что-то приветственное, он стал подпрыгивать на месте. Его долговязая нескладная фигура нелепо, как картонный паяц, взлетала в воздух. Что-то жалкое и трогательное было в том, как этот пожилой человек, худой как обреченная на живодерню кляча, выражал свою радость нас видеть прыжками и криками.

Прошел еще год. Мы опять возили картошку. Со станции возвращались пешком. На выезде из Добрина немецкие рабочие, чинившие дорогу, закусывали, сидя на обочине. Вицке сидел в стороне. Меня опять поразила еще больше обозначившаяся костлявость его сгорбленной спины и огромных ног, согнутых в коленях острыми углами. В его мертвенно-бледном лице не было ни кровинки.

Я подошел к нему поздороваться. Он с трудом поднял голову и посмотрел на меня. На мгновение на его губах появилась слабая улыбка, но сейчас же, словно он вдруг забыл обо мне, его лицо снова приняло усталое, отсутствующее выражение. Я выпустил его руку. Она тяжело выскользнула из моей разжавшейся ладони и как неживая постороняя ему вещь легла рядом с ним на траву.

Показывая на него глазами, стоявшая тут же женщина, которая, видимо, принесла Вицке полдник, равнодушно сказала нашему вахману:

— Совсем плох, грудная болезнь.

Докурив папиросу, недовольный задержкой вахман, крикнул нам:

— Los Mensch, es ist bald zwölf!*)

Через несколько дней мы снова шли пешком со станции. Те же немцы работали на дороге. Но Вицке с ними не было. Я узнал одного из рабочих — это был Зеро. Я спросил у него:

— А где же Вицке, передайте ему от меня привет.

Не узнав меня, Зеро смотрел, озадаченно и недоверчиво улыбаясь. Наконец, поняв о чем я спрашиваю, обрадованно сказал:

— Witzke kaputt, tot.**)

— Когда?

— Вчера похоронили.

XII

На ферме картошки давали вволю, да и хлеба хватало. «Бауэр» понимал — как нужно кормить скотину, так и пленных нужно кормить, а то не справятся с работой. Главое же, стали регулярно приходить посылки из Франции. Но мы еще долго набрасывались на еду со звериной жадностью. Страх никогда не насытиться. Картошка больше уже не лезет в горло, но вспомнишь добринский голод и снова запихиваешь в рот ложку за ложкой. И каждый раз было жалко вставать из-за стола.

В моем новом «командо» нас было всего пять человек. Поселили нас на конюшне, в каморке для сбруи. С самого начала мы зажили настоящей коммуной. Когда получали из дому посылки, делили съестное и табак, всем поровну. Да и с соседним «командо» скоро завязались дружеские отношения. Я с удивлением вспоминал теперь, в каком узком кругу я жил до войны: несколько «вырванных с корнем» завсегдатаев монпарнасских кафе, собрания у Мануши — и это все. А среди людей, на улицах, в метро, в учреждениях, я чувствовал себя чужим. Мне и в голову не могло прийти с кем-нибудь из них заговорить. Я стеснялся и моего дурного французского языка, и моих непонятных им мечтаний и моего неучастия в заботах их жизни, казавшейся мне скучной и страшной. Мне не о чем было с ними говорить. Я боялся их и в то же время чувствовал себя перед ними виноватым. Ведь это они создавали своим трудом все, чем я пользовался: одежду, еду, освещение, дома, улицы, знание, книги. До войны меня так мучало что я не живу как все, как принято, что у меня нет ни жены, ни постоянного заработка. Какой-то непри-

---

*) Давай, человечины, скоро двенадцать.

**) Вицке капут, умер.

способленный, отверженный, никому не нужный. А теперь я занимал определенное «общественное положение», — жил как тысячи моих товарищей, так же тяжело работал как они, был такой же французский военнопленный. И они, не смущаясь моим странным для них именем, тоже смотрели на меня, как на своего, понятного им человека, который думает и чувствует как они, как «мы все». А денег и жен у нас ни у кого не было.

В моем новом командо я особенно подружился с Бернаром. Сын крестьянина из под Шартра, он весил, когда родился, всего полтора кило. „Comme un rat!“*) — рассказывал он со смехом. И было видно, что недоносок. Уж очень мал, с цыплячьей грудью и какая-то незаконченность в чертах лица. Смотря на его широкие ноздри и необыкновенно маленький, с плоским затылком череп, я вспоминал из какой-то книги по антропологии, что в Европе еще попадаются индивидуумы с чертами неандертальского человека. Но словно в награду за невзрачность, природа наделила Бернара неистощимой жизненной энергией. Он лучше всех переносил недоедание, усталость, холод и жажду, спал четыре часа и был непрерывно чем-нибудь деятельно занят. Он мог сработать больше и быстрее, чем самый здоровенный немец, и без натуги подымал с земли стокиловый мешок муки. Вообще, несмотря на щуплость и малый рост, был и в работе и по всем замашкам — гигант, богатырь, Гаргантюа, ел больше всех, иногда даже ночью просыпался и съедал котелок оставшейся от ужина холодной картошки. И голос у него был как у Соловья-разбойника: крикнет на лошадей или засвистит и, вправду, стекла дрожат. Одного занятия ему было мало. Делая какую-нибудь работу, он успевал совершить еще множество посторонних действий и видел, чувствовал все, что происходит на ферме, в поле, в лесу, как я чувствовал только мою жизнь.

Раз, во время уборки мы возвращались вечером с дальнего поля.

Усталый после тяжелой работы, я лежал на возу, блаженно предвкушая, как сейчас мы приедем, и я смогу, наконец, лечь на койку и открыть книгу. Багровое солнце уже садилось за рощу на краю поля. Бернар правил лошадьми и одновременно читал одну из тех маленьких книжонок, какие я видел до войны только в железнодорожных киосках, еще недоумевал, кто их покупает: «Полный роман — 70 сантимов». Мы въехали в лес. На мгновение отрываясь от чтения, Бернар иногда мне показывал кнутом на какое-нибудь ничем для меня не ознаменовенное место и говорил, что там ночевал заяц или олень перешел дорогу. Вдруг, не останавливая лошадей, он соскользнул с воза и бросился в чащу терновика и молодых ёлок. Через мгновение вернулся с большим грибом-боровиком в руке и, догнав воз, влез на ходу и снова погрузился в чтение своей книжонки. А я чувствовал такую усталость, что лежи на дороге слиток золота, и то кажется не слез бы поднять. Удивительнее всего мне было, как Бернар увидел этот гриб. Ведь уже темнело.

---

*) Как крыса!

У него не руки были, а какие-то мозолистые лапки со звериными коготками, но он с чудесной ловкостью умел делать этими лапками всякую работу в поле и на ферме: и мотор починить, и сбрую, и одежду и сапоги, и ловить блох, мышей, крыс, воробьев. Ни одной летающей или бегающей твари он не мог видеть без того, чтобы не попытаться ее поймать, если только была к тому малейшая возможность. При этом он начинал двигаться неимоверно быстро, каким-то зверино-проворным подскоком. Раз он даже ухитрился убить палкой зайца. Впрочем, это была темная история. Бернар уверял, что «заяц сам на него бросился».

Я не мог спокойно смотреть, как он убивает полевых мышей.

— Они же вредные, — удивлялся он, — урожай едят.

— Да тебе что за дело, они немецкий урожай едят, — говорил я в сердцах.

Он обещал мне больше этого не делать, но это было свыше его сил. Тогда, чтобы задобрить меня, он стал уверять, что убивает маленьких мышенят из жалости, так как теперь, после того как свезли с поля снопы, они все равно погибнут от холода.

Меня отталкивала эта непонятная мне жестокость, а с другой стороны я видел, что как бы Бернар ни был утомлен, ему и в голову не могло прийти не задать во время корм лошадям, — скорее сам бы не доел и не доспал. Летом в обеденный отдых он не присаживался, все носил в ведрах воду на конюшню. И всегда заботился, чтобы лошади не работали через силу. Раз, чистя коровник, мы по неопытности навалили на телегу слишком много навоза. Макс, старый костлявый мерин, несмотря на все наши понукания, не хотел сдвинуться с места. Подошел Бернар, сердито на нас взглянув сказал:

— Il est comme un homme, il a compris et il dit merde!*)

Как-то само собой пошло, что самая тяжелая, грязная и неприятная работа наваливалась на Бернара. И немцы, и поляки, и мы сами так привыкли к этому, что стали считать чем-то естественным. Когда нужно было сделать что-нибудь особенно трудное, посмеиваясь говорили: «Бернар сделает». И Бернар действительно делал с готовностью и почти гордый тем, что его зовут на подмогу. Впрочем и звать не нужно было, он сам первый бросался, когда видел, что кто-нибудь не справляется с работой и нужно пособить. И странно, никто не был ему за это благодарен, принимали как должное, словно считая, что он обязан делать все самое тяжелое, так как ни на что лучшее не способен.

Он вставал раньше нас всех, еще до света. Задавал корм лошадям и чистил их. На его попечении было четыре лошади. За остальными четырьмя ходил Станислав, работник поляк, сорокалетний курносый рябой мужик, до того похожий на русского, что я все не мог привыкнуть, что он только с трудом меня понимает, когда я говорил по-русски. Из нашей каморки я слышал, как они чистят

---

*) Он как человек понял и говорит...

скребницами лошадей. Вот глухое с тонким присвистом ржание Макса и голос Бернара, укоризненно говорящего: „Regarde, comment que tu es, vieille baderne!“*) Вот Станислав, Станис, как мы его сокращенно называли, спрашивает: «Бернар, повдежь, а ты там ве Франции коние машь?» Бернар со смешком: «никс компри».**) Вот истерически заржала Пиша, маленькая красная лошадь, с еще не изуродованными работой женственно-грациозными формами. «Эх, Пиша-Мариша», — укоризненно вздыхает Станис. Польские, французские и ломанные немецкие слова, ржание и топанье копыт, все сливалось в одну общую беседу, в которой лошади, казалось, принимали участие на равных с Бернаром и Станисом началах. Я слушал, чувствуя, как мне в душу входит непонятное успокоение. А вечером Бернар кончал работу позже всех. Мы уже давно отдыхали, когда, убравшись с лошадьми, он входил, наконец, в нашу каморку. С маленькой улыбочкой сообщив нам что-нибудь казавшееся ему занятным, но нам совсем не интересное, например, что „La petite bourrique etait grincheuse aujourd'hui“,***) он влезал на свою койку под потолком и сейчас же принимался за работу, чинил себе или кому-нибудь из нас обувь или платье, а то бил блох.

Вшей у нас давно уже не было, но как мы ни кипятили белье, одежду и одеяла, все не могли избавиться от блох. Говорили, это в песке они водятся или на курах. Для меня это было ужасное огорчение. После ужина остается до сна час-полтора, хочется почитать хоть немного, а тут сиди и охоться за прыгающими с восхитительной резвостью маленькими, как точки, насекомыми. Но скоро я заметил, что товарищи дают бить блох Бернару. Бывало Эжен, укрывшись одеялом, лежит с книгой, а Бернар выискивает блох в его рубахе. Сначала меня это возмущало, но кончилось тем, что я стал делать, как все. Раз в воскресенье Бернар убил в моем одеяле больше двухсот блох. Все ногти у него были в крови.

Постепенно мы засыпали один за другим, а Бернар, возясь с чем-нибудь, продолжал рассказывать свои военные воспоминания. Скоро мы знали их наизусть. Рассказывал он плохо, торопясь, шешелявя, смеясь в самых неподходящих местах и время от времени возбужденно вскрикивая: „ah, gars!“****) Обычно я засыпал, когда он доходил до события, казавшегося ему очень смешным: как они отбили немецкую атаку и только один очумелый молодой немец вскочил к ним в окоп и кричит: «никс капут!» Но сквозь сон я еще долго слышал, как Бернар, захлебываясь, продолжает рассказывать и вскрикивает: „ah, gars!“. То, что все уже спят и никто его не слушает, его нисколько не смущало.

Только иногда ему вдруг казалось, что все над ним смеются, считают деревенщиной. Он мрачнел, отвечал всем грубо, грозил,

---

*) Посмотри, на что ты похож, старая галоша.
**) Я не понял.
***) Маленькая кобылка (буквально ослица) сегодня поворчивала.
****) А, ребята.

что больше никому ничего не будет делать: „J'aime bien rendre service, mais je ne veux pas qu'on me prenne pour un con.“*)

Но эти припадки угрюмости продолжались у него недолго. Потребность в деятельности для других была в нем слишком сильна.

Бернар был единственный деревенский у нас в «командо». Остальные — Эжен, Жан, Морис — фабричные. Они уже понимали, что ничем не отличаются от молодых людей буржуазного класса, также могут причесываться по-модному и танцевать новые танцы и что поэтому нет никакого основания для того, что они должны работать, а «папенькины сынки», ничего не делая, могут хорошо одеваться и ходить в дорогие дансинги. И они были коммунистами, так как думали, что в Советском Союзе хотят дать рабочей молодежи такие же возможности хорошо одеваться и веселиться, какие во Франции только у богатых. Один Бернар не завидовал буржуазным городским молодым людям, с их прическами и дансингами. Наоборот, смотрел на них с презрением, как на бездельников, и не только мирился с тяжелой деревенской жизнью, а любил ее и ни за что не променял бы на городскую.

— Ah, mon pote, ils seront perdus dans la nature!“**) — светясь непередаваемой, насмешливой улыбкой, говорил он о Жане, Эжене и Морисе, забывая, что из всех городских именно я был самый неприспособленный к деревенской жизни. Но мне он почему-то все прощал и не только не смеялся надо мною, что я не умею работать, а, наоборот, всегда подсоблял мне. Возможно, что моя непостижимая для него способность говорить на нескольких языках и целыми часами, не двигаясь, читать толстые книги, вызывала в нем такое же уважение, как во мне его неутомимость, сноровка, умение делать любую работу способность видеть в темноте и по собачьи безошибочно находить дорогу в поле и в лесу.

Послушать Бернара — не было человека кровожаднее его. Споря со мной о том, что делать с немцами после войны, он кричал:

— Их всех нужно поубивать, всех, всех даже женщин и детей! Ох, до чего мне хотелось бы, — прибавлял он со свирепой мечтательностью, — увидеть, как они побегут по дорогам, а самолеты их из пулеметов: та-та-та-та. . . Как они во Франции делали.

Но я много раз видел, как он отдавал свой шоколад немецким детям. А когда кому-нибудь из „Leute“***) нужна была помощь, то они просили Бернара и он никогда не отказывал. Бывало, мы давно уже отдыхаем, а он все возит им картошку или бураки.

---

*) Я люблю оказать услугу, но я не желаю, чтобы меня принимали за . . .
**) Они пропадут в природе, корешок.
***) Батраки.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Еще накануне работник немец Маузольф говорил с танственным видом: «Россия согласилась предоставить немецкой армии одну дорогу для свободного прохода в Азию на соединение с японцами».

С утра, вдали по проселку, огромным змием извивался бесконечный поезд крытых военных грузовиков. Мы работали, уходили обедать, опять работали, а они все виднелись там, на освещенных солнцем холмах: то медленно двигались, то стояли, ожидая когда можно будет ехать дальше. Все дороги впереди были, видимо,забиты.

Морис работал на дальнем поле, как раз около дороги. Он рассказывал вечером, что грузовики были совсем новые, а солдаты — молодец к молодцу, рослые, хорошо одетые. Он сказал: „Tout de meme, ils ont une armee nickel, les salauds!“*)

На следующий день мы, как всегда, работали в поле. Из-за леса выехала и стала быстро приближаться телега. Это возвращался из города сосед «бауэр». Стоя на передке, крутя над головой вожжами, он гнал лошадей вскачь. Это было странно. «Бауэры» обыкновенно так шибко не ездили. Мотаясь на ухабах, телега прогромыхала мимо. Взмыленные лошади храпели. У «бауэра» было озабоченно-нахмуренное лицо. Сзади него, свесив ноги, трясся Мечислав, работник поляк. Уплывая в облаке белой пыли, он успел мне крикнуть на своем ломаном русском языке:

— Война уже есть!

Вечером вахман расказывал, проезжавшие солдаты кричали: „Auf Wiedersehen in Moskau!“**) В его глазах светились огоньки блудливой радости и в то же время было видно — он боится. Что-то бесповоротное, решительное и грозное теперь началось.

*

После разгрома Франции, я не сомневался, что водоворот войны втянет и Россию. И странно, все поляки были в этом убеждены. Уже

---

*) А все-таки армия у этих сволочей первый сорт.
**) До встречи в Москве.

в самом начале, когда нас только привезли в лагерь, один, совсем чисто говоривший по-русски, сказал мне: «Двинулась Русь-Матушка». А Кубис, поляк с соседней фермы, еще в прошлом году божился, будто ему пишут из дому, что война с Россией уже началась. А теперь действительно началась. Быстрое, почти до самой Москвы, продвижение немцев. Миллионы пленных. Всё как в сороковом году во Франции. Было трудно не отчаяться. «Неужели никто не может устоять против них? — спрашивал я себя, чувствуя, как что-то темное наступает. — Тогда конец».

Не знаю, был ли я еще русским. Я уехал из России мальчиком, двадцать лет прожил в эмиграции. Но когда Маузольф рассказывал военные известия, я чувствовал, как сердце где-то ниже своего обычного места неудобно приваливается к твердым режущим ободьям ребер. Однажды, с трудом сдерживая дрожание нижней челюсти, я спросил Маузольфа, взят ли уже Ленинград. Мне ужасна была мысль, что немцы войдут в Петербург, победят русских. Морща узкий лоб от усилия вспомнить, что говорилось в сводке, Маузольф кивнул головой: „Drin!“*)

Конечно, Маузольфу нельзя было особенно верить. Еще недавно он спрашивал меня, где «аланик» — во Франции или в Африке. Я даже не сразу понял, что это он об Атлантическом океане спрашивает. И все-таки за это „drin“ я почувствовал к нему такую ненависть, что мне стало трудно дышать. Я должен был отвернуться. Слава Богу, это оказалось неправдой. Наоборот, в глухих обмолвках газет и в недоуменных рассказах немцев, уже проскальзывала тревога: сопротивление разбитой и уничтоженной Красной армии не только не ослабевало, а становилось все ожесточеннее.

Я и прежде со страстным интересом следил за военными событиями, а теперь, когда война шла в России, ни о чем другом не мог думать. Я не понимал, как мои товарищи по плену могут по-прежнему говорить о посторонних вещах, шутить, смеяться, когда убивают русских, убивают Россию. Немецкие победы на востоке обрушились на меня как личное, непереносимое горе. Засыпая по вечерам, я с недоумением думал, как судьба могла обречь меня на такое страдание, на такое страшное чувство гибели, уничтожения всего, что я любил. Я не выдержу этой тяжести, не смогу больше жить.

Только одного я хотел, только об одном молился: чтобы русские победили. А для себя — только дожить до конца войны, увидеть разгром Германии, а там — хоть умереть. Я понимал, что немцы о прямо противоположном молятся. Как же тогда Бог, если только он есть, может исполнить все молитвы? Но, как всегда, когда я чего-нибудь очень хотел или очень боялся, я чувствовал, нужно как в детстве, не рассуждая, просить кого-то Всемогущего, Всевидящего, Справедливого сделать все по моей молитве. Даже в дни отчаяния и сомнений, когда приходили все новые известия о немец-

---

*) Взят.

ких победах, я знал всем моим существом, что Германия будет побеждена. Не могла история людей, после всего что было — Нагорной проповеди, провозглашения прав человека, великих открытий — кончиться царством Гитлера. Это было бы слишком отвратительно и бессмыленно.

Но тут опять возражал рассудок: «Ага, значит ты хочешь обеспеченного хорошего конца, но ведь тогда бы не было свободы». Стараясь заглушить беспокойство, я говорил себе: «Все равно никто не знает, как все это устроено на самом деле, а мне страшно поверить, что вселенная не имеет человеческого значения».

Впрочем, я так ненавидел гитлеровскую Германию, что даже на это соглашался: пусть история не ведет к исполнению надежды, пусть нет вечной жизни и справедливости, пусть все в мире трагически абсурдно, но лишь бы Гитлера победили. Ведь это достижимо, в ту войну Германию победили, победа в человеческой власти, и я только умоляю, чтобы не помешали непредвиденные стихийные обстоятельства.

Среди этих бессонных мыслей мне часто приходило мучительное и тоскливое воспоминание, которое я напрасно пытался отогнать. О чем я молюсь, о чем прошу? Да, Россия — союзница демократий и победа России будет победой над злом национал-социализма. Но вместе с тем, это будет победа большевиков, о которых я с детства знал: это жестокие, безжалостные люди. С их именем связывались страшные воспоминания: сыпняк, голод, беспризорные, человеческий мозг на стенах в подвалах Чека, миллионы заморенных в концлагерях. И они хотят прямо противоположного тому, чего я хочу. Их цель — остановить движение человечества к тому, что мне открылось на мгновение, когда я лежал на холме под бомбами. Они не только не хотят этого для себя, но преследуют всех, кто к этому стремится, хотят вытравить это из сознания людей. Так же, как победа Гитлера, их победа будет значить конец всего, в чем я видел значение жизни. Как же я молюсь, чтобы они победили?

Чтобы отогнать эти смущающие мысли, я говорил себе: «Но ведь это было давно, во время гражданской войны, с тех пор, может быть, многое изменилось, не могло не измениться. Ведь не воевали бы так русские, если бы не изменилось. Чтобы выиграть войну, власть вынуждена была пойти на уступки, на примирение с народом. Да и правда ли все, о чем писали эмигрантские газеты? Всегда сообщения вроде, что вот в колхозе таком-то выстроили школу, да крыша провалилась. А теперь даже немецкие газеты пишут об огромной военной промышленности. Или почти все эмигранты были уверены: Красная армия побежит при первом выстреле. А вот не только не побежала, а остановила непобедимый «вермахт», перед которым до сих пор ни одна другая армия не могла устоять.

Кругом на фермах работало много поляков и галичан из областей, занятых в начале войны Красной армией. С надеждой и тре-

вогой я расспрашивал их, как было при русских, лучше ли, хуже ли; чем при немцах?

Эти люди люто ненавидели немцев, но по их недоуменным рассказам я видел, что и о русских они не могут вспомнить ничего хорошего. У некоторых семьи выслали в Туркестан или на север, на лесозаготовки. А опоздал на работу — суд. Только хлеба давали, пожалуй, больше, чем при немцах. А так — «одна курва».

После таких ответов я не хотел больше с ними разговаривать, они мне казались чуть ли не изменниками. Но невольно, как я ни убеждал себя, что большевики уже не те, я чувствовал, как по-прежнему что-то страшное начиналось с их приходом — нечеловеческий мир. Но я помнил, теперь должна быть только одна цель — победить Германию. И ведь победа России будет и победой демократии и большевики изменятся, все устроится и я молюсь вовсе не о победе большевиков, а о победе русского народа, который несет всю тяжесть этой страшной войны и продолжает борьбу в таких условиях, при которых всякий другой народ давно бы сдался. Это все тот же кроткий, терпеливый, мудрый, святой русский народ, о котором писал Лев Толстой, а большевизм — только искажение всегдашнего стремления этого народа жить по Правде. И это уже не в первый раз в истории русские — рабы, варвары, скифы — спасают Европу своей кровью. В эту зиму мне часто вспоминалось из Некрасова: «а по бокам-то все косточки русские».

Ездивший в лагерь вахман рассказывал о русских пленных: «Это скорее животные, чем люди. ‚Унтерменши‘, — взглянул он на меня неуверенно. — Они все больны. Каждый день умирает 200-300 человек. В пояснение он наивно прибавил: «голодный тиф».

Я скоро понял, какая находка это слово — унтерменши. Наш вахман, тупой, но добродушный человек, может быть осудил бы в душе уничтожение русских пленных. Но когда до его сонного сознания дошло, что русские только с виду люди, ему стало казаться естественным, что к ним не применяются правила человечности. И многие другие немцы, даже самые добродушные и совестливые, в буквальном смысле поняли, что русские — не люди, и поэтому соглашались, что их нужно истреблять, как истребляют волков или крыс.

Только один вахман из соседнего командо — колченогий, кривобокий и почти горбатый — утверждал, что русские такие же люди, как немцы. Слушая его, «цивили» только презрительно улыбались. Они не понимали, что в его хилом теле дышит дух человеческой правды, и им было стыдно, что среди них, немцев, мог оказаться такой слабый, никчемный человек. Он не так как другие немцы, понижая голос и с опасливой оглядкой, а громко и бесстрашно ругал Гитлера. Не обращая внимания на присутствие «цивилей», он говорил нам с возмущением: «Здесь народ глупый. Верят всему, что бауэры им говорят. У нас, в Саксонии, не так. Там все рабочие — социалисты. Вы думаете, вся эта история с поджогом рейхстага

правда? Это сами нацисты подожгли. А выборы? Тоже все было подстроено».

Болезненно возбуждаясь, брызгая слюной и выкатывая рыбьи глаза, он кричал с какой-то идиотической запальчивостью: «Всех их диктаторов — Гитлера, Муссолини, Сталина, Черчилля — собрать и свезти куда-нибудь на необитаемый остров. Дать каждому по шпаге: пожалуйста, воюйте, если хотите».

Одно время он был вахманом при русских пленных. «Хорошие люди и у всех красивые глаза, а зубы все до одного целые», — рассказывал он, восхищенно улыбаясь и не замечая угрюмых взглядов «цивилей». Он недолго оставался в соседнем командо. Скоро его куда-то перевели, или, может быть, кто-нибудь на него донес.

*

До того, как началась война с Россией, я почти с гордостью думал о том, как много я перенес: поражение всего, во что я верил, разлуку с близкими, голод, рабство каторжный труд. Но слушая рассказы, как из ближнего лагеря для русских пленных грузовики каждый день увозили трупы, как иногда в груде наваленных голых тел еще шевелилась рука или нога и капала на дорогу кровь, я перестал думать о том, какой я несчастный. Ужас перед страданиями русских пленных заслонил во мне сожаление о моей собственной жизни. Теперь, когда я ложился вечером на мой набитый соломой тюфяк, мне было стыдно нашего благополучия на ферме.

Из тридцати тысяч русских пленных, пригнанных в лагерь, вымерло за зиму более двадцати тысяч. Тех, кто выжил, стали посылать на работу в командо. Весной на многих соседних фермах появились русские. Но они еле держались на ногах, не могли работать. Совсем слабых вахманы пристреливали, добивали прикладами. Других, покрепче, стали подкармливать. Когда поднялись хлеба, среди русских начались побеги. Шли по звездам на восток. Днем прятались в лесах, лежали во ржи. Немцы устраивали облавы с собаками. Немецкие женщины боялись отходить от дворов.

Нас не подпускали к русским. Только во время уборки мы их видели издали в поле. Я силился их рассмотреть, но слишком далеко было. Подавая снопы, босые люди ходили вокруг возов. Мне показалось — один был калмык. Их сторожили зеленосерые, почти голубые, вахманы с карабинами. Давно привычный вид: рабы — надсмотрщики. Верно и в дни Ассура так было.

Как-то в воскресенье, подкупленный папиросами и шоколадом вахман повел нас в соседнюю деревню навестить товарищей. Когда мы вышли на главную улицу, я сперва даже не понял, что произошло. Мы вдруг попали в другой мир. Хор сильных мужских голосов дружно подхватил припев знакомой с детства русской песни. Торжественная и грустная, и удалая, она грянула вдоль улицы вольно и широко. Словно стая птиц поднялась с берега большой реки, те-

кущей по бескрайной равнине. Дома немецкой деревни, мутнея, исчезали.

Я сразу же, еще издали, увидел обнесенную колючей проволокой хибарку с решетками на окнах. Когда мы подошли ближе, песня кончилась. За оконной решеткой наступило молчание. Потом чей-то голос спросил: «Николай Иваныч, что теперь петь будем?»

— Давай «Чайку», — ответил человек, сидевший спиной к окну.

Так вот они, большевики, спасаясь от которых двадцать лет тому назад мои родители увезли меня из России. У них были по-родному, по-домашнему, знакомые мне голоса. Сквозь железные прутья решетки я неясно различал их головы и плечи. Что-то они чувствовали теперь, голодные, несчастные?

*

Только на станции в Линде мне удавалось иногда перекинуться с русскими несколькими торопливыми словами. Но это были не военнопленные, а «остовцы».

Я любил эти поездки в Линде, хотя нагружать вагоны картошкой — работа нелегкая. Но после скуки однообразных дней на ферме радостно возбуждало царившее здесь будто праздничное оживление. Чувство, — как будто с отмели попал на стремнину. Столько всякого народа — немцы, поляки, латыши, голландцы, бельгийцы, французы из других командо. Потом прибавились еще сербы, большей частью рослые и красивые. Они говорили на языке, похожем на русский, но некоторые были уже по-восточному черно-бровые и носатые, с черными гайдучьими усами. Еще позднее, появились американцы, веселые и щедрые, с карманами, набитыми папиросами; самыми последними — итальянцы в альпийских шапочках с пером.

К каждому подходишь и заговариваешь, как со своим, с уверенностью, что он тебе обрадуется. Простым людям всегда приятно втсретить на чужбине, да еще в беде, человека, хотя и плохо, но понимающего по-ихнему. Да и говорить я буду как раз о том, о чем они хотят услышать: немцев скоро разобьют, война кончится и мы все поедем по домам. Но когда стали появляться первые «остовцы», я почувствовал, что боюсь к ним подойти. Я смотрел на них во все глаза и сердце сжималось у меня от жалости и тревоги. Больше двадцати лет прошло стех пор, как я уехал из России и я с волнением спрашивал себя, какие стали теперь русские, как они покажутся мне среди иностранцев. В первое время меня болезненно удивляло, что они вовсе не такого большого роста, какого, по моим оставшимся с детства представлениям, должны были быть русские мужики и солдаты. Правда, это все были молодые ребята, на вид лет шестнадцати, семнадцати, бедно и неуклюже одетые. Пока не привык мне мешала забытая за годы жизни на западе финская скуластость их лиц. Но потом я стал узнавать особенный русский светлый оттенок кожи и русые волосы.

Первые рзговоры с «остовцами» меня поразили. Я боялся, что они за немцев, а они не только ненавидели немцев еще больше, чем мы, но — чего я совсем не ждал — хвалили свою жизнь дома. Я ушам своим не верил, настолько все, что они говорили, противоречило моему эмигрантскому знанию, как тяжело всем живется в России и что весь народ против советской власти. Но скоро я не мог больше сомневаться. Какого «остовца» ни встретишь, все те же горделивые рассказы. Все они кончили «семилетку» или «десятилетку». «Изучали» историю, сельское хозяйство, литературу. В колхозах с каждым годом все легче становилось. Только перед войной опять тяжелые налоги ввели.

Впоследствии, уже вернувшись в Париж, я с удивлением вспоминал эти рассказы, совсем не похожие на то, что писали «ди-пи» в эмигрантских газетах и журналах. Тогда мне стало приходить в голову, что, может быть, и мои «остовцы» вовсе не были до войны такими уж советскими патриотами. Но я встречался с ними, когда обида на жестокое и презрительное отношение к ним немцев и слухи, что русские остановили немецкое нашествие, вызвали в них перелом. Желание доказать, что они вовсе не «унтерменши», и страх, чтобы их не попрекнули потом за то, что не участвовали в борьбе с немцами, заставляли их хвалить передо мной все русское, советское.

Еще другое предположение приходило мне в голову. Видя, что я против немцев, они старались ко мне подделаться. И я действительно готов был слушать только то, что подтверждало мою веру, что весь народ теперь против немцев. Обо всем, что не соответствовало этой моей вере, я старался не думать. Так, когда один «остовец» с озлоблением рассказывал мне о тяжелой, нищей и несправедливой жизни в колхозе, я слушал его с сочуствием, не сомневаясь, что он говорит правду. Но когда он с таким же озлоблением стал говорить о партизанах, что они только вредят населению, я не хотел его больше слушать. Мне казалось, он перешел на сторону гитлеровской Германии, на сторону зла.

Однажды в Линде, толкнув меня локтем, товарищ с хохотом показал мне в толпе на человека, который, по-видимому, казался ему очень смешным и нелепым. Это был невзрачный, тощий, с покатыми плечами, малого роста мужичонка, с лицом, заросшим большой клочковатой бородой. Одет он был как актер в пьесах из крестьянской жизни: в длинной рубахе, с косым воротом и с ластовицами, в портках в полоску.

— Посмотри, что у этого чучела на ногах, — давился от смеха товарищ.

Мужичонка был в лаптях. Это в первый раз в жизни я видел лапти не на актере, а на настоящем мужике. Я понимал, что простолюдину-французу этот человек должен был казаться странным, может быть, даже не совсем нормальным. «Откуда он, — подумал я, — он вряд ли советский... Из советских никто так не одет». Я подошел к нему:

— Скажите, откуда вы?

— А мы из-под Двинска, то есть Дюнабург по-теперешнему.

Я спросил тогда:

— Как вы думаете, кто победит?

Смотря на меня сверлящим из-под косматых бровей взглядом, видимо, стараясь понять, кто я такой, он сказал, будто не поняв моего вопроса:

— То есть, как это — кто победит?

— Ну да, кто победит — Россия или Германия?

Тогда он насмешливо ответил:

— Как же, известно, кто! — И пошел к телеге своего бауэра. Тот сердито стал ему что-то выговаривать. Но он не испугался. Удобнее усаживаясь на передке телеги, он дерзко ответил по-русски: — Подожди, дай дерюгу под . . . подложить.

С одним из «остовцев» меня познакомил Бернар. С тех пор, как Россия участвовала в войне, он стал относиться ко мне еще дружественнее, чем прежде. Работая на дальнем поле, он, по его словам, «разговорился» с одним русским. Он не объяснил на каком языке. На мои вопросы, как выглядел этот русский, Бернар сказал с той маленькой усмешкой, с какой он обычно говорил о лошадях, вообще о существах, которые ему нравились:

— Oh, il était tout rond.*) — Потом, помолчав, прибавил: — Il est comme moi.**) — Ему, видимо, приятно было думать, что в России живут такие же, как он, не похожие на городских, деревенские, лесные люди.

В воскресенье Бернар повел меня на место, где он встретил в поле русского. Нам повезло: русский как раз пас стадо. На вид — лет самнадцати, с выгоревшими волосами. Бернар был прав: у него было совсем круглое лицо, с детским носом пуговкой.

— Нагрузка, — сказал он, насмешливо показывая бровями на коров на лугу.

Я спросил:

— Вы дома тоже в деревне работали?

— Я не работал, я занимался, — ответил он гордо.

Он твердо был убежден, что русские победят:

— Это только вначале немцы легко продвигались. Многие украинцы думали: «Чего воевать, лучше по домам разойтись». Ну, а как немцы до настоящей России дошли, тут весь народ поднялся.

Уж не подлаживается ли он ко мне, видя, что я против немцев? Мне хотелось допытаться, что он думает на самом деле.

— Конечно, вредительство было, — сказал он нехотя. — Там, где до . . . , туда подбрасывают, а где ни . . . , туда не везут. Вот в 32-ом году здоровая голодовка была. Дядька мой тогда еще помер. А потом хорошо стало. Не то что здесь. Знал бы, лучше бы в пар-

---

*) Он совсем круглый.

**) Он такой, как я.

тизанку ушел. Сам увидишь, если русские сюда придут, здесь тоже российские порядки установятся. Панов не будет.

Я радовался его словам, подтверждавшим мою надежду, что в борьбе с немецким нашествием произошло примирение между народом и властью. Но когда я его спросил, все ли «остовцы» так думают, как он, он сказал:

— Нет, это только я такой отчаянный русский.

Эти слишком короткие встречи оставляли неясное впечатление. Я только чувствовал, что советские люди не такие, как я представлял их себе по эмигрантским и советским журналам, но какие они на самом деле, какая жизнь в России, я не мог понять и меня это мучало.

II

Шла уже третья зима в плену. Письма из Франции становились все тревожнее, все грустнее, но вместе с тем в них чувствовалась теперь надежда. С моими друзьями мы переписывались иносказательными выражениями: «с доверием читаю англо-саксонскую литературу», потом — когда война дошла до России — «перечитываю ‚Войну и мир'!» Меня радовало, что мы по-прежнему думаем и чувствуем одинаково. Одно огорчало: Мануша и Ваня мне не отвечали. В ответ на мои вопросы, мне писали: они оба тяжело больны «распространенным теперь хроническим гриппом». Я догадывался, что это значит, и меня беспокоило и мучило, что они всё «не выздоравливают». В плену мы ничего не знали о начавшемся во Франции движении сопротивления. Но когда мне написали: «Ваня умер. Не можем теперь всего тебе написать. Когда вернешься, узнаешь», у меня не было сомнения, что это немцы его убили.

Я думал о Ване с восхищением и любовью, но, странно, я не мог почувствовать его смерти. Я так давно уехал из Парижа и не знал, вернусь ли, увижу ли когда-нибудь всех оставшихся во Франции. Они так недостижимо далеко были, что я видел их всех, и живых, и умерших, словно с того света или с другой планеты.

*

Однажды в конце зимы жена нашего бауэра, лукаво блестя глазами, сказала мне:

— Владимир, из лагеря пришло извещение, какая-то дама приехала тебя повидать.

Я сказал:

— Это, верно, мой отец.

Проживавшие в Германии родственники французских пленных получили недавно право навестить их в лагерях и отец писал мне из оккупированной Праги, что будет хлопотать о разрешении ко мне приехать.

— Нет, нет, в извещении сказано «дама», — смеясь, настаивала хозяйка.

Я был уверен, она ошибается, и все-таки почувствовал давно забытое сладостное волнение. Я вдруг, в самом деле, это какая-то любящая меня женщина приехала меня навестить. Но как она могла оказаться в Германии? И кто она?

Выехали еще до света. Не понимаю, как Бернар находил дорогу. Я едва различал в темноте его спину и спину сидевшего с ним рядом нахохлившегося вахмана. А Бернар еще повез не по шоссе, а напрямик, через поле. В холодном ночном тумане по обеим сторонам призрачно голубели снега. Я начал дремать, как вдруг сани поднялись на сугроб и почти отвесно съехали вниз. Я испугался: сейчас перевернемся. На дне оврага мы переехали через замерзший ручей. По его берегам торчали из снега черные голые прутья лозняка. Почему-то мне ужасно унылым все это показалось.

На той стороне оврага, по просеке, лошадь побежала шибче. Прощально и дремотно помавая над нами заиндевелыми поникшими ветвями, проплывали огромные березы, за ними плотными рядами стояли молодые красностволовые сосны.

На рассвете был лютый мороз. Окоченевшие ноги мучительно ныли. От боков лошади валил густой пар. Она вся дымилась, будто сгорая на бегу. Из леса выехали на тракт. Справа открылось занесенное снегом поле. То здесь, то там, в окнах редких придорожных домов зажигались огни.

— Ремусовское командо, — обернувшись сказал Бернар, показывая кнутовищем на стоявшую в стороне хибарку. В освещенных окнах двигались тени людей. Это наши товарищи собирались на работу. И опять, как когда мы переезжали ручей, но еще с большей силой, на меня нашла тоска: не только наша жизнь в плену на этой снежной равнине, но вся вообще жизнь людей на земле показалась мне печальной и безисходной.

Когда мы подъезжали к железной дороге, было уже совсем светло. От станции, позвякивая бубенцами, бодро бежал нам навстречу запряженный в сани вороной жеребец. Из под его копыт летели комья снега. В санях, подняв ворот собачьей шубы, сидел толстый, с черными крашеными усами бауэр, рядом с ним — молоденькая девушка в бархатном капоре. Она с любопытством посмотрела на нас по-детски спокойными, большими глазами, ярко блестевшими на розовом лице.

— Putain!*) — суживая замаслившиеся глаза, восхищенно сказал Бернар.

И мне тоже она показалась прелестной, как видение из зимней сказки. Уплывая в бесшумно скользивших санях, она будто ехала по небу на оленях и этот усатый бауэр был вовсе не бауэр, а укравший ее злой волшебник.

---

*) Б....

Когда через железную калитку мы проходили на перрон, станционный сторож, в тулупе с поднятым огромным воротом, вдруг приблизившись и странно взглянув мне в глаза, спросил грубым и вместе с тем братским голосом: „Was gibt es Neues?“*)

Я понял, о чем он спрашивает. Забилось сердце: он — немец, но такой же враг гитлеровского режима, как мы. Словно что-то почувствовав, беспокойно перебегая глазами по нашим лицам, к нам сейчас же подошел вахман. Сторож посмотрел на него тусклым, куда-то в глубину ушедшим взглядом, будто засыпая, зевнул и сказал:

— Поезд запаздывает. Französische Maschine,**) — добавил он в пояснение.

Наконец, поезд показался. Я смотрел с волнением. Что-то парижское, изящное, почти женственное мне представилось, когда сторож сказал: „Französische Maschine“. А из морозного тумана, высоко неся круглую, как щит, грудь, надвинулась темная громада. Под тысячепудовой тяжестью дрожала земля. И все-таки, глядя на спину чугунного чудовища, когда гневно пыхая огнем и курясь дымом и паром, оно остановилось у перрона, я почувствовал, как над нами воздвигается стеклянный навес Восточного вокзала.

В поезде встретились французы из незнакомого командо. Они тоже ехали со своим вахманом в лагерь. За разговорами не заметили, как приехали.

По дороге от вокзала в лагерь нам встретилась длинная колонна пленных. Мы давно уже привыкли к этому виду. Но эта колонна была ознаменована чем-то ужасным. От нее с необыкновенной, трагической силой исходил призыв о помощи.

— Russen,***) — сказал вахман, показывая на них движением подбородка.

Я смотрел во все глаза. Большинство было в темнозеленых лагерных балахонах, но на некоторых я сразу узнал серые русские шинели. Они шли понуро, не смотря по сторонам. Но вот один, вероятно почувствовав мой соболезнующий взгляд, поднял голову и жалостно мне улыбнулся. Другой, с разбухшим, обмороженным лицом, что-то бубнил своему соседу с таким же расстроенным выражением, с каким один мой знакомый в Париже жаловался на ревматизм. Вовсе не какие-то особенные, страшные существа — большевики, «унтерменши», — а самые обыкновенные люди, но только они умирают от голода и болезней.

Волнение и жалость мешали мне разглядеть их лица по отдельности. Они как-то сливались в колыхании рядов. Я только заметил, что голод придал им особую зловещую выразительность. Как в усмешке Смерти в «Пляске мертвых», за обозначившимися выступами лицевых костей уже проглядывало безобразие уничтожения.

---

*) Что нового?
**) Французский паровоз.
***) Русские.

Когда мы вошли в лагерь, первое что я увидел: у крыльца бани лежит мертвый. Я сразу понял — это русский. Он лежал на снегу как испорченная, никому больше не нужная вещь. Так в Париже по утрам выставляют на улицу баки с мусором, всякую рухлядь. Труп был странно короткий, скажешь кукла, если бы не ужасная желтизна босых, словно налитых черным парафином ног. Он лежал на спине смотря в небо открытыми глазами. На его чуть скуластом лице было выражение удивления. Обледенелая, смятая одежда вдавлена в живот, до того впалый, будто каток по нему проехал. Я чувствовал, как ледяной холод насквозь прожигает примерзшее к земле тело. И хотя я понимал, что теперь ему все равно, мне еще ужаснее, чем то, что он умер, было видеть, как он лежит так прямо на снегу.

Меня поразило, что здесь, видимо, никого не удивляло, что на улице лежит труп. Недовольно взглянув на него, все сейчас же поспешно отворачивались и шли дальше по своим делам. Казалось, никому из них не приходила мысль, что это был такой же человек, как они сами, и что у него где-то остались семья, родной город, целая жизнь, столь же для него важная, как им их жизнь.

Только впоследствии я понял, что в лагере люди были недостаточно сыты, чтобы позволить себе думать о смерти других, особенно русских. За прошлую зиму их столько тысяч умерло, да и теперь каждый день увозили. Все равно не помочь.

*

В бараке для проезжих было холодно. Я всё не мог согреться под тонким, как рядно, одеялом.

Я думал о завтрашней встрече. Мы не виделись с отцом почти пятнадцать лет. А как началась война, — целый год не имели друг о друге известий. Только после перемирия, разузнав через Париж, что я в плену, папа смог мне написать. Я хорошо помнил этот день. Вахман позвал меня с таинственным видом и дал мне открытку. Чувствуя, что он с любопытством на меня смотрит, я недоумевая, взял открытку и вдруг увидел почерк моего отца. Меня охватило тогда необъяснимое чувство: все события, встречи, возвращения и то, что одни люди умирают, а другие остаются, все происходит не по бессмысленному произволу случайных обстоятельств, а по таинственному Замыслу. После всех испытаний, измучивших меня, но верно необходимых, верно *предусмотренных*, еще будет жизнь.

Думая теперь, как я встречусь завтра с отцом, я снова испытывал это глубокое и торжественное чувство и в то же время страх и страдание, так как рассудок говорил мне: никто не знает, как на самом деле все проходит, в грозной неизвестности будущих событий наша жизнь ничем не обеспечена.

Я вспоминал мертвого русского у крыльца бани, и сердце у меня сжималось. Вокруг в холодной, смрадной тьме, на верхних и нижних нарах ворочались, стонали и храпели незнакомые мне люди,

мои товарищи по судьбе. Волнение мешало мне заснуть. Один вопрос меня все время смущал: вдруг окажется, что отец за немцев. В последние годы перед войной он все время сближался с правыми. Меня это огорчало. Я не понимал, как это могло быть. В детстве я был уверен, что папа не только самый замечательный человек на свете, самый сильный, умный, богатый, но и самый хороший, всегда за добро. Все, чему он меня учил, все, что он утверждал, всякое его мнение — было правдой. Тем тяжелее мне было, когда я стал демократом, видеть, как он поддается правым настроениям, которые все больше казались мне несовместимыми с человечностью. Я знал, — никакие расхождения во взглядах не могут изменить моей любви к отцу, и все-таки, как ни страшно мне это было, я чувствовал, что если, как многие эмигранты, мой отец теперь за немцев, я не смогу ему этого простить.

На следующий день, в десять часов утра часовой привел меня в помещение охраны. Голые, выкрашенные светло-зеленой краской стены. Такие комнаты бывают в больницах, тюрьмах, сумасшедших домах. В замерзшем окне — столбы с накрученной колючкой.

Вечность ожидания. И вот, наконец, дверь отворилась. «Цензор», с обычной немецкой почтительностью перед званиями, сказал: «Пожалуйста, господин профессор». И мой отец вошел из бездны пространства и времени, знакомым мне с детства движением нагибая голову вперед, чтобы лучше меня увидеть своими добрыми, близорукими глазами. Я сразу разглядел и узнал его лицо. Но только, как он изменился! Пройдя через годы, что мы не виделись, как через длинную анфиладу незнакомых мне темных залов, вернулся круглолицый, светловолосый отец моего детства, а седой старик. Он улыбался, но оголенный лоб, резко прорезанные морщины и болезненная напряженность в глазах придавали ему страдальческое выражение. И он был вовсе не такой высокий, как в моих воспоминаниях.

Мы поцеловались. Я почувствовал прикосновение его подстриженных щеткой усов. Мне было странно. Этот старый господин, всхлипывая, похлопывал меня по плечам. Он меня любит. Конечно, это мой отец. Но только у моего отца были русые, вьющиеся волосы, а у этого совсем белые, редкие и пушистые.

Теперь мы сидели друг против друга на стульях. Я не понимал, о чем мы говорим. Я только с мучительной жалостью и ужасом видел его провалившиеся между скулами прежде круглые, крепкие щеки. Он необъяснимо был похож теперь на немца: у старых поморских крестьян бывают такие лица с широкими скулами. И вместе с тем он был теперь какой-то по-петербургски подтянутый, сухощавый. От его прежней добродушно-медвежьей грузности не осталось и следа.

Я всё не мог отделаться от мешавшего мне впечатления, что я не вижу его *всего*, что он не может до конца вместиться в это слишком тесное для него обличье, которое он почему-то на себя *надел*.

После первых расспросов и после того, как отец рассказал мне,

сколько трудов ему стоило получить от Гестапо разрешение меня навестить, я не выдержал и, чувствуя как у меня кривится нижняя челюсть, спросил:

— За кого ты? Хочешь ли ты победы России или Германии?

Мы говорили по-русски. Цензор-эльзасец не мог нас понимать. Да он и не обращал на нас внимания. Присев на подоконник, он слушал радио. Приглушенные звуки едва до нас доходили. К моему удивлению, передавали русское хоровое пение.

— Видишь ли, — начал отец, смотря на меня испытующе и слегка торжественно, — двадцать лет я боролся с большевиками и не могу изменить моего прошлого. Как все эмигранты, я искренно считал, что большевики — захватчики и что народ их ненавидит. Но испытание войны показало, как во многом мы ошибались. После неслыханного героизма и жертвенности, проявленных русскими людьми в борьбе с немцами, нельзя больше сомневаться, что большевистская диктатура превратилась в процессе войны в русскую государственную власть. — Все с большей убежденностью он продолжал: — Но, если это так, то тогда тот, кто желает победы немцев — враг не большевиков только, а всего русского народа. И я сказал себе: если я люблю Россию, если я еще русский, я должен забыть о прошлом. Ты знаешь, я всегда был демократ, — при этом слове «демократ» он строго взглянул на меня, чтобы предупредить возможное с моей стороны возражение, — и вот, если русский народ идет с советской властью, то я подчиняюсь решению народа. — Чувствуя, что я с ним согласен, он добавил с улыбкой: — Не думай, мы в Праге не такие уж зубры. Мы даже служили тайные молебны о даровании победы христолюбивому красному воинству.

Я чувствовал облегчение. Такое счастье было знать, что мы на одной стороне, одного и того же хотим. Но я видел, отец не только хочет верить в возможность изменений в России, а считает, что эти изменения уже наступили. Теперь он верил всему, что прежде считал лживой большевистской пропагандой: «огромное строительство», «охвативший широкие массы творческий подъем. . .»

— Россия переживает новый петровский период, — сказал он, видимо, довольный найденным определением, — согласен ты с этим? Конечно, как всегда в переходные эпохи, была неизбежна жесткость управления. Это главное, что нас отталкивало. Но теперь, в этом не может быть сомнения, Россия становится правовым государством, хотя и в других формах, чем на Западе.

Слушая отца, я с тревогой видел, как, несмотря на весь свой долгий политический опыт, он легко принимает свои желания за действительность. Я спросил:

— А как же ты не боишься, что, когда Германия будет разбита, в Прагу придут русские?

— Ну, так далеко вряд ли зайдет. И потом я так себя держу, что мне нечего бояться. Наоборот, я уверен, я еще буду играть роль. — Он самонадеянно улыбнулся и, понизив голос, сказал с таинствен-

ным видом: — Я связан с подпольной организацией чешских коммунистов и оказал им очень важные услуги.

В это время дверь отворилась и вошел щеголеватый офицер лагерной охраны. Подойдя к нам, он слегка смущенно попросил отца говорить по-французски. Отец с готовностью закивал головой и, радостно улыбаясь, как если бы это доставляло ему особое удовольствие, стал говорить со мной по-французски. Но среди французских слов, не меняя ни выражения лица, ни ритма речи, он сказал несколько слов по-русски. И так мы продолжали говорить о самом для нас важном русскими фразами, вставленными среди французских. Мне казалось при этом, что отец улыбается с непонятно хитрым и веселым видом. Я с недоумением думал, как он может так улыбаться, когда он так страшно постарел. Я вспомнил, как у Пруста герою кажется, что он попал на маскарад: приклеенные белые бороды, пудренные парики. А на самом деле все просто состарились. С какой волшебной жизненностью, с каким остроумием это было написано. Но теперь я видел этот несмываемый трагический грим старости и смерти на лице моего отца, и мне было не смешно, а страшно, точно передо мной совершалось убийство. Но, к моему удивлению, сам папа, видимо, вовсе не был огорчен, что стал теперь таким, а, наоборот, как будто даже этому радовался. И вдруг мне пришла догадка, нелепость которой я даже не сразу понял. Свое теперешнее ужасавшее меня лицо, которое делало его похожим на старого немецкого крестьянина, он носил как маску, чтобы скрыть от Гестапо свою тайную работу с коммунистами.

Вдруг, неожиданно протянув руки, он удивившим меня, незнакомым мне, почти как у фокусника быстрым движением ласково потрепал меня по щекам своими мягкими ладонями человека, который никогда не работал физически. По тому ,с какой уверенностью он это сделал, я понял, что это был один из тех привычных ему теперь жестов, которые выработались у него за годы жизни в кругу незнакомых мне мужчин и женщин, с которыми он встречался все это время, что мы не виделись.

Похлопав меня по щекам, отец откинулся на спинку стула и устало закрыл глаза. На мгновение мне показалось ,он засыпает. Я вспомнил, он две ночи ехал в переполненном поезде, стоя в коридоре. А ведь он старик. Ему уже около семидесяти. И все-таки. . .

— Но почему ты так похудел? — спросил я, с трудом удерживаясь, чтобы не спросить, почему ты так постарел.

Впрочем, спроси я его об этом, он верно не понял бы. Ведь для него это изменение происходило незаметно, изо дня в день, в течение пятнадцати лет. Может быть, он даже думает, что очень хорошо держится для своего возраста. Ведь вот он говорил, что еще надеется играть роль.

— А это по твоей милости, — улыбнулся папа, разумея первый год войны, когда мы не могли переписываться и он знал только, что я мобилизован и беспокоился о моей судьбе.

Рассеянно смотря на мои черные от навоза «сабо»*) он ласково сказал:

— Мне показалось, что другие французские пленные лучше тебя одеты. А ты и вправду стал какой-то мужиковатый.

Странно, неужели он не видит, что у меня безнадежно декадентское лицо.

— Ну что же, если я действительно похож на мужика, я этому только рад. Ты знаешь, я теперь без особого усилия подымаю мешок в сто кило.

Это была неправда. Но я знал, как отцу тяжело, что я какой-то странный, не мог устроить свою жизнь и мне хотелось рассказать ему о себе что-нибудь такое, чтобы он мог гордиться мною перед своими друзьями. Я сказал ему, что совсем не боялся на войне, проявлял «одервенелое спокойствие». Я понимал, как ему трудно этому поверить, так как он видит мою всегдашнюю неуверенность в себе, нервность и робость. Но у меня еще не было случая рассказать кому-нибудь, кто знал меня до войны, как несколько раз мне удавалось победить в себе страх, и я все боялся, что умру, так никому об этом и не рассказав.

Мне разрешили проводить отца до ворот. Я видел, как уже с той стороны колючей проволоки он медленно, с трудом шел в гору, потом там, где дорога сворачивала под железнодорожный мост, стал спускаться.

III

Вернувшись в командо, я часто вспоминал мой разговор с отцом и как я сказал ему: «Мне так радостно знать, что я в согласии с отцом и с отечеством». Но мне было грустно. До этой встречи я, не отдавая себе в этом отчета, все еще представлял себе отца, как в детстве: большой, добрый он охранял меня от всего плохого. Но вспоминая его теперешнее с провалившимися щеками лицо, я понимал, что не только он не может спасти и сохранить меня, но он сам ничем не защищен от произвола уничтожения и злой воли людей. Каждый день его могло арестовать Гестапо. Но если даже все хорошо кончится, он уцелеет и немцы будут разбиты, что будет с ним, когда в Прагу придут русские. Я и за себя беспокоился. Но я то еще ничего. Все-таки — французский пленный, воевал против немцев, из России уехал мальчиком. «Увезли родители, — как бы уже оправдываясь перед энкаведистом, мысленно прибавлял я, — и политикой никогда не занимался». А вот отец всю жизнь боролся с большевиками. Всюду против них выступал. Он думает, они ему простят за его теперешнюю подрывную работу с чешскими коммунистами. А я вовсе не был уверен, что простят. Они никогда не прощают. И я молился: «Боже, спаси и сохрани меня, и отца, и всех

*) Деревянные башмаки.

кого я люблю, Ты все можешь, сделай так, чтобы нас не коснулись бедствия».

«Ну, а как же другие люди? — спрашивал я себя, — те, кого убивают, мучают, морят голодом. Я словно соглашаюсь, что если я и мои близкие спасемся, признать, что все в мире, а значит и гибель миллионов людей, совершается по воле благого Промысла, а между тем я знаю, — ничто не может искупить их страданий и смерти». Но я говорил себе: «Об этом не нужно думать, ведь все равно не исправишь, а нужно верить необъяснимому чувству, испытанному мною, когда пришла открытка от моего отца. Через все испытания Кто-то таинственно ведет нас к более глубокому осуществлению нашей жизни. Это чувство не может быть обманом».

Вспоминая потом об этом, я удивлялся, как, несмотря на всю власть надо мной подсказываемых разумом сомнений, в трудные минуты во мне всегда восстанавливалось это первоначальное требование, чтобы в мире был Кто-то, Кто меня любит, Кто за людей, Кто услышит. Без этого было бы слишком страшно жить.

*

Я не мог привыкнуть к деревне. Здесь люди откармливали таких же, как они, живых существ, чтобы потом их убивать, сдирать с них шкуру, есть их мясо. Что-то чудовищное мне в этом мерещилось, как когда в детстве я читал о злом великане, который пожирал детей.

Старый Цульке весь день работал в коровнике. Он даже говорить почти уже разучился и от него пахло многолетней, пропитавшей его насквозь кислой, звериной вонью. Когда коровам приходило время телиться, он звал нас на подмогу. Раз мы всю ночь бились, пот лил с нас градом, но теленок плохо лежал и мы не могли его вытащить. Цульке, по локоть засусув руки в корову, что-то там ворочал внутри, стеная и всхлипывая от усилия. И тогда я в первый раз услышал, как корова застонала, если только это можно было назвать стоном: какой-то глухой деревянный скрип. Меня ужасно поразил этот звук. Повернув голову, корова смотрела на нас и мне показалось, что даже в ее покорном существе страдание пробудило мысль, несогласие, она сейчас заговорит.

Когда стало ясно, что теленка не вытащить, корову торопливо зарезали. Мы перетащили ее к дверям сарая. Бернар мгновенно очутился верхом на перекладине под притолокой. Привязанная за задние ноги туша повисла, как грешник в аду. В неверном свете фонаря ее озабоченно свежевали черные окровавленные люди. Я нервно зевал и от предутреннего холода у меня стучали зубы. Теперь больше не выспаться.

В другой раз я видел, как Цульке вывел из свинарника борова. Установив его перед самым входом, он взял большой, для рубки деревьев, топор. От тяжелой работы и старости Цульке был совсем

горбатый, руки у него висели ниже колен, но были еще сильные и цепкие. Медленно разгибаясь, он замахнулся и, падая вслед всем телом, оглушил борова обухом по лбу. От удара боров на секунду осел, но сейчас же с удивленным, гневным предсмертным криком упруго, как каучуковый, подпрыгнул на всех четырех ногах. Цульке еще раз ударил и боров, болтнув в воздухе копытами, рухнул на бок. Тогда Цульке навалился на него грудью и перерезал ему горло. Боров все слабее подергивался и, словно заснув или задумавшись, перестал шевелиться.

Или Бербель, четырнадцатилетняя дочка хозяина, с толстыми не по возрасту грудями. Она привела на конюшню своего маленького брата, Хорста. Бернар задавал лошадям корм. Бэрбель попросила его достать ей воробьиное гнездо. Бернар с готовностью, за которую я его мгновенно возненавидел, проворно вскарабкался под потолок и принес ей несколько птенчиков. Бэрбель взяла их в руки, приговаривая с глупым смехом: „Kleine Vögel! Kleine Vögel!“*) И вдруг я услышал треск: одному за другим она отрывала птенчикам головы. Маленький Хорст смотрел, смеясь и радостно повизгивая.

Еще к чему я никак не мог привыкнуть в деревне: здесь никогда не происходило ничего нового, ничего непредвиденного, время двигалось не в будущее, а по кругу. Смена полевых работ совершалась с предопределенностью вечного возвращения. Меня охватывало чувство отчаяния и безнадежности, когда я думал, что нам еще много раз придется собирать картошку.

*

К концу четвертого года плена все-таки произошли перемены. Началось с неожиданного для всех бунта Бернара. В последнее время на него все чаще находили припадки угрюмости и каждый раз длились все дольше. Сперва я не понимал в чем дело, но потом стал догадываться. Письма из дому Бернар читал про себя, но свои впечатления от прочитанного высказывал вслух, так что мы всегда знали, о чем ему пишут. Однажды, читая письмо от матери, он сообщил нам, что соседская дочка Жаклина, которая была совсем еще девчонкой, когда он уезжал, вышла на днях замуж и какая-то «маленькая Мадлена» тоже уже помолвлена.

— Смотришь, когда я вернусь, окажется все девушки у нас в деревне уже повыходили замуж, — сказал он в раздумьи. Потом со смехом прибавил: „Je ne veux pas tout de même qu'il ne me reste qu'un vieux tableau.**)

Он смеялся, но я чувствовал, что мысль о женитьбе его мучает. Мы все давно знали его историю. До войны у него была невеста. Почему-то он поссорился с ее родителями и перестал с ней видеть-

*) Маленькие птички.
**) Я не хочу все-таки, чтобы мне только какая-нибудь старая осталась.

ся. Он любил ее по-прежнему, но горд и упрям был до самоуничтожения. Даже из плена ни за что не хотел ей написать, а сам боялся, что она выйдет замуж за другого.

В Бернаре было еще столько ребяческого, что иногда мне казалось, я не на десять, а на пятьдесят лет его старше. А тут он вдруг сразу стал взрослым. Мысль, что его отец уже стар и не управляется один с работой, не давала ему покоя. Пора было возвращаться домой, жениться, самому взять в руки расстроенное хозяйство. Жизнь в неволе становилась ему с каждым днем все тяжелее и ненавистнее. До тех пор Бернар ни разу не болел. Мы даже ругали его за это. Время от времени кто-нибудь из нас сказывался больным и день, два не выходил на работу. Только один Бернар никогда этого не делал. А теперь он все чаще говорил мне с каким-то загадочным и угрожающим выражением:

— Tu verras, un jour je tomberai raide!*)

Я напрасно пытался его отговорить. Он слишком терзался и какая-то ожесточенная решимость все больше им овладевала. Началось с того, что однажды утром Бернар отказался запрягать. Наш хозяин был в этот день в отъезде и за работой на ферме присматривал его свояк, огромный, толстый, важный, с трясущимися лиловыми щеками и нафабренными, крашеными усами. Он сам пришел на конюшню и спросил Бернара, почему тот не запрягает.

— Du machen!**) — сказал Бернар, показывая на хомута.

Тогда усатый, схватив его за грудь, замахнулся. Бернар даже под мышки ему не доходил, но не испугался, а спокойно смигивая смотрел на толстое брюхо бауэра. Потом Бернар говорил мне: «Ударь он только меня, так бы и двинул ему коленкой в . . .»

На следующий день Бернар совсем не вышел на работу. В то время у нас был новый вахман, который явно тяготился и военной службой и своими обязанностями надсмотрщика. Он был чрезвычайно вежлив с нами, прежде, чем войти в нашу каморку, стучал в дверь. Однако, по требованию бауэра он должен был усмирить Бернара. Я столкнулся с ним в проходе между денниками. Он стал жаловаться мне на Бернара: упрямый, нарочно не слушается:

— Er wird damit was kriegen!***) — сказал он, показывая, чтобы придать себе решимости, на приклад карабина.

Я пошел за ним. Бернар, угрюмый и небритый, лежал на своем месте под потолком. Остановясь на пороге, вахман спросил его дрогнувшим голосом, выйдет ли он на работу.

Бернар отрицательно покачал головой: «никс!»

— Warum?****) — спросил вахман растроенно.

Бернар словно только и ждал этого вопроса.

---

*) Вот увидишь, как-нибудь я свалюсь.
**) Ты запрягай.
***) Он вот этим получит.
****) Почему?

— Darum!*) — ответил он грубо и насмешливо, совсем как немцы говорили.

— „Darum“, sagst du!?**) — напрасно стараясь принять грозный вид, закричал вахман чуть не плача. Он не нашелся что еще сказать и махнув рукой вышел.

Через два дня Бернара отвезли в лагерь. Нам сказали, в штрафную роту. Нахмуренный, с упрямо блестевшими глазами, он истуканом сидел в санях. Хозяин, верно желая нам показать, что он тут не при чем, подошел к нему и протянул руку. Бернар не шелохнулся, словно не видел. Мы смотрели, затаив дыхание. Наконец, медленно и неохотно Бернар подал хозяину руку. При этом на его лице проступило такое высокомерное выражение, точно он был каким-то владетельным принцем.

Мы боялись за Бернара. Маузольф рассказывал, что из штрафной роты человек выходит „halb kaputt.***) Но впоследствии мы узнали, что, вопреки наказу хозяина, вахман сдал Бернара в лагере не как ослушника, а как больного.

Вскоре после отъезда Бернара мне повезло — я заболел. Целый день я мог оставаться в постели и читать. От слабости и жара я засыпал, потом, немного подремав, опять брался за книгу. Никогда еще чтение не доставляло мне такого почти физически ощутимого счастья, такой отрады. После бесконечности однообразных дней тяжелой и постылой работы, вдруг сладостное чувство отдыха. Одиночество, покой, свобода, легкое головокружение от жара и переносишься в светлый мир, где нет ни холода, ни усталости, ни навозной кучи посередине двора, ни рабства плена, ни войны, ни ненависти. Я читал книгу о Плотине. Каждую страницу я перечитывал по два, по три раза и все-таки не понимал. Но, даже не понимая, я с восхищением видел движение мыслей Плотина: кристальными постройками они воздвигались все выше и выше, так что я не мог больше за ними следить, моя голова падала на подушку и я в изнеможении закрывал глаза. Но и тогда мне сиял ослепительный свет. Я видел, как всходит небо, где «каждая звезда — солнце». Сколько книг я читал — и все было скучно. А когда прочел: «Я часто выхожу из моего тела и просыпаюсь в самого себя», радость: это *то*, к чему всегда стремилась моя душа. Счастливый Плотин, у него не было сомнений. . .

Будто колодезь открылся внутри меня и там внизу человек, каким я мог бы стать, рывками подымая голову из черной воды, старался вылезти наверх. Мне казалось, если продлить усилие, то всегдашний туман передо мною рассеется, и я увижу. . .

Только не надо выздоравливать: тогда опять работа с утра до вечера и отупляющая усталость. Я хотел, чтобы моя болезнь затянулась и меня отправили в лагерь. Лагерь представлялся мне чуть

---

*) Потому.
**) Потому, говоришь.
***) Полумертвый.

ли не столицей: там театр, лекции, кружки, умственная жизнь. А главное — перекресток, постоянно проходят новые люди, пленные всех национальностей, многоязычный форум. Особенно я надеялся, в лагере будет возможность встречаться с русскими.

Надежда на новую жизнь радостно меня волновала. Только немного грустно было расставаться с товарищами. Четыре года мы прожили в нашей тесной каморке и ни разу не поссорились. Все по-братски делили. Но все равно, после того, как увезли Бернара, уже не то было. Маленький мир нашего командо распался.

III

Последний год в плену я работал в госпитале при лагере. Голая площадка, огороженная двумя рядами высоких столбов, с дико накрученной колючей проволокой. Уныло жмутся к земле серые бараки. У ворот и на угловых вышках день и ночь часовые. Другие, поблескивая примкнутыми штыками, прохаживались вдоль столбов с колючкой. Им было скучно, они пробовали с нами заговаривать, выпрашивали папиросы. За проволокой — пустыри, песок, плоское место. Только на севере какое-то подобие пейзажа: длинная цепь вросших в землю пороховых погребов, ельник, железнодорожная насыпь. Но поезда тут редко ходили — боковая ветка. Вдали, за краем леса, виднелись сторожевые вышки другого страшного лагеря. В деревянных сгнивших бараках там умирали последние пережившие первую зиму русские пленные.

Раз в неделю оттуда к нам водили на рентген больных и раненых.

*

В ворота госпиталя въехала черная глухая карета. Ее тащила, с трудом передвигая разбитыми ногами, старая рыжая лошадь. Сзади, под охраной вахмана, шли русские врачи. Карета остановилась около мертвецкой. Двое русских санитаров, один в кубанке, растворили дверцы в задней стенке кареты и вытащили за ноги грязно-серый слепок человеческого тела. Тяжело переступая они внесли его в мертвецкую.

Из времени нашей тюремной жизни, постылой и нерадостной, но все-таки еще жизни, мы с детским страхом смотрели, как санитары перенесли из кареты в мертвецкую еще несколько таких глинисто-серых существ или предметов, которые были прежде людьми. Один был огромный. Санитары сутулились, внося его на крыльцо. Прогибаясь в поясе, он почти касался каменным задом земли.

В неподвижном свете дня все оставалось таким, как было: отвесная черта угла мертвецкой, колючая проволока, а за ней какое-то непонятное отсутствие дали: песок, немножко травы, и сразу за дорогой — дождливое серое небо. Но эта черная карета и санитары,

казалось, находились в проруби другого, ярко освещенного пространства. Там будто открылась какая-то потаенная комната, где происходило что-то невыразимо гнусное и страшное, и мы знали — это и есть правда существования, о которой лучше не думать, но от которой некуда уйти.

*

Когда приходили русские доктора, мы старались собрать им поесть. Щедрее всех давали сербы. В этот раз мы решили покормить русских тут же в мертвецкой, в пустой комнате, где стояли заготовленные для наших больных новые сосновые гробы. Мы разложили на их крышках хлеб и американские консервы. Подкупленный вахман не мешал. Когда все было готово, я пошел в комнату, где делали вскрытие. Для этого нужно было пройти через другую пустую комнату. Здесь у стены лежали на спине пять необмытых трупов: начиненная сгнившими внутренностями, брошенная за ненадобностью человеческая падаль. Грязно-пергаментная, по-жабьи морщинистая кожа дрябло обвисала на стаявшей плоти; тонкие, будто обсосанные чьим-то чудовищным ртом ноги расходились, как деревянные.

У лежавшего с края одна рука завалилась за спину и с похабным глумлением смерти из-под низу высовывалась в измазанном почерневшим калом межножьи. В треугольно заостренном к подбородку молодом лице стеклились черные ямы раскрытых огромных глаз. Из них на меня глянул недоуменный ужас, охвативший сознание этого человека, когда он понял, что умирает и что для него никогда не придет освобождение от власти чужих безжалостных людей, которые его погубили, хотя они знали, как важна была для него его жизнь.

Я приоткрыл дверь в соседнюю комнату и отшатнулся. За спинами наших и русских врачей я увидел лежавшее на столе такое же серое мертвое тело. Другой мертвец сидел у него в головах и распиливал ему череп. Но я сейчас же понял мою ошибку: это был немец-специалист, он делал вскрытие. Он был живой, только что-то нечеловечески бесчувственное и грубое было в толстых морщинах его лица. Его голый череп лоснился под падавшим сверху светом электрической лампочки. Я попятился и закрыл дверь. За мной вышел старший русский врач Дьяконов, невысокий человек с большой бородой. Несмотря на нездоровую бледность его лица, во всем его облике было что-то успокоительно домашнее. В детстве такие бородатые доктора выслушивали, приложив ухо к приставленной к моей груди хорошенькой трубочке. В его глазах, устало прикрытых набухшими веками, светилась неистребимая добродушная усмешка. Я сказал ему:

— Доктор, все уже приготовлено.

— Ну, спасибо, дядя Володя. У нас как раз сейчас перерыв будет. А у меня к вам просьба, — он посмотрел на меня вопросительно,

— там у вас наши больные проходят теперь через рентген. Доктор Семенов не может прийти. А вот Феде, знаете, фельдшер наш, скажите, чтобы пришел. А то с утра стоит там в коридоре не евши. Пожалуйста, сходите, голубчик. Вы не бойтесь, наш «пастух» (он так называл вахмана) ничего не скажет.

— Хорошо, позову. Доктор, а отчего умерли эти русские?

— Туберкулез, главным образом. Каждый день человек до двадцати умирает. А теперь немцы почему-то отобрали несколько трупов для вскрытия. Говорят для научных целей. Что же, по-врачебному это даже правильно. А лучше бы углеводов больше давали.

Он прислонился к стене. Его зеленоватое, с закрытыми глазами лицо показалось мне очень усталым. Покачав головой, он сказал с улыбкой над собственной слабостью:

— Знаете, не могу теперь долго стоять на ногах, начинает голова кружиться.

Выйдя из мертвецкой, я жадно вдохнул всей грудью холодный, туманный воздух зимнего дня.

Рентгеновский кабинет помещался в хирургическом бараке, в самом конце коридора. Мне не повезло. Только я вошел в сени, дверь канцелярии приоткрылась и, как пантера из пещеры, высунулся унтер-офицер Цандор. Посмотрев на меня недовольным взглядом, он грубо спросил:

— Wohin gehen Sie?*)

Я сказал, что иду к нашим санитарам.

В комнате санитаров, окруженный товарищами, которые смотрели на него с ужасом и участием, стоял большой человек в шинели из толстого черного сукна. На его изможденном, с провалившимися щеками лице сосредоточенно смотрели перед собой агатовые без блеска глаза. Видимо не отдавая себе отчета, гне он находится и что за люди вокруг него, он с выражением страдальческого недоумения все хотел, казалось, рассмотреть что-то нам невидимое.

Товарищи совали ему сухари. Он брал со странной безучастностью, не благодарил и вместо того, чтобы прятать сухари, продолжал стоять, держа их в опущенной руке. Они начали один за другим выскальзывать у него между пальцами и падать на пол. Тогда товарищи принялись засовывать их ему в карманы шинели. Один предложил ему папирос. С трудом разлепив серые губы, он, с необъяснимой уверенностью, что его должны понять, медленно проговорил, открывая фарфорово белые на землистом лице зубы:

— Нет, целых не надо, все равно Султан отнимет, а вот бы маленьких этих, окурочков.

— Что он говорит? — спросил санитар Жан.

Я знал, Султан — это «полицай», который у входа в русский лагерь обыскивал всех русских, когда они возвращались из нашего госпиталя. Я объяснил товарищам.

---

*) Куда вы идете?

— Спроси у него, может ли он сшить мне ночные туфли. Я ему дам обрезков сукна, — сказал Жан.

Русский, казалось, нисколько не удивился, что я, француз, обращаюсь к нему по-русски. Подумав он сказал, с трудом шевеля губами:

— Нет, не могу. Больной я. Били меня.

— Кто вас бил? — не удержался я, хотя так ясно это было.

— Немцы, — сказал он, взглянув на меня с испугом. Я увидел, как в его темных глазах промелькнуло такое же выражение обиды и страха, как у того русского на полу в мертвецкой. — Работали мы на лесопилке. Человек семьдесят. Приехали офицера ихние с солдатами. А с ними переводчики — наши русские, из власовцев. Стали уговаривать записаться в Р.О.А. Никто не записался. Тогда взяли каждого третьего и тут же у забора расстреляли. Опять велят записываться, а мы твердо стоим, не соглашаемся. Но больше не расстреливали. Бить только стали. И прикладами и сапогами. Все нутро мне отшибли.

Он помолчал и с убеждением сказал:

— Обижают русский народ.

В это время в комнату заглянул невысокий, с бледным молодым лицом человек в русской фуражке и, дотронувшись до его локтя, ласково, но твердо сказал:

— Идемте, Сидоров, сейчас ваша очередь будет.

У этого маленького русского была на рукаве повязка Красного Креста. Я догадался, что это и был Федя, и вышел за ним.

— Простите, это вы — Федя?

— Да, меня Федором зовут. А как вы узнали? — спросил он с детским удивлением.

— Вот мы там устроили закусить вашим докторам. Приходите и вы.

— Нет, спасибо большое, не могу больных оставить, — сказал он мягко, видимо, не желая обижать меня отказом, но без малейшего колебания. По его осунувшемуся лицу давно голодавшего человека не прошло даже тени сожаления.

Чувствуя, что настаивать бесполезно, я показал глазами на Сидорова, который, будто обдумывая какой-то неотступный мучительный вопрос, стоял теперь, прислонившись к стене.

— Что с ним? Тяжело болен?

— А, этот? Доходяга, — взглянув на него сказал Федя и улыбнулся.

— Что это такое, доходяга — спросил я.

Федя, все продолжая улыбаться, стал с готовностью объяснять:

— А как же, доходяга это тот, кто уже примирился, что помирает. Доходит, значит, не борется за жизнь. У нас так и делятся — на доходяг и шакалов. Шакалы, те промышляют чем-нибудь, или торгуют, или на кухне работают.

— А что он, правда так плох?

Федя с сомнением покачал головой:

— Когда бы другие условия. А то, знаете, теперь немцы наших туберкулезных по новому методу лечат. Если видят, что уже к концу идет, ставят под холодный душ. Радикальное средство. . .

— Что же, неужели помогает? — спросил я наивно.

— Нет, к утру умирают, — словно с удовольствием сказал Федя.

— Неужели это может быть?

— Ну, как же. Теперь они это даже более культурно делают. А то раньше, когда тиф был, придут полицаи ночью в тифозный барак и всех перебьют бревнами. Наутро — ни одного больного. Немцы рады — эпидемия ликвидирована. И полицаям выгодно. Ведь продовольствие накануне на больных выписывается, вот они лишние порции и делят между собой.

Федя больше не улыбался, но говорил будто с одобрением. «Уж не смеется ли он надо мной?» — подумал я и посмотрел на него пристальнее. Его изможденное, с приятными чертами лицо было чисто выбрито, отчего натянутая на скулах кожа казалась еще прозрачнее. Из-под ворота гимнастерки проглядывала белая полоска подшитого воротничка. По тому, как он держался и как опрятно был одет, чувствовалось усилие сохранить человеческое достоинство. Он смотрел мне прямо в глаза, и в его печальном взгляде было такое же выражение, как у Сидорова и у того русского в мертвецкой.

Я предложил ему папиросу. Он отвел глаза и отказался:

— Спасибо, я не курю.

Я оглянулся. Около двери рентгеновского кабинета, как нищие на паперти, стояли, сидели на полу и лежали на носилках и матрацах русские больные и раненые. Один, скорчившись в углу, совсем еще мальчик, со стриженной ежиком головой, в последний раз жадно и глубоко заглотнув дым, худой, почти прозрачной рукой протянул окурок соседу.

— На, артиллерист, покури, — сказал он, посмотрев острым глазком.

Рассчитав, что хватит на всех, я подошел к ним и роздал бывшие при мне папиросы или сигареты, как говорили теперь русские. Распространяя тяжелое зловоние гниющих ран, они зашевелились, протягивая ко мне иссохшие, коричневые руки. Несколько человек сказали: «Спасибо, друг».

*

Умирали пленные и в нашем лазарете.

Я иду в барак для заразных. На цементном дворике ни кустов, ни деревьев. И все-таки чувствуется весна. Порывы ветра доносят откуда-то с полей пьянящее благоухание оттаивающей земли. Грудь с наслаждением глубоко вдыхает блаженный свежий воздух.

Теперь я вижу, до чего банально было это чувство. Но это не уменьшало его непосредственности и силы. Больше не было всего страшного и нечеловеческого, что совершалось уже столько лет.

Только торжество весны. Одно из тех мгновений, когда чувство жизни, пусть слепой, безжалостной, но все-таки прекрасной, охватывает с такой силой, что мысли о страданиях людей и неизбежности смерти становятся безразличными.

Внезапно из окна барака донесся протяжный стон. Меня поразила эта противоположность. Здесь, на дворе милостиво царствует свет и тепло солнца, свершается праздник вечного обновления, а там — больничный запах, стоны, смерть у изголовья коек. Мне неясно вспомнилось: поэты и художники изображали природу в виде молодой женщины с повязкой на глазах. Прекрасная, но равнодушная, она идет, безжалостно попирая ногами уничтожаемые ею жизни. Сияние весеннего дня показалось мне теперь похожим на эту женщину.

В сенцах барака я столкнулся с одним из наших докторов, капитаном Леже. Вертлявый, хлыщеватый, циничный в разговорах. Но в отличие от глумливо-насмешливых глаз, длинный с подвижными ноздрями нос капитана имел какое-то проникновенное выражение, словно это был особый исследовательский орган для распознавания болезней. Капитан Леже славился своими диагнозами. Пленные его не любили, но отдавали ему должное как хорошему врачу. С необычным для него строгим выражением, он спросил меня:

— Хотите посмотреть, как умирает человек?

Он привел меня в отдельную комнатку, где стояла только одна койка. Я с ужасом смотрел на больного. Лицо почти как у мумии, но нос не провалился, а наоборот длинный, с безобразно обозначившимися хрящами; коричневые белки заведенных к векам рыбьих глаз; из полуоткрытого рта вываливается сизый, набухший язык.

Санитар наклонился к нему дать лекарство. Но больной, подозрительно покосившись на подносимую к его рту ложку, внезапно оттолкнул руку санитара и словно приподнятый посторонней силой, сел на постели, прямой как доска. Мне даже почудился скрип деревянных шарниров. Его глаза с выражением идиотического гнева завертелись колесиками, как у комических октеров в фильмах, и он странным горловым голосом отрывисто прокричал какие-то непонятные, как будто даже нефранцузские слова, не имевшие отношения к происходившему теперь. Может быть, какая-то старая обида ему вспомнилась.

Санитар уложил его обратно на носилки и больной затих. Что-то страшное и в то же время почти карикатурное было в механичности этой последней бессмысленной вспышки жизни. Я знал, это умирает человек, брат. Умирает на чужбине, в плену. Но я не чувствовал волнения, словно видел конец не человека, а какого-то человекоподобного робота. Он еще двигался, но завод уже был на исходе, и по мере того как движение прекращалось, исчезала иллюзия жизни и все очевиднее становилось, как в общем грубо и несовершенно было сработано это бедное создание, из какого непрочного, уже наполовину сгнившего вещества. Куда там — «по

образу и подобию». Умом я сочувствовал ему, но этот чудовищный, умиравший на моих глазах *предмет* нельзя было любить. Я испытывал только ужас, желание уйти. Я говорил себе: «Это закон жизни. Я не виноват, что он умирает, а я еще жив, здоров, могу радоваться солнечному свету, могу надеяться. Даже в Евангелии сказано «предоставьте мертвым погребать своих мертвых». Иначе жизн не могла бы продолжаться. И мы, живые, мы тоже умрем». Но мне чувствовалось в этих рассуждениях какое-то предательство. Что-то неодушевленное безжалостно его уничтожало, а мы равнодушно продолжали заниматься своими делами, надеждами, заботами.

На тумбочке у изголовья я увидел карточку: плечистый, густоволосый человек, с умными блестящими глазами и круглым сильным лицом, несоединимым с его теперешним, ссохшимся. Под ручку с этим крепким, полным жизни человеком, каким он был прежде — молодая, красивая женщина с большой грудью. В углу французская, вероятно нежная, надпись наискось. Я чувствовал, что не могу простить этой чудовищной насмешки над ним, над всеми людьми. Думают, любят, борются, сознание каждого — центр мира, и вот, после мучительных страданий, перестают чувствовать и сознавать превращаются в мерзостную падаль. Бог, если только есть Бог, не мог этого хотеть. Даже самый суровый и мстительный тиран никогда не приговаривал к мучительной смертной казни всех без исключения людей. Нет, здесь что-то произошло, какая-то непредвиденная катастрофа, которая помешала создать людей бессмертными, добрыми, всезнающими. Говорят, идеи Федорова — безумие, но ни на какое учение, которое не обещает победы над смертью, я не согласен.

*

Мы уже давно не получали писем из Франции. Было ясно, приближается развязка. Но шли дни, недели, месяцы, наступила зима, а фронт все далеко был, за сотни верст. В нашей жизни ничего не менялось. Все так же по утрам по коридору пробегал немецкий унтер и, хлопая дверьми, врывался в комнаты, пронзительно крича: „Aufstehen!“*) Все так же оперировали в хирургической и все так же, не дождавшись освобождения, умирали наши тяжелобольные, а в отделении для сошедших с ума больше не хватало места. Нам почти уже не верилось, что раньше была другая жизнь, что наш плен когда-нибудь кончится. За оградой никогда ничего не происходило. Тишина. Может быть, все люди в мире уже умерли? Иногда кто-нибудь вздыхал: «Господи, хоть бы бомбардировка!»

И вдруг все изменилось. Бои шли уже в Мазурских болотах. Через наш госпиталь проходили французские и английские пленные из дальних штрафных лагерей. Их гнали из Восточной Пруссии.

---

*) Вставать!

Многие поморозили в дороге ноги, лица, пальцы рук. Каждый день, с самого утра, они приходили в госпиталь по двое, по трое, по несколько человек ковыляя, держась друг за друга. Некоторых привозили товарищи на сколоченных из досок санках. Обмотанные вязаными шарфами, тряпьем, одеялами, с черными пятнами на лицах, они молча смотрели на нас блестящими и спокойными, как у детей, глазами, словно им хорошо было так сидеть в санках, тесно прижавшись друг к другу. В операционной резали ступни и пальцы.

Один француз рассказывал, что когда их эвакуировали, в поле уже шли русские танки.

Стали привозить раненых русских пленных прямо с фронта. Некоторых оперировали у нас в госпитале. Федю перевели к нам за ними ходить. Я всякий раз, когда представлялся случай, старался с ним поговорить. Но мне это редко удавалось. Он почти совсем не выходил из палаты, где лежали русские. Наши доктора говорили про него, что он «прирожденный» санитар, знающий и очень старательный.

Теперь он иногда брал у меня сигареты, но каждый раз приходилось его уговаривать. Жалея меня, он говорил: «Что же я вас обижать буду, у вас у самого не останется».

Он никогда сам не задавал вопросов, но на мои старался ответить как можно точнее и обстоятельнее. От него я узнал много страшного о лагерях для русских пленных. Он рассказывал сдержанно, без злобы, только будто с недоумением.

— Нет, все-таки этого мы не ждали. Мы знали, конечно, что фашисты нас ненавидят, так как мы единственная социалистическая страна, но чтобы такое было... Мы привыкли думать — на Западе культура. Сколько у нас книг переводилось с иностранных языков. Что же, может быть, у нас и была известная отсталость, но разве у нас так с немецкими пленными обращались? Получали такой же паек, как наши бойцы. Бить вот как строго запрещено было! У другого бойца накипит на сердце и хотел бы ударить, да знает, что накажут, себе дороже будет. А они нас били, прямо убивали, так — без всякого повода, неизвестно за что... ведь меня и по лицу били, — сказал он с усилием. Потом, помолчав, печально прибавил: — знаете, иногда сам удивляюсь, как живой еще. Так, посмотреть — силы во мне совсем нет. Другие куда здоровее а не выдержали, померли... а я вот живу.

Из наших коротких разговоров я узнал, что он из крестьянской семьи. В детстве пас деревенское стадо. «Если бы не советская власть, так бы всю жизнь и ходил за коровьим хвостом». Кончив десятилетку, получил стипендию на фельдшерские курсы.

— Что же, вы охотно учились, Федя?

— Ах, как охотно. Бывало, во всем себе откажешь, даже в театре. Конечно, театр — прекрасное, культурное развлечение, но мне все как-то больше учиться хотелось. Ведь я врачом хотел стать. Выписывал научные книги по медицинским вопросам. Все вечера занимался. Вы знаете, бывало идешь по улице, вдруг видишь —

деревья цветут, уже весна, и не заметил, как зима прошла. — Он улыбнулся, задумавшись. — Особенно книг моих мне жалко, вся моя библиотека, верно, пропала. Я сам орловский. У нас там фронт долго стоял. Верно, все сгорело, разрушено.

— А для чего вы учились, Федя? Чтобы больше денег зарабатывать? — спросил я с умыслом.

— Чтобы работать для народа, — ответил он, не задумываясь, как отвечают затверженный урок, но так искренне, что, видимо, и вправду ему никогда не приходили в голову другие соображения.

— Вы знаете, как медицинская наука может помочь народу? — сказал он, оживляясь. — Вот, хотя бы борьба с эпидемическими заболеваниями. Как раз перед войной мы производили районное обследование. . .

И он с увлечением стал говорить о своей работе в какой-то медицинской комиссии. Потом грустно улыбнулся:

— Да, жили, учились, строили. Не ждали, что так будет.

Слушая его, я думал — ведь эта Федина вера в науку, в творческое человеческое действие, в возможность сделать, чтобы людям стало легче жить, так близка к милосердию, почему же так бесчеловечно общество, которое они построили?

Я все старался навести на это разговор. Как-то мы обсуждали вопрос о принудительной стерилизации людей, страдающих передающимися по наследству болезнями. Федя с убеждением сказал:

— Нет, никого нельзя лишать права иметь детей. У нас, по крайней мере, так считают. Ведь каждый человек, даже самый больной, имеет право на счастье.

Слова его мне показались примечательными. Я спросил:

— А как вы считаете, имеет ли врач право убить обреченного больного, чтобы избавить его от напрасного страдания?

— Ах, нет, ни в коем случае! — воскликнул Федя. — Я помню, как нас ругали в институте, если кто-нибудь отвечал, что если положение больного безнадежно, то можно убить. Кто же имеет право отнять жизнь у человека? А вдруг окажется, что был какой-то шанс на спасение. Никогда нельзя сказать наверное.

Глаза у него блестели и он весь был радостно возбужден, видимо, гордясь человечностью взглядов, в которых воспитывали их, студентов Советского Союза. Значит, у него было в душе это безоговорочное убеждение в неприкосновенности права каждого человека на жизнь, свободу, счастье. С бьющимся от волнения сердцем, я спросил:

— Хорошо, как же вы говорите, что никто не имеет права отнять жизнь, а в то же время допускаете смертную казнь за политические преступления, за то, что люди иначе думают?

Бедный Федя совсем поник. Всякое оживление сошло с его лица.

— Видите ли, наш учитель Ленин говорил, что нам предстоит еще долгая кровавая борьба, прежде чем мы добьемся победы социализма во всем мире, — сказал он уныло.

Но мы все больше обсуждали военные слухи. В те дни мы не могли думать ни о чем другом. На карте растояние между нами и фронтом теперь быстро сокращалось. Называли совсем близкие города — в ста, в шестидесяти, в сорока, в двадцати пяти километрах.

*

Прежде всех эвакуировали американцев. В палате, где они лежали было теперь холодно и пусто. Я любил американцев. К ним можно было прийти и сказать: «Там, у рентгена, ждут русские пленные, у них ничего нет, ни еды, ни табака, помогите им кто чем может». И американцы давали банки консервов, шоколад, сигареты.

У них всегда было весело, хотя многие были тяжело ранены. Им присылали в посылках шахматы, шашки, разные головоломные игры. Целыми днями они передвигели на дощечках какие-то фигурки и палочки, рассматривали географические журналы, варили кофе. Один, с отрезанной ногой, тренировался в прыжках на уцелевшей ноге, может быть, готовился стать чемпионом одноногих. Замечая соболезнование, он удивленно говорил: „I enjoy my Life“.*)

Незадолго до того, как их отправили, трое пришли к нам в комнату, в гости. Входя они образовали в дверях очаровательную группу. Один — высокий, похожий на Гэри Купера — нес на руках маленького рыжего, у которого обе ноги были отрезаны выше колена, а третий шел, держась рукой за высокого. Ноги у него выписывали кренделя. Он шел, как пьяный. Ранение повредило у него в мозгу какой-то центр, регулирующий равновесие. Высокий рассказывал нам о своей жизни в Бруклине: „I had a good time!“**) Произнося эти слова, он улыбнулся, как верно улыбался Овидий, вспоминая в изгнании Рим. А безногий почти ничего не говорил. Только радостно и с любовью смотрел на всех из-под рыжих бровей простодушными аквамариновыми глазами.

После американцев эвакуировали тяжелобольных. Но нас пока оставили. Мы надеялись — не успеют. В нетопленных бараках стояла стужа: больше не привозили угля. И воды и электричества часто не было. Когда гас свет, мы с радостью думали: вот, русские взяли город, откуда подавали ток. Но проходило несколько часов, свет снова появлялся, снова шла вода. Днем над госпиталем теперь часто кружились русские истребители. А по вечерам замогильно выли сирены. В черном небе с могучим гулом моторов летели отряды бомбовозов. Потом вдали долго слышались бившие сверху удары и глухой грохот. Весь небосклон там вздрагивал, будто зарницы полыхали.

От эвакуированных из окрестных деревень и городков товари-

---

*) Я радуюсь жизни.
**) Я хорошо проводил время.

щей мы знали, на юг от нас фронт проходит совсем близко, но русские идут на запад, к Одеру, посылая в нашу сторону только боевые заслоны и конные разъезды.

Там, где шли русские, высоко поднималось зарево пожаров. Днем его не было видно, но когда темнело, там все небо было кровавое и дымное. А потом и на севере встали пожары, и мы уже не понимали, где теперь фронт. Наш госпиталь был окружен огненным кольцом.

Гуляя по вечерам за бараками, мы старались угадать, какие это горят города и в скольких километрах отсюда. Потом стала слышна дальняя канонада. Немцы говорили, это их учебная стрельба. Но им больше никто не верил. С каждым днем канонада приближалась.

Наступил вечер, когда уже больше не могло быть сомнений: бой шел совсем близко. Я стоял за бараками около ограды из колючей проволоки. Были слышны частые, будто нагонявшие друг друга, резкие звуки орудийных выстрелов. В темном лоне ночи эти звуки, казалось, двигались: то сходились, — удары выстрелов били все быстрее, все чаще, все с большим ожесточением и силой, — то снова расходились, слабели, отдалялись.

— C'est un combat de chars!*) — возбужденно сказал стоявший рядом со мной санитар Орлив, по-африкански пышно курчавый человек, с могучим туловищем на коротких, кривых ногах. Родом итальянец, он говорил с сильным марсельским акцентом. На его толстом курносом лице блестевшие глаза смотрели весело и дерзко. В глубоко вырезанных ноздрях был виден заросший черными волосами розовый хрящ перегородки.

— Putain! — сказал он с восхищением. — Tu te rends compte!**)

Орудийные выстрелы слышались теперь совсем близко. Перед нами, надвигаясь из глубины мрака, грозно грохотала невидимая нам яростная битва, — будто там кто-то с нечеловеческой силой бешено бил огромным ломом в чугунную доску, и вдруг совсем близко, казалось из-за ближайшего перелеска, застрочил пулемет.

— Ils arrivent, les camarades „roussko"***) — торжествующе сказал Олив и с насмешкой крикнул часовому на вышке: — Russo commo.****) — Он, верно, думал, что он это по-немецки сказал.

К нам подошел делавший свой обычный вечерний моцион польский хирург. На каком бы языке он ни говорил, он всегда прибавлял при обращении слово «пане» и французы прозвали его «панье». А я долго думал, что это потому они его так называют, что по-французски panier — корзина: он был толстый, с круглым животом. Остановясь около нас и слушая грохот боя, он всматривался в ночь, стараясь угадать, что там происходит.

---

*) Это танковый бой.
**) Б . . . !, ты отдаешь себе отчет!
***) Они приближаются, товарищи-русские.
****) Русские идут!

— Симфония! — сказал он с улыбкой.

Постояв еще немного, я пошел обратно к баракам. Волнение сжимало мне горло. Пять лет плена. И вот теперь, в окружающей нас темноте, сокрушая заколдованное могущество наших поработителей, в грохоте боя шла неизвестная грозная Россия, от берегов которой я отплывал более двадцати лет тому назад.

У входа в последний барак я почти натолкнулся на маленькую фигурку, словно притаясь стоявшую в тени.

— Федя, что вы здесь делаете? — спросил я удивленно.

Он взял мою руку и, сдерживая волнение, тихо сказал:

— Владимир Васильевич, слышите эти разрывы один за другим: та-та-та-та. Это «Катюша» играет.

Стараясь различить среди звуков орудийных выстрелов и пулеметных очередей эти особенные звуки «Катюши», я спросил:

— А правда — эта «Катюша» такая страшная?

— Ах, еще бы, все сжигает. — Он помолчал и вдруг заговорил с волнением, которое меня удивило, так как он всегда был очень сдержан. — Владимир Васильевич, не могу я больше, убегу к своим.

— Мы тоже обдумываем, да трудно это, Федя: на всех дорогах заставы.

— Все равно, пусть убьют. Измучился я здесь. Верите ли, ночи не сплю. Все лежу и думаю, как же это, русские, свои совсем близко, а я что же? Раньше мне нельзя было, не мог больных бросить. А сегодня мой последний умер, — сказал он печально.

*

На следующий день Федю перевели обратно в русский лагерь. Вечером около кухни стоял с телегой высокий, в белой папахе конюх Яшка Медяков. Федя о чем-то говорил с ним вполголоса. Русские конюхи жили на конюшне при нашем лагере. Жили богато. Возили и крали американские посылки, пили водку, в городе у них были любовницы. Вся чернорыночная лагерная торговля проходила через их руки.

Когда я увидел Медякова в первый раз, он так же как сегодня стоял с телегой у кухни. Только тогда мороз был крепче. Туго перепоясанный по впалому животу, он прохаживался около лошадей, притоптывая озябшими ногами и напевая в полголоса:

«Есть на свете уголочик,
Ето тоже да не мой»

Несмотря на неуклюжие сбитые сапоги, у него была легкая, как волчья побежка, походка. Даже в узкой и короткой ему шинели он был хорош собой: высокий, статный, с широкими плечами и грудью. Белая папаха очень шла к его красивому лицу. На лоб молодецки выпущена прядь русых волос. Но во взгляде серых глаз что-то тяжелое, скучное, ленивое. Держал он себя независимо, почти высокомерно.

Я спросил его:

— Вы казак?

Смотря на меня с высоты своего огромного роста, он усмехнулся, открывая сплошные белые зубы:

— Дед мой был казак, отец — сын казачий, а я. . . — Почувствовав, что получится обидно для него самого, он не договорил. Лошадь внезапно заржала и стала бить ногой. Яков треснул ее кулаком по лбу: «ну, балуй!».

— Зачем вы лошадь бьете? — спросил я невольно.

— Нет, я сляхка, — усмехнулся он, посмотрев на меня с презрением.

Желая его испытать, я спросил, что он думает о власовцах. Он нахмурился:

— Что же, добровольно мало кто шел. Были, конечно, б . . . ., а так — больше с голодухи. Ведь до чего доходило: трупы кушали. То есть, мы не кушали, а знаете черные: узбеки, кавказцы. Мы их так называем: черная нация. Вот и записывались. В лагере все равно подохнешь. Если не от голода, так полицаи забьют. А там думали, к русским удастся перебежать. . . Немцы тоже обещали: мясо будут давать, жалованье платить, а потом в Расее землю отведут. Только меня не заманишь. Хоть медом кормить будут. Не люди они, звери. У нас в лагере, что делалось. По четыреста человек в день умирало. Тифозных зарывали — шевелились еще. Ведь немцы на нас как смотрят? Будто не люди мы даже вовсе, а вроде хвостатых. Одна баба ихняя, старая, и вправду думала, что у нас копыта на ногах. Ей-Богу! Все мальчика внучка приводила, просила разуться, показать. А у нас разницы не делали: русский ты, или француз, или немец. Хочешь работать — живи свободно, такие же права, как у всех. Или вот у нас, у в армии. Всякий офицером мог стать. Была бы голова хорошая. А там, русский ты, или узбек, или жид, все равно.

Я спросил:

— Ну, а как вы дома, в России, жили?

— Что же, хорошо жили, — ответил он неохотно, — не так, как здесь. Панов не было на себя работали. У нас свобода была. Отработал семь али там восемь часов, идешь с бабой в парк гулять или в кино, водку пьешь, никто тебе ничего не скажет. Не понравилось на одном месте, пошел на другой завод или совсем в другой город уедешь или на село. Я всякую работу умею, как говорится, на все руки. А здесь как живут? Дома хорошие, чистые, ничего не скажешь. Это у них по-культурному. А ни парка, ни клуба. Некуда на люди пойти. Сидят каждый у себя, как кроты, да только кофий без сахара пьют. А дома бывало, накидаешь в чай сахару, прямо патока, кушать приятно. . . А спинджаков этих самых сколько было! Не так как здесь, старого не донашивали, на помойку бросали.

Но он говорил об этом неправдоподобном изобилии равнодушно, со скукой. Смотрел в сторону. Как если бы главным было что-то другое, чего он не мог объяснить словами.

А сегодня у него было непривычно оживленное выражение. Глаза возбужденно блестели, на скулах — красные пятна. Мне показалось, он был уже выпивши.

Вы, Яков, веселый сегодня, — сказал я, подходя.

— . . . ж плакать, — ответил он весело и грубо. Как говорится, в Москве на слезы не смотрят.

Я не удержался и поправил:

— Москва слезам не верит. . . А что, как вы думаете, успеют они нас эвакуировать или нет?

Яшка посмотрел на меня смеющимися глазами:

— Эх, пришли бы ко мне на конюшню. Водки выпьем. Я вам показал бы: у меня карта есть. Ведь, что делают, — он свел перед собою руки, словно что-то обхватывая, — смеяться будете.

В это время из кухни, засовывая в подсумок какую-то завернутую в промаслившуюся газету снедь, вышел на крыльцо хромой немецкий унтер. С трудом влезая на телегу, он сердито крикнул:

— Iwan, schnell, es ist spät!*)

Посмотрев на него со скукой, Яшка презрительно сказал:

— Погоди, вот русские придут . . . кричать будешь.

Поправив на лошади оголовок, он неторопливо полез на телегу. Немецкий унтер уже сидел на мешках, держа карабин между колен. Он недовольно повторил:

— Los, Mensch!**)

Яшка уселся, расперся поудобнее, разобрал возжи. Лошадь тронулась. Федя положил свой узелок на лежавшую на телеге поклажу. Протянул мне руку.

— Ну, Федя, не поминайте лихом.

— Что вы, Владимир Васильевич, ведь я о вас, кроме самого хорошего, ничего не могу сказать.

Он вскочил бочком на телегу, выезжавшую громыхая колесами на мощный спуск к воротам, и уже издали в последний раз помахал мне рукой.

*

А на другой день серб Милован, который каждый день ходил с вахманом в русский лагерь, сказал мне, что Федя и Яшка бежали. Лошадь и телегу бросили на дороге. Хромой унтер лежал на обочине, в канаве. Когда пришел в себя, рассказывал, его сзади оглушили чем-то по голове, что было потом — не помнит. И карабин его исчез.

Не знаю, обдумали Федя и Яшка побег заранее или внезапно решились, когда ехали лесом. Вспомнили, русские уже недалеко. На дороге ни души, вокруг темный бор.

---

*) Скорей, Иван, уже поздно.

**) Давай, человечина.

Немцы ходили с собаками. Не нашли. Да, может быть, и боялись слишком углубляться в чащу. Знали, у Яшки карабин.

Прошло два дня. По дороге вдоль железнодорожной насыпи непрерывно двигались войска, обозы, артиллерия. В город пришла дивизия эсэсовцев. Лагерная охрана ходила в поле стрелять из «панцер фаустов». У караульного помещения стояли телеги. Немцы грузили ящики, мешки, ранцы. Старший немецкий врач настаивал на эвакуации госпиталя.

Как всегда перед отъездом, я чувствовал одновременно и радостное и грустное волнение. Я теперь лучше видел прожитые годы.

*

За дверью комнаты, где была устроена часовня, слышалось неясное бормотание. Я колебался: входить или не входить? Я никогда не мог привыкнуть к католическому богослужению, да и отца Льва, которого я любил, уже не было в госпитале. Бородатый, необыкновенно деятельный, он бессменно работал санитаром в палате у тяжелобольных, но был веселый, даже в волейбол играл. Говоря с ним, каждый чувствовал, что отец Лев с первого же взгляда увидел в нем все то хорошее, чего не замечали другие люди. А теперь служил совсем еще молодой священник, который работал помощником санитара. Он не очень мне нравился. С больными ему всегда было некогда. В полосатой лазаретной куртке, с широким, как у женщины, тазом и довольно плотными ляжками, в очках, с падающими на потный лоб волосами, он вбегал в палату, держа перед собой лоток с лекарствами. Торопился, путал, раздражался. Но на пороге ожидавшей нас неизвестности, мне хотелось быть вместе с товарищами. Они в торжественном молчании стояли рядами, с лицами, измененными строгим и сосредоточенным выражением. Священника было трудно теперь узнать. Самодельное, из белой бязи, облачение придавало ему что-то трогательное, будто он был из ваты. Лицо детское, розовое, глаза как рождественские блестки. Он уже кончил служить и говорил теперь проповедь.

— Не бойтесь, братья, все свершается по промыслу Божию! — чуть не падая от изнеможения, восторга веры и страстной мольбы воскликнул он проникновенным звенящим голосом.

Меня охватило такое тяжелое чувство досады, что я вышел в коридор. Я вспомнил отчаяние и ужас в раскрытых глазах мертвых. Так что же — миллионы убитых, ненависть, неслыханные преступления — все это по воле Бога? Но тогда как можно любить такого Бога, как можно Ему все это простить? А они еще Ему молятся.

«Вместо того, чтобы мессы каждый день служить, лучше бы больше о больных заботился», — подумал я с дурным чувством. Между тем, я понимал, не мне его упрекать и мне самому нрави-

лось что-то поэтическое и беззащитное, что в нем чувствовалось, когда он говорил проповедь.

После обеда мой приятель Шарль сказал мне надеть на рукав повязку с красным крестом. Видя мое недоумение, он объяснил:

— Мы идем в город, нужно посмотреть, что там делается.

— Разве у тебя есть пропуск? — спросил я удивленно.

— Нет, нету. Но это уже мне предоставь.

Шарль был бельгиец. Для меня в нем воплощалось все, что я знал о Фландрии по книгам и картинам: веселый, свободолюбивый и деятельный народ, чувственный и вместе с тем набожный. С уже округлившимся животом, в шинели, которая сидела на нем, как подрясник, Шарль казался мне похожим на средневекового бродячего монаха, одинаково искреннего и в церкви на коленях, и в трактире за стаканом вина.

Мы вошли с ним в главную канцелярию. Открытые шкафы, на полу вороха бумаги, солома, обрывки бечевки. Посреди комнаты — сам «херр обер-цальмейстер», высокий, дородный раздражительный старик, с мутными сумасшедшими глазами, укладывал в большой деревянный ящик счетоводные книги. Его боялись и не любили даже сами немцы. Я помнил, как раз, когда, встретив его на аллее, я не отдал ему честь, он весь побагровев орал на меня бешеным горловым криком. Но теперь у него было смущенное и растерянное выражение. Он посмотрел на нас с виноватой, почти заискивающей улыбкой, точно мы застали его за каким-то постыдным занятием.

Почтительно, но твердо смотря ему в глаза, Шарль попросил его дать нам пропуск в город.

Обер-цальмейстер замахал руками:

— Ах, я не знаю, спросите в караульном помещении.

Тут произошла невероятная, как во сне на яву, сцена. Старательно выговаривая немецкие слова, Шарль сказал:

— Херр обер-цальмейстер, а не кажется ли вам, что ваша немецкая оборона лопнула? — и, трясясь животом, он беззвучно засмеялся своим заразительным смехом, почти с любовью смотря на обер-цальмейстера сузившимися от веселья глазами.

Озадаченный обер-цальмейстер несколько секунд смотрел на Шарля, выпучив глаза.

— Was?*) — задохнулся он от гнева, и его шея и тучный затылок, подпертый воротом мундира, начали апоплектически краснеть. Но, словно что-то внезапно вспомнив, он остановился с открытым ртом. Его лицо опять приняло робкое выражение и рот искривился жалкой улыбкой, говорившей: «Я только несчастный старик и никому не хочу зла». Отведя глаза он сказал:

— Скажите дежурному унтер-офицеру, что я даю вам разрешение идти в город.

Дорога от ворот шла вниз, под железнодорожный мост, а потом

---

*) Что?

через поле и пустыри. По всему полю желтели насыпи свеже вырытой земли; в ямах шевелились люди с лопатами. Старый ополченец, копавший землю у самой дороги, разогнулся и, опершись на заступ, молча с удивлением на нас смотрел.

Мне самому странно и дико было вдвоем с Шарлем идти без вахмана в город через открытое поле.

Мы вошли в предместье. Сколько заколоченных домов! Большая часть жителей, видно, уже выехала. Въезд на главную улицу загорожен деревянным срубом, с наваленными в середку булыжниками.

Запружая мостовую и тротуары, к площади поднимался пехотный полк. У солдат были угрюмые и измученные лица. Они шли молча, понуро; в той стороне, откуда они шли, слышались частые орудийные выстрелы. От колонны то и дело отделялись большие автомобили Красного Креста и медленно въезжали во двор городского госпиталя. На одном грузовике сидели французы из эсэсовской дивизии «Карл Великий». Заметив нас, один насмешливо, но дружелюбно сказал:

— Bonjour, petites têtes!*)

Мы ждали, пока колонна пройдет. Около нас остановилась худощавая, еще не старая, миловидная немка. Будто что-то взвешивая в уме, она попеременно взглядывала то на нас, то на проходивших солдат. Потом стала расспрашивать, где мы работаем и будут ли нас эвакуировать.

— А то переходите жить к нам, мой дом в двух километрах отсюда. Знаете, около мельницы, — она махнула рукой в сторону реки. — Все-таки, когда придут русские, нам с военнопленными спокойнее будет. У нас уже есть один француз. Моя сестра живет с ним вот уже три года. — сказала она, чтобы убедить нас, как нам славно у них будет. — Правда, приходите, — повторила она с озабоченным видом хлопотливой домашней хозяйки и, перейдя улицу, быстрой походкой вошла в молочную лавку.

Мы вышли на площадь. Над низкими домами и над островерхой киркой в молчании раскрывалось пасмурное, пустое, беспредельно высокое небо. Казалось, и дома, и площадь, и весь город погружались в холод вдруг ставшей ощутимой вечности. Будто опьяненные простором неведомого спуская железную штору булочной возбужденно хохотали две смазливые рыжие молодые немки. Недалеко от них, громко разговаривая и смеясь, стояло несколько наших товарищей, которые работали в городе.

По мостовой, не подымая глаз, тяжелым мерным шагом прошли три пожилых рослых ополченца, с суровыми крестьянскими лицами. Один был в синей, двое других — желтых шинелях, с повязками ополчения на рукавах. По привычке к повиновению, они еще исполняли приказания начальства. Но по тому, как они шли, будто не замечая, что повсюду, несмотря на рабочее время, неза-

---

*) Здорово, простофили.

конно ходят и открыто разговаривают с немецкими женщинами французские пленные, было видно, — они уже понимали, что привычный, казавшися незыблемым порядок распался, и на их город надвигается что-то новое неизвестное и грозное.

Товарищи сказали нам, что им было приказано эвакуироваться с хозяевами, но они остались, и пока их никто не трогал. Может быть, забыли в суматохе. Они надеялись переждать во время боя в погребе и выйти уже после того, как русские займут город. Обсудив положение и напившись у них кофе, мы пошли обратно. Нужно было вернуться в госпиталь засветло.

Мы уже вышли за черту города, как на перекрестке дорог нам встретился дозор эсэсовцев. Они шли быстрым шагом, в касках, с автоматами, с мрачно нахмуренными лицами. Я сразу увидел между ними страшно напряженные, красные, с выкаченными глазами лица двух русских пленных: Федя и Яшка. Яшка странно, как посторонний хрупкий предмет, придерживал правой рукой согнутую левую. А у Феди все лицо было залито кровью. Видимо, он был ранен в голову. Они шли, как в тумане, задыхаясь, из последних сил. Особенно Федя — вот-вот упадет.

Трясясь как в ознобе, я уже знал, что сейчас будет. Шедший сзади эсэсовец толкнул Федю ладонью в спину. Федя качнулся вперед и сделал несколько утопленных шагов. Тогда другой эсэсовец, с рыжими ресницами на четырехугольном лице, бледнея от внезапной бессмысленной злобы, замахнулся карабином и, заорав „Tempo!“, ударил Федю прикладом в спину. Федя сделал еще шаг и упал на колени. Тогда эсэсовец стал бить его носком сапога в кретец, раздраженно выкрикивая: „Los! Schwein!“*) Я слышал глухие звуки ударов и как при каждом ударе Федя охал.

Не выдержав, я крикнул:

— Федя!

Ближайший к нам эсэсовец, вздрогнув, обернулся и взялся за ремень автомата. Несколько мгновений он смотрел на меня измученными, ненавидящими глазами. Все его молодое, круглое, но страшно осунувшееся лицо пылало гневом и отчаянием. Я выдержал его взгляд. Поняв, что мы французские пленные, он отвернулся. Я видел, как, нагнувшись, Яшка здоровой рукой помогал Феде подняться на ноги. Патруль свернул на дорогу в лагерь.

— Все-таки они их поймали, сволочи! — сказал Шарль.

Я видел, его бьет такая же мелкая дрожь, как меня.

Мы уже прошли стоявший на косогоре старый кирпичный завод, как над нами с оглушительным ревом пронесся русский штурмовик. Темно синий в предвечерней ясности неба, он огромной птицей мщения навис над черепичными крышами оставшегося у нас за спиной города. Из его носовой пушки вылетело саженное пламя и в то же мгновение с его борта прямо на нас понеслась золотая струя светящихся пуль.

---

*) Иди, свинья.

Шедший впереди меня Шарль обернулся, весело, но неуверенно улыбаясь. Я видел, он ускоряет шаг. «Может быть, лучше лечь?» — подумал я ,но черная земля казалась такой холодной, в окаменелых колеях стоит подернутая льдом вода. Две маленькие черные бомбы медленно падали вниз. Штурмовик взмыл, и мы услышали в стороне вокзала грохот разрывов.

— Encore un peu et j'allais me foutre la gueule par terre,*) — сказал Шарль со смехом.

Из придорожного домика вышла согнутая, древняя, в седых космах старуха.

— Что же теперь будет? — спросила она и заплакала.

— Не беспокойтесь, — успокаивал ее Шарль, — русские не люди.

Тогда, опасливо понижая голос, старуха сказала, смотря на нас с таинственным видом:

— Во всем виноват главный дьявол в Берлине. Мы, маленькие люди, не хотели войны.

Вернувшийся поздно вечером из лагеря в госпиталь Жан рассказал, что немцы расстреляли за бараками двух русских пленных.

— Знаешь, маленький санитар, что у нас работал и большой конюх.

*

На следующее утро, еще до света, нас разбудили близкие орудийные выстрелы. В нашу комнату вошел старший унтер-офицер. С ним были солдаты в полной выкладке, в касках, с ружьями с примкнутыми штыками. Нам дали на сборы полчаса.

Мы стояли под деревянным навесом госпитального склада. Перед нами — низкие бараки. На сером дождливом небе черные сучья деревьев. Внизу в лощине невидимый отсюда город. Оттуда доносились сокрушительные удары: словно кто-то нечеловечески огромный ломился там в ворота. У немцев были бледные лица.

IV

И все-таки они успели нас увести. Дорога на северо-запад была еще свободна. Когда мы проходили мимо «северного» лагеря, к нам присоединили несколько десятков русских пленных, больных и докторов. С нами шла вся лагерная охрана, вооруженная пулеметами и «панцер-фаустами». Они радовались, что удалось уйти.

Но русские шли за нами по пятам, и мы не теряли надежды, что они успеют нас освободить, прежде чем немцы переправят нас через Одер. Около Нейштетина нас совсем было накрыл разлив боя. Стреляя из носовой пушки, над нами пронесся русский истребитель. Отдаляясь с неправдоподобной быстротой, он, словно взле-

*) Еще немного и я бы ткнулся мордой в землю.

тев на гигантских качелях, покатился в бездонность неба. И сейчас же сзади загрохотало. Казалось, там рухнуло небо. Метнулась мысль: это — конец, сейчас со мной произойдет то, что уже произошло в эту войну с миллионами людей, я буду убит.

Я оглянулся назад. Что же, я должен был признать, не так уж плохо выглядела эта «объективность» уничтожения. Она надвинулась мгновенно-быстро, хищно, как зверь, как тать. Небо грозное, как на картинах Делякура. С восторгом ужаса я увидел чудовищную грань, за которой начиналось то, чего я никогда не мог себе представить: моя смерть, исчезновение всего, несуществование. И уже нельзя было удержаться. Все, как по накренившейся палубе, катилось к этой черте.

В наступившей после взрыва тишине раздался приближавшийся топот копыт. Из глуби сумерек на огромной, тяжело скакавшей лошади вырос черный всадник. За ним на отпряженных артиллерийских битюгах проскакало еще несколько немцев. Потом цепочкой — так выбегают на поле футболисты — показались пехотинцы. Это были эсэсовцы-латыши. Впереди, заботливо держа перед собой ручной пулемет, бежал рослый, рыжий, сорокалетний унтер-офицер. На его бледном, с перекошенной улыбкой лице глаза бегали с умным и хитрым, как у крысы, выражением. Его, видимо, смущало, что он так бежит как провинившийся школьник.

Но он напрасно стыдился. За их спиной опять загрохотало с такой яростной и торжествующей силой, что никто не устоял бы. С бьющимся сердцем я ждал. Сейчас за этим грозным грохотом, перед которым бегут непобедимые немцы, на дороге покажутся русские.

Но надежда еще раз была обманута. Стрельба стихла, и мы скоро прошли мимо рогаток и проволочных заграждений немецкого оборонительного рубежа.

И в следующие дни, видимо, принимая нас за немецкую пехоту, нас иногда обстреливали русские истребители. Все время вдали долбила артиллерия. Мы проходили безлюдные деревни и местечки. Брошенные крестьянские дворы уныло чернели разоренными вороньими гнездами. В местечках — пустынные, призрачные улицы. Под свинцовым небом жмутся друг к другу островерхие дома. В крышах и стенах пробитые снарядами дыры.

По дороге попадались обозы беженцев. Телеги с пристроенными брезентовыми навесами, как у переселенцев на Дальний Запад. Надежды, что русские нас отобьют оставалось все меньше. На душе было скверно: страх быть убитым накануне освобождения, недовольство самим собой, отчаяние от мысли, что немцы успеют перевести нас через Одер.

Ночевали на сеновалах. К счастью погода стояла необычно для февраля теплая, никто не поморозил ног.

Раз мы целый день чего-то ждали в большом селе. Опять надежда: русские перерезали дорогу. Мы расположились закусить в са-

рае на горе наваленной выше переметов соломы. Ели консервы с хлебом и раздобытые у «бауэра» яйца. Вдруг над самым сараем завыл мотор и в соломенной крыше зашуршали пули, словно град ударил. Мы все невольно втянули головы в плечи. Только Шарль остался невозмутимо спокоен. Держа в одной руке яйцо, а в другой ложечку он, посмотрев вверх, весело сказал:

— L'oeuf à la mitrailleuse!*) — и довольный собой засмеялся.

Мне стало досадно, почему не я это сказал. Мне никогда не приходило в голову ничего остроумного.

Кончив закусывать, мы вышли за ворота. В конце длинной деревенской улицы показался немецкий солдат. С опущенной головой, он медленно шел вдоль дощатых заборов. Он был без каски и без винтовки, тщедушный мальчишка лет семнадцати. Он не смотрел ни по сторонам, ни вперед, его руки безжизненно висели. Хозяин двора, где мы остановились, подошел к нему и что-то спросил, но тот посмотрел на него безумно точно пьяный и, ничего не ответив, продолжал идти. Потом показался еще другой солдат. Он тоже шел медленно, как ходят выздоравливающие. Так по одному, они весь день проходили через деревню. Некоторые останавливались отдохнуть и, прислонившись спиной к забору, подолгу неподвижно сидели с закрытыми глазами. В стороне, откуда они шли, невидимые огромные молоты безостановочно вбивали в небо лязгающие железные полосы.

Хозяин двора, надев новые, с блестящими голенищами сапоги, пошел куда-то, верно за новостями. Когда он вернулся по его расстроенному лицу мы поняли, что положение становилось все тревожнее. И действительно он вывел из конюшни лошадей и стал впрягать их в телегу, с прилаженным брезентовым верхом.

Я пошел к нашим врачам. Они сидели теперь в доме самого «бауэра». Конвойные унтер-офицеры становились все любезнее. Мы обсуждали положение, когда вошел хозяин. Он остановился в дверях: долговязый, нескладный, с маленькой головой на длинной, с выступающим кадыком шее. Он тупо смотрел на нас, мигая красными воспаленными глазами.

Унтер-офицер Кох, пьяный и возбужденно веселый, спросил его, не согласится ли он продать пленным врачам две или три курицы.

— Ах, да, пожалуйста, — сказал «бауэр» расстроенным голосом и вдруг быстро заговорил, с недоумением смотря на свои большие рабочие руки: — Вот этими руками я вбил здесь каждый гвоздь. Я бедный человек, я всю жизнь работал. Все здесь собственным горбом нажил — и землю, и дом, и амбары, и плуги. А теперь бюргермейстер говорит: все бросать и уходить. Ему хорошо, у него деньги в банке, а маленьким людям как быть? Нет, никуда я не поеду, — сказал он с внезапной решительностью. — Я здесь родился, всю жизнь прожил. Авось русские тоже не всех поубивают. — По его некрасивому птичьему лицу текли слезы.

---

*) Яйцо а ля пулемет.

Мы выступили ночью. Они еще раз успели нас увести.

Прошло несколько дней. Мы все выше поднимались на северо-запад. Все произошло самым неожиданным образом, когда мы уже совсем перестали надеяться. Мы остановились в полдень на большой ферме, в коровнике. Я еще не видел таких ферм: розовый помещичий дом, все сараи каменные, в коровнике больше сотни племенных коров. Жители деревни еще не получили приказа выезжать и все было спокойно. Только уж слишком долго мы здесь оставались, словно ждали, когда дорога будет свободна.

И вот, сначала издалека, а потом все ближе и ближе стали слышаться орудийные выстрелы. И странно, не там, откуда мы пришли, а впереди, куда нас гнали.

Нарастая, звуки боя гремели все ближе, и вдруг смолкли.

— Смотрите, русские танки, — сказал сержант Бенуа.

«Не может быть, — подумал я, — верно шутка». Пять лет мы ждали этого, только об этом думали и молились. И мне невероятным, невозможным, как выигрыш в лотерею миллиона, показалось, что сейчас наше желание исполнится. В жизни не бывает таких удач.

Я еще боялся верить, а между тем уже нельзя было больше сомневаться. Я видел, как старый вахман, припадая на одну ногу, бежит через двор спрятаться за сараем. И все немцы куда-то исчезли.

Мы лежали в проходах между стойлами. Сердце бешено колотилось. В открытую дверь коровника мы видели между столбами ворот проезжую дорогу. По ней, как в цветном фильме, шли гуськом коричнево-зеленые танки. В одном, в орудийной башне стоял человек. Ворочая станковый пулемет во все стороны, он спокойно, так садовник поливает клумбы, стрелял вокруг себя в воздух.

Танки то останавливались, то снова медленно двигались. Выходить или не выходить? Сколько было предупреждений не выходить, пока не схлынет первая волна ударных войск.

Вдруг кто-то крикнул:

— Смотрите, они разговаривают с французскими пленными.

Восторженно улыбаясь и крича, сержант Бенуа выбежал из коровника и бросился к танкам, размахивая белым платком. Я никогда такого длинного не видел, может быть это был шарф, а не носовой платок.

Мы окружили танк, остановившийся у ворот. Вблизи он был большой и широкий — выползший на сушу броненосец. Русские сидели и стояли на нем тесно, точно грибы в лукошке. Коренастые, крепкощекие, они смотрели перед собой с выражением гордой уверенности. В первое мгновение мне показалось, у них у всех одинаковые круглые лица. Из нашей толпы на танк полетели пригоршни сигарет. Некоторые бросали целые пачки. Но русские, казалось, были этим недовольны: они отрицательно качали головами. Один все-таки зажег сигарету, но сейчас же, словно с отвращением, ее отбросил. Она упала к моим ногам и, зашипев на сырой земле, погасла.

Между тем, лица русских, так поразившие меня в первое мгновение своей непохожестью на «наши», французские, бельгийские, сербские, уже начали казаться привычными, обыкновенными, именно такими, какими «должны быть» лица у людей. И вовсе они не были все одинаковые. Каждое по-своему напоминало мне детство. Особенно один, в черной кожанке с золотыми погонами был похож на маминого брата, дядю Колю, только дядя Коля был морской, а не армейский офицер. Я словно был удивлен открытием, что в России после нашего отъезда продолжали жить такие же люди, как при нас. Но их по-родному знакомые лица были как будто грубее, чем прежде. И еще какая-то другая перемена в них произошла, но я не мог ее определить.

На мой вопрос, куда нам теперь идти, сидевший с краю махнул рукой:

— Самое лучшее, идите по танковому следу.

— Немцев нету? — спросил он с любопытством.

— Нет, с нами были только вахманы, да все разбежались, — сказал я, забывая, что он верно не знает, что такое «вахман».

Но он думал уже о другом. Показывая мне карту, он спросил:

— А сколько отсюда до моря?

Я не узнавал на карте ни одного знакомого названия.

— Еще далеко, километров семьдесят, — сказал я удивленно.

Он весело повернулся к своим:

— Что ж, к вечеру дойдем.

Колонна прошла вперед, потом опять остановилась. Другой танк, такой же огромный, с грозно и жадно протянувшимся из башни орудием стал около нас. Один из шедших с нами русских пленных протиснулся вперед.

Тянясь к танкистам больнично-серым лицом, он сказал дрожащим от волнения голосом:

— Товарищи, я тоже русский.

Сидевший с краю офицер, даже не взглянув на него отрезал:

— Я русский, — он сделал ударение на слове «я»,— а ты м. . . !

У этого офицера лицо было черное от порохового дыма. Серые блестящие глаза смотрели перед собою мрачно, раздраженно и смело. Подстриженные усы и бочковатые щеки делали его похожим на кота. В руке он держал револьвер, а на поясе у него еще висели гранаты и кинжал. Подняв голову, я увидел глаза других русских, сидевших и стоявших на танке. Тогда я понял, чем отличались их лица от тех, которые я видел в детстве. В них не было прежней русской мягкости. Точно их опалил огонь какой-то огромной плавильной печи: они казались почти черными. Я и горд был, что русские стали теперь такими: победили в условиях, когда всякий другой народ сдался бы. И, вместе с тем, я смотрел на них с боязнью. В их глазах было не наигранное, а простое грозное выражение готовности к борьбе, убийству и смерти.

Колонна опять двинулась. Танк за танком медленно проходили мимо. На них с револьверами и автоматами в руках стояли и сидели

люди все с такими же мрачными и решительными лицами. С одного танка нам крикнули: «Ищите оружие, б . . ., идите с нами с немцами драться». Я понимал, что русских, привыкших воевать в любых условиях без надежды на пощаду, должно было раздражать, что мы идем как стадо баранов. Но все-таки я был рад, что мои товарищи-французы не понимают по-русски.

На одном танке стояли люди, непохожие на русских: смуглые, плоские лица, крючковатые носы. У некоторых бороденки жидким жгутом. Заметив в нашей толпе толстого узбека в белой папахе, они стали что-то возбужденно лопотать странно пискливыми голосами. Один, сжимая винтовку и подпрыгивая от злобы, крикнул по-русски: «Власовец? Расстрелить!» Толстый узбек отругивался на своем непонятном мне гортанном языке.

Потом пошли тягачи пушек. На лафете одного орудия, беззаботно смотря в небо, лежал на спине молодой курносый красноармеец. Одну руку он положил под голову, другая, раскачиваясь, свисала почти до земли.

Догоняя колонну, прошло еще несколько танков, потом торопливо промчались крытые грузовики, и шоссе опустело. Будто могучий ветер пронесся и все смел на своем пути. Ненавистное, так долго казавшееся несокрушимым, гитлеровское царство развеялось, как марево. Я был ошеломлен. Все так быстро произошло, так просто.

Поднялись споры. Одни говорили, что благоразумнее оставаться на ферме ждать, когда подойдут главные русские силы, другие, что нужно как можно быстрее идти в тыл.

— Я буду делать, как скажет толстый русский офицер, — решительно заявил Шарль. Так он называл шедшего с нами русского, который только недавно попал в плен. От пленных 41-го года, с их почти уже могильными лицами, его отличали кумачевый румянец и глаза, блестевшие молодой силой жизни. У него было толстое, с крупным носом лицо, напоминавшее портреты Ломоносова. С другими русскими он вовсе не обращался как начальник, но я заметил, — все, что он предлагал, они сейчас же торопливо исполняли. Они слушали его рассказы с почтительным, почти заискивающим вниманием, видимо, стараясь понять принесенную им с собой атмосферу русской армии, не той, какую они знали в дни разгрома, а новой, победившей могучего и беспощадного врага, который столько лет держал их в плену. По их недоуменным улыбкам я видел, как им удивительно было, что больше нет комиссаров, и что офицеры носят золотые погоны, и священники опять в почете.

Я сказал Николаю, так звали краснощекого русского, о наших колебаниях. Он слегка нахмурился, потом тряхнул головой:

— Да что там. Идем вперед. Я и на войне так: как решили, так и делать, а то — то да сё. Чего там думать, будем идти пока можно, — и он решительно пошел по дороге своей неторопливой, но быстрой, слегка перевальчивой походкой.

— Как? И ночью идти будем?

— Нет, ночью не будем. Нельзя. Как позатемняет, переночуем где-нибудь.

Он был младший лейтенант.

— Собственно уже полный, — сказал он, с трудом сдерживая довольную улыбку, — только производство еще не пришло. А тут попал в плен. До что же, кроме самого себя никого не могу винова-тить. Напился пьяный и заехал прямо в немецкие боевые порядки.

Мы шли вперед. Вольный ветер несся нам навстречу по равнине, свистел в ушах, ширил грудь дыханием свободы. Я больше не чув-ствовал усталости. Мне казалось, я могу идти бесконечно.

На повороте дороги — телеграфный столб, срезанный снарядом, как лоза ударом шашки. Рядом, в канаве — опрокинутая бежен-ская повозка. Весь скарб из нее вывалился: ведра, красные пери-ны, разное тряпье. В оглоблях, неестественно подогнув ноги, окоче-нелые лошади. В нескольких шагах отброшенные сотрясением воз-духа тела ребенка и женщины. Я посмотрел и сейчас же отвер-нулся. Верхняя, нетронутая часть туловища женщины была в чер-ной одежде, но ниже пояса начиналось что-то кровавое, толстое, раскоряченное, как освежеванная туша.

К трупам шли с лестницей два старых сгорбленных немца.

Кое где на уже обнажившемся из-под снега пустынном поле, как копны скошенной травы, лежали в своих зеленоватых шинелях убитые немецкие солдаты. Только недавно кончился бой, но уже над мертвыми опускались тишина и забвение.

Скоро мы пришли в маленький городишко. Шоссе пересекало его насквозь. Всюду следы войны: в стенах домов проломленные снарядами дыры, вся облицовка побита пулями и осколками. Как сыпь. Неприятно смотреть.

Нам встретились двое русских с автоматами в руках. Один дол-говязый, другой совсем еще мальчик, оба в обтрепанных серых шинелях. С равнодушными, скучающими лицами заглядывая в окна домов, они шли волоча ноги.

— Что же, дорога свободна, но по домам еще прячутся немцы. Мы вот теперь прочесываем переулки, — сказал высокий, посмо-трев на нас без всякого любопытства.

Мы уже выходили из города, когда сзади кто-то из товарищей вскрикнул:

— Смотрите, ведь мы же по немцу идем!

Я обернулся. Там, где я только что прошел, виднелась на до-роге словно нарисованная, расплывчатая, совершенно плоская, зе-леноватая фигура, с коричневым пятном вместо лица: зловеще-смехотворное подражание Пикассо. Было трудно поверить, что это труп немецкого солдата, расплющенный гусеницами танков. Но вглядевшись я увидел, что коричневое пятно — действительно лицо человека, вдавленное в толщу асфальта. Вот узкий, сломанный затылок, вот словно приклеенный клок рыжих волос и голубова-тый кружок вытекшего, размозженного глаза.

В стороне лежал на боку другой немец. Его молодое глинистое лицо было пробито во лбу точно зубилом. Как раз над переносицей — черная круглая дырка. Еще один мертвый сидел в дверях маленького особняка: были видны подбитые гвоздями желтые подметки его новых башмаков. И всюду около стен — я теперь видел — лежали убитые немцы.

На самом выезде, упершись в сломанное дерево, стоял небольшой сгоревший танк. Около него ничком лежало в канаве что-то черное, обугленное, что было раньше человеком.

— C'est un Russe,*) — сказал позади кто-то из товарищей.

Я отвернулся. Мне почувствовалась вокруг этого танка невыносимая напряженность. Словно здесь смерть с особенной яростью боролась с упорством человека.

— А что, ведь в последнее время у русских меньше было потерь, чем в первые годы войны? — спросил я у Николая.

Мне недостаточно было знать, что русские победили. Как в детстве, когда я радовался, что Кузьма Крючков один убил одиннадцать немецких улан, я хотел теперь, чтобы у русских было меньше убитых, чем у немцев.

— Вот сам видел, сколько у русских убитых: один, два и обчелся, а немцев до хрена, — сказал Николай с убеждением.

Я стал расспрашивать его о «катюше».

— Там, где немцы особенно упорно сопротивляются, туда значит «катюшу» и подбрасывают. Она и на самолетах бывает, и на танках. Все пожгет, только иди и забирай. Но и у немцев один миномет есть. Тоже здорово панику дает, — сказал он, улыбаясь и покачивая головой.

По дороге нам встретился русский обоз. Низкорослые лошаденки, по-козьи цепко переступая по обледенелому шоссе копытами, везли телеги, груженые мешками и ящиками. Уныло тряслись дремлющие возницы. Один молодой, в короткой серой шинели, вприпрыжку догонял свою телегу. За спиной у него, не на ремне, а на веревке, болталась винтовка.

И вдруг мне почудилось, будто вокруг этого обоза воскресает вся знакомая с детства грусть русской деревенской глуши. И при Алексее Михайловиче и при Грозном верно шли такие же обозы и так же тряслись на телегах мужики в серых сермяжных кафтанах.

— Вот уже обозы подходят, значит дорога свободна, — говорили мы обрадованно.

Но уверенности не было. Ходило много рассказов, как пленные, освобожденные русскими танками или конницей, потом опять попадали к немцам. Я сказал Николаю о наших опасениях.

— Да, бывает, конечно, — ответил он неохотно. — До ранения я сам в казачьих частях служил. Артиллерия и танки проломят ворота в немецкой обороне, а мы, значит, в эти ворота и по немецким

---

*) Это русский.

тылам: взрываем, дезорганизуем. Побьем все и обратно. Это иногда самое трудное было — обратно к своим пробиться.

— Какие же это казаки были, донские или кубанские? — спросил я с любопытством .

— Да сначала и донские и кубанские, а потом, когда многих побили, всякие пошли: черниговские казаки, орловские казаки, бердичевские, понимаешь?

Уже было темно, когда мы пришли в какую-то деревню. Решили здесь заночевать. В одном доме зажегся свет. Что-то недоброе, воровское чудилось в этом освещенном окне на вымершей улице, с плохо различимыми во мраке заколоченными домами. Товарищи просили меня сказать Николаю, что это подозрительно, может быть, шпионы подают условный знак.

— Хорошо, хорошо, потом посмотрим. А ты скажи своим ребятам, чтобы пока по домам не ходили и ничего не брали и на соломе чтобы не курили.

Ночь провели в сарае на дворе большой фермы. Говор устраивающихся на ночлег товарищей постепенно затих. Мне не спалось. Солома старая, слежавшаяся неровными окаменелыми буграми. Потянешь, в руках остается только гнилая труха, не набрать ноги укрыть. Было холодно и тесно. Ниже меня молодой поляк и девочка-полька всю ночь возились в темноте и быстро что-то друг другу шептали. Девочка заходилась тонким, радостным смехом. Я слушал их возню с неясной досадой. На душе было печально. Я не хотел думать о будущем — какое же будущее, если немцы, может быть, опять нас захватят. Я смотрел в распахнутые двери. Ничего не различить. Снаружи почти такая же темь, как в сарае. Сырой туман, а за туманом непроницаемая чернота, словно там больше не было пространства. Только постепенно по каким-то белесым просветам я стал угадывать за тяжкими пластами черных туч глубину пасмурного неба. Я забылся со странным чувством безразличия к жизни.

V

На рассвете Николай, уже куда-то отлучавшийся, умытый и румяный, пришел за мной. Мы пошли в дом, где горел свет. В комнате, обставленной как гостиная, хлопотали двое шедших с нами русских пленных. Один растапливал печку, другой мылся, согнувшись над стоявшим в углу умывальником.

На обитом красным плюшем диване сидел красноармеец, с виду лет шестнадцати. Маленький детский нос. Глаза под выгоревшими бровями смотрят весело и дружелюбно. Он все время улыбался, но чувствуя особенность своего положения, старался говорить, как взрослый — степенно, с покровительственным доброжелательством.

— Ну, вот, идите теперь в тыл, там в штабе вам дадут направ-

ление. Или, если хотите отдохнуть, выбирайте лучший дом, берите, что хотите, пейте, ешьте. Жителей все равно нет. Все поубёгли.

На кухне товарищи варили шоколад. Молодая немка, с глазами блестевшими на раскрасневшемся от жара лице, гремела чугунами. Я смотрел на ее широкую спину и могучие бедра и мне было странно думать, как теперь все изменилось. Мы больше не пленные, которым запрещено было даже разговаривать с немецкими женщинами, а, наоборот, она суетится, чтобы нам угодить. Как ни странно, у нее было веселое выражение. Верно радовалась, что самое страшное прошло, бой кончился, село занято русскими, а ее не тронули и дом не разграблен.

Когда сварили како, поднесли и немке Она выпила две чашки. Заводя от блаженства глаза, повторяла, вдыхая подымавшийся с паром аромат: „Ach, Schokolade!“

Закусив, мы отправились дальше и скоро пришли в большую деревню. На площади стоял русский танк, с наведенным вдоль дороги орудием. А рядом с танком — раскоряченный, угловатый автомобильчик с брезентовым верхом. Я тогда еще не знал, что это знаменитый «джип». Около автомобильчика стоял русский офицер в меховой шапке, но без шинели. На его плечах блестели в лучах мартовского солнца золотые погоны.

Я спросил его, что нам делать. Мне показалось, он был в замешательстве.

— Да вот идите по этой дороге, — показал он на шоссе, — дойдете до штаба, там вас направят в тыл.

Я спросил:

— А как дорога, свободна?

В той стороне, куда он показал, слышалась вновь разгоревшаяся стрельба.

Он посмотрел на меня, потом на носки своих сапог.

— Дорога-то свободна, — сказал он неуверенно, — да только вот в лесу, на кирпичном заводе, засели еще немцы. Могут обстрелять. Мы их оттуда выбиваем. У них там танки, да еще две или три самоходки.

В это время, напевая развеселую плясовую, к нам подошел молодой солдат. Он широко улыбался пьяной блаженной улыбкой. Его розовые уши оттопыривались по бокам черных, обезображенных страшным ожогом щек. На груди болтались две медали — желтая и серебряная. Заметив чужаков, он, покачнувшись, остановился. Улыбка сошла с его лица. Оглядывая нас с внезапной самолюбивой подозрительностью, он надвинул на брови легко ходившую по бритому черепу шапку и вдруг, вытянув руки по швам, представился:

— Русский танкист Ванька!

Мы вышли из деревни и опять нас охватило беспокойство: чем дальше мы шли, тем ближе гремели выстрелы. Теперь не только

пушки, но даже мерное потрескивание пулеметов было слышно. Словно мы шли не в тыл, а в самое пекло боя.

Раскачиваясь на большой скорости, нам навстречу с тревожной торопливостью промчалось несколько крытых грузовиков. Последний замедлил ход и остановился. Николай подошел к шоферу. Тот что-то ему сказал, я расслышал только непонятное мне слово «на огневую». Покачивая головой и смотря на Николая внимательным спокойным взглядом, шофер прибавил:

— Нельзя. Назад.

Грузовик рванул и помчался дальше.

— Ну, что? — спросил я у Николая, хотя уже понимал в чем дело.

Николай казался смущенным и озабоченным.

— Нужно возвращаться, дорога впереди перерезана.

— А как же эти русские проехали?

— Прорвалось несколько машин. Видишь, танковая колонна прошла, а немцы потом вышли из леса и перерезали дорогу.

Мы вернулись назад в деревню. Здесь было заметно теперь движение. Несколько солдат, застегивая пояса, шли к танку. Офицер стоял все на том же месте. Я сказал, что нам посоветовали вернуться. Он слушал спокойно, обдумывая, что ответить.

— Да пусть идут по дороге, — засмеялся стоявший рядом старшина.

— Ах нет же, могут быть лишние жертвы. Надо этого избежать, — укоризненно посмотрел на него офицер. — А знаете что? — обратился он ко мне, — располагайтесь здесь в деревне. Выбирайте лучшие дома. Берите, ешьте, что хотите, отдыхайте. А когда дорога будет свободна, пойдете себе спокойно. Ведь это только остатки группировки, которую мы вчера разбили.

— Вот, говорил же, что трудно будет развернуться, — с досадой сказал он, взглянув в сторону танка.

Другой русский, который смотрел на нас с дружелюбным сочувствием, видя, что мы стоим в нерешительности и, верно, думая, что я плохо понимаю по-русски, стал объяснять мне, стараясь произносить слова с особенной убедительностью:

— Ведь вам куда нужно? в тыл? а там фронт! — кивнул он в торону дороги. — Самое лучшее, сделайте, как сказал старший лейтенант. Пока дорога не освободится, оставайтесь здесь в деревне.

Смотря на его умное и приветливое, чуть скуластое лицо, я испытывал странное чувство, что я где-то видел его еще в детстве, в России.

Мы разбрелись по дворам боковой улицы. В домике, в который я вошел с несколькими товарищами, мы нашли на кухне на столе тарелки, миски, остатки неубранной еды. На полу — груды вываленного из шкафов тряпья.

Мне стало тоскливо, и я вышел на улицу. Все время воздух вздрагивал от орудийных выстрелов. Мне встретился один из рус-

ских пленных, которые шли с нашей партией. Он сказал мне, что Николай на площади около танка.

— Что нового? — спросил я, хотя обычно избегал говорить с этим русским. Меня пугало его мертвенно-серое лицо.

— Да что, пришли два русских танка, сунулись было в лес, а там у немцев целая дивизия, и тяжелая артиллерия, и танки, и самоходки. Еле ушли, — сказал он будто со злорадством.

С неясным и тяжелым чувством я бродил по деревне, но не решался пойти на площадь. Вдруг на улицу с другого конца вполз на брюхе широкий русский танк. На нем была куча людей. Стоявший на подножке человек без шапки, задохнувшись, спросил меня:

— Немцы есть?

Его светлые глаза настороженно и быстро двигались под решительно нахмуренными бровями. По пятнам румянца, горевшим на его щеках, и по разгоряченным, как от быстрой артельной работы лицам его товарищей, чувствовалось, что танк только что вырвался из боя. Но мне казалось, что я вижу всё это будто на экране, и мне нужно было делать усилие, чтобы вспомнить, что я сам подвергаюсь опасности. Точно я надеялся, что бившие по деревне снаряды меня не тронут: это было бы несправедливо, не по логике — ведь я только свидетель, а не участник боя.

Недоверчивой улыбкой давая понять, каким странным мне показался вопрос о немцах, я сказал:

— Здесь на площади стоял русский танк.

Но я уже догадывался.

Белокурый переглянулся со своими.

— Ну, а еще русские танки были?

— Как же, вчера целая колонна прошла.

— Сколько? Много?

— Много, очень много, больше ста верно.

Обрадованно посмотрев на своих, он спросил:

— По какой дороге?

Я показал рукой. Он что-то шепнул сидевшему с края офицеру с прямоугольными плечами и толстым мучнистым лицом.

— А что немцы сюда не придут? — спросил я.

— Нет, не придут. А вы кто сами будете?

— Бывшие военнопленные: французы, бельгийцы, есть поляки, — я показал на стоявших на улице товарищей.

— Испанцы, — усмехнулся мучнистый.

— А сколько человек? — продолжал выпытывать белокурый.

— Человек сто двадцать.

Сузив серые глаза, он пытливо на меня посмотрел. Запоминая, повторил:

— Сто двадцать.

Я спросил его:

— Что нам делать? Нам русский офицер сказал: располагай-

тесь в лучших домах, берите, ешьте, что хотите, ждите, когда дорога освободится.

— Правильно, так и делайте, зарежьте свинью или корову, зажарьте и ешьте, — опять словно с насмешкой посоветовал мучнистый.

В это время к танку подошел высокий худой старик-«остовец». На голове у него была вытертая румынская шапка.

— Говори, немцы есть? — набросился на него белокурый, испытующе всматриваясь в его лицо. А про меня он, казалось, сразу забыл, словно решив, хотя мы только что говорили по-русски, что как француз я не могу его понимать.

Старик смотрел на него без страха. В его впалых тусклых глазах даже будто усмешка появилась. Открыв под жидкими усами беззубые десны, он прошамкал:

— Да нету, еще вчера поубёгли.

— Ну, смотри старик! — сказал белокурый с театрально-грозным выражением. Он вообще удивительно напоминал актера, которого я видел когда-то в «Грозе». Такое же чистое, сухощавое, с правильными чертами лицо. Да и говорил он совсем как в Художественном театре. Только теперь он участвовал в пьесе с неизвестным концом. В этой пьесе убивали по-настоящему и ничего нельзя было переиграть и он знал, что от правильности и быстроты его решений зависит жизнь его самого и его товарищей.

Танк двинулся и с тяжелым грохотом, огромный, железный быстро прополз среди маленьких домиков и исчез за поворотом. Товарищи меня обступили:

— Ну как, что они говорят?

Я отвечал неопределенно. Я не хотел даже самому себе в этом признаться, но уже догадывался, уже знал, хотя твердил себе, что этого не может быть.

Я вернулся в наш домик. Шум боя приближался. Снаряды, сверля воздух с неприятным свистом, проносились над самой крышей. Все чаще громово бухали панцер-фаусты. Мы почти не разговаривали. Шарль нашел альбом с марками. Осторожно отклеивая марки, он складывал их в конвертик из прозрачной бумаги. Два других товарища рассматривали ворох подобранных с пола фотографических карточек. Остальные, ничего не делая, безучастно сидели вокру стола. Было холодно. На лицах — знакомое сосредоточенное выражение борьбы с подымающимся страхом. Меня знобило. Я лег на диван и укрылся кучей перин. Постепенно я начал согреваться. Я чувствовал такую усталость, что мне не хотелось говорить. Меня все больше охватывало унылое, но странно приятное чувство оцепенения. Радуясь, что справился с тревогой, я начинал дремать, но меня будили выстрелы, гремевшие все громче и яростнее. Потом незаметно наступила тишина. Я лежал, как в забытье. Вдруг со двора кто-то сказал:

— Eh, les gars, ce sont les boches. Il faut sortir.*)

— Не может быть! — вскрикнул я, очнувшись. Но я притворялся перед самим собой. Я помнил, как странно переглянулись русские, когда я их спросил, не придут ли сюда немцы. Я уже тогда знал.

Мы выходили на двор молча, угрюмо, с покорностью баранов. На сердце было так тяжело, что больше не оставалось ни страха, ни беспокойства, только тупое равнодушие. И странно, было скучно, не хотелось даже смотреть на немцев, на привычный постылый серозеленый цвет их шинелей. Они цепочкой шли по улице с автоматами и панцер-фаустами в руках. Всё пожилые, невзрачные люди. Впереди, тяжело дыша, трудясь, шел пузатый ополченец на коротких, кривых, как ятаганы ногах. Совсем другие немцы, чем те, молодец к молодцу, что ушли четыре года тому назад на восток. А это были поскребки нации, собранные в последнее ополчение.

Пропуская нас, у калитки стоял невысокий, узкоплечий унтер. Под стальным грибом каски — худое, с провалившимися щеками, но довольное лицо. Он держал в руках автомат.

Пять лет мы жили надеждой, что Германия будет разбита. Каждую осень говорили себе: «Это в последний раз мы собираем картошку». Но плен все длился. В минуты отчаяния нам казалось, — он никогда не кончится. И вот произошло чудо: уже началось возвращение в мир волшебной свободы, где мы когда-то жили, но чудо обмануло.

— Raus, raus! Los, Mensch!**) — добродушно говорил унтер. Под щеточкой усов его губы морщились довольной улыбочкой. Он не подозревал даже, как ненавистны нам были эти слова: „Raus, los“.

Маленький унтер все расспрашивал, сколько было русских танков.

— Здесь только один стоял, — говорили французы.

— Ach, wo,***) — сказал он со своей довольной улыбочкой, — мы уже два подбили. — Zwei,****) — повторил он, показывая два пальца.

Чувствовалось, что несмотря на усталость, немцы радостно возбуждены удавшейся атакой на деревню. Они повели нас на двор большой фермы и здесь, выстроив по четыре в ряд, начали нас пересчитывать. Несколько раз сбивались, начинали снова. Побеленная стена кирпичного сарая загораживала от нас шоссе. Немцы с пулеметами и панцер-фаустами торопливо занимали позицию под прикрытием этой стены. Они стреляли куда-то влево, вдоль невидимой нам за кустами и деревьями дороги. От одной кучки к другой перебегал, выкрикивая приказания, молодой офицер, с глазами,

---

*) Эй,ребята, это боши. Нужно выходить.
**) Выходи.
***) Да нет.
****) Два.

блестевшими на раскрасневшемся, как у игроков в теннис, лице. Он был с непокрытой головой, с волосами довольно длинными и волнистыми, а не коротко стриженными, как у всех немецких военных. Выходец из какой-то другой, неизвестной нам «геттингенской» Германии.

— Il est bien, ce petit lieuntenant boche,*) — сказал невольно им любуясь, кто-то из французов.

Отчаявшись нас сосчитать, унтер отвел нас в пустой свинарник: большое помещение, разделенное бетонными перегородками на маленькие загончики. Мне все теперь было безразлично и все-таки я содрогнулся, когда, сев на каменный пол, с отвращением прислонился спиной к стене, на поларшина от земли черной от многолетнего, въевшегося в цемент свиного помета. В открытых дверях, спиной к нам, на приступке сидел, поставив карабин между колен, грузный немец, с шеей, покрытой рыжими веснушками. Через его плечо я видел, как другие немцы, согнувшись, перебегали под стенкой сарая на противоположной стороне двора. Я не чувствовал к ним никакого любопытства. Это была даже не ненависть, а полная отчужденность, нежелание их видеть, знать, находиться с ними в одном мире, участвовать в их жизни хотя бы только свидетелем.

Казалось, бой удалялся. Удары орудий и панцер-фаустов слышались теперь реже и глуше. Я больше уже ни на что не надеялся и, чувствуя тяжелую усталость, сидел, закрыв глаза. И вдруг я услышал, как за перегородкой кто-то из французов со спокойной уверенностью сказал:

— Ну нет, теперь мы у немцев долго не останемся. Русские нас опять отобьют.

С моего места не было видно говорившего, а встать и посмотреть за перегородку у меня не хватало энергии. Судя по хриплому простонародному звуку голоса — верно крестьянин или рабочий.

— Почему ты думаешь, что русские нас опять отобьют? — спросил другой голос.

— А мне по дороге маленький немец сказал, что их дивизия окружена и они не надеются пробиться, — все с той же уверенностью отвечал первый голос.

«Ах, вот оно что, — подумал я, вдруг с радостью чувствуя, что все еще хорошо будет. — Немцы вовсе не победили, наоборот, для них все кончено. Как всегда, я слишком рано поддался отчаянию». Не вытерпев, я привстал и заглянул в соседний загончик. Это был Виньон, Виничка, как таинственно, на русский лад, прозвали его товарищи.

Виничка действительно был крестьянин, лет сорока, такой же маленький, как Бернар, по-бабьи обвязанный платком: у него была флегмона на шее. К его морковно-красному лицу был приделан довольно длинный, простой как у деревянных игрушек, нос. Блестящие бусинки глаз смотрели со звериной остротой, но вместе с

---

*) Он красивый, этот немецкий лейтенантик.

тем удивительно добродушно. Я знал, за пять лет плена он не научился по-немецки, но я не сомневался, что он правильно понял маленького унтера. Такие, как он, не говоря ни на каких языках, кроме деревенского французского, непостижимым образом умели объясняться с людьми всех национальностей.

К вечеру пальба совсем утихла. Нас вывели во двор и опять построили по четыре в ряд. Маленький унтер и еще один немец снова принялись нас пересчитывать, и снова у них получились разные числа. Потом пришел фельдфебель и что-то сказал маленькому унтеру и тот стал ходить по рядам, отбирая русских. Он трогал их за рукав, спрашивая со своей довольной улыбочкой: «Иван?». Но русские упирались, не хотели выходить из рядов. Только стый узбек, скосив к переносице зрачки, упрямо твердил:

— Я не русский, я — азиат.

— Азиат, а все-таки Иван, — настаивал унтер, произнося «Иван» с ударением на «и».

Я сказал ему:

— Это старые пленные, из одного с нами лагеря, из госпиталя.

— Им ничего не будет, они только должны идти отдельно, в хвосте колонны, — успокаивал он меня.

Наконец, он собрал всех русских и построил их сзади нашей колонны. Но как только он отошел, русские опять замешались в наши ряды. Вернувшись, он снова стал их отбирать, все так же спрашивая со своей неизменной улыбочкой: «Иван?» Только двоим русским, одетым во французские шинели и береты, удалось остаться с нами.

Отобрав русских, немцы опять начали нас пересчитывать и хотя числа опять не сошлись, больше не считали. Фельдфебель скомандовал, и нас повели со двора. Вся площадь и выходившие на нее улицы были теперь запружены немецкми войсками. Здесь были и броневики, и тяжелая артиллерия, и танки, и гусеничные бронированные машины, которые я прежде также принимал за танки, а русские называли их «самоходными орудиями» или просто «самоходками». Между машинами и лошадьми плотной толпой стояли пешие в шинелях разного цвета. Некоторые ополченцы были даже во французских шинелях. Я с беспокойством подумал, что русским трудно будет разобраться, кто француз, а кто немец.

Вся эта масса людей, лошадей и бронированных машин, которые, пока мы сидели в свином хлеву, бесшумно, как призраки, пришли в деревню, стояла, не двигаясь. Мы шли вдоль колонны с тревогой вглядываясь в лица немцев. Они молча на нас смотрели, с каким-то дремотным, непонятным выражением. Верно так же, как и мы, они не знали, куда нас ведут и что с нами сделают, но кроме легкого недоумения, откуда мы взялись, в их глазах не выражалось никакого чувства к нам — ни доброго, ни враждебного.

Русский танк, с командиром которого мы давеча разговаривали, стоял на том же месте. Но теперь он был весь обгорелый, с искалеченным орудием. Я смотрел с удивлением. Когда мы сидели в до-

мике, мы слышали, что стреляют совсем близко, но нам все-таки не приходило в голову, что бой идет в самой деревне. Раскоряченного автомобильчика возле танка не было. Русские верно успели на нем спастись. Мне было приятно это думать. И Николай верно с ними бежал. Я больше нигде его не видел.

За околицей стояло несколько немецких офицеров. Среди них выделялся один молодой, стройный, с круглым румяным лицом. Черная фуражка лихо заломлена. Запорошенные снегом русые волосы казались серебряными. Он внимательно всматривался в наши лица. Под взглядом его светлых глаз задерживалось дыхание. Проходя мимо него, мы робко замолкали.

Он остановил замешавшегося в наши ряды русского пленного, худого, с испитым лицом. Одна рука начисто отрезана. Пустой рукав пришпилен к плечу большой английской булавкой.

— Russe?*) — спросил офицер-эсэсовец негромко, но так, что все слышали.

Землистое лицо красноармейца посерело еще больше.

— Schwein!**) — Глаза эсэсовца блестели негодованием и его розовые щеки пылали. Он наотмашь ударил русского по щеке. Тот, не двигаясь, смотрел на него расширенными от ужаса глазами. Оборачиваясь на ходу назад, я видел за колыханием лиц идущих товарищей, как эсэсовец ухватил красноармейца одной рукой за плечо, как раз безрукое, отчего оно казалось неестественно узким. В другой руке эсэсовца блестел короткий, с широким светлым лезвием кинжал. Движение рядов относило меня все дальше. Шедший сзади товарищ наступал мне на пятки и уже опускались холодные, снежные сумерки. Я не видел, чем все это кончилось.

Колонна немецких войск постепенно редела. Теперь все реже попадались пушки, а все больше двуколки и беженские телеги. Около телег стояли семьи бауэров — старики, женщины, дети. Они молча, с удивлением, смотрели на нас спокойными блестящими глазами. На понурые конские шеи, на брезентовые верхи телег и на головы и плечи людей падали хлопья мокрого снега. Но, медленно погружаясь в наступавшую темноту, они, казалось, этого не замечали.

Вдруг мы отдали себе отчет, что идем без всякой охраны. И маленький унтер и другие конвойные, которые нас вели, исчезли. Дорога все больше пустела. Теперь только изредка попадались кучки немецких солдат. Некоторые сидели по обочинам дороги прямо на снегу. На их изнуренных лицах выражалась та степень усталости, когда уже даже смерть безразлична. Они смотрели на нас с угрюмым равнодушием. Один рослый, в расстегнутом белом кожухе, расставив огромные, согнутые в коленях ноги, сидел на снегу, закусывая хлебом с колбасой. Он сказал нам с непонятным в его положении смехом:

---

*) Русский?
**) Свинья!

— Deutschland kaputt!*)

Мы продолжали идти. Хвост немецкой колонны совсем уже поредел, но все не кончался. Далеко впереди виднелись телеги, беженцы, солдаты, даже танки. А еще дальше дорога, спускаясь в лощину, упиралась в черную стену леса. Нельзя было туда идти. Там, может быть, уже были русские. В потьмах они могли нас принять за немцев и скосить из пулеметов. Направо открылась усаженная березами дорога. Передние молча на нее свернули, и мы все за ними.

Скоро мы вышли к замерзшему пруду. Казалось, здесь было светлее. Над льдом брезжило какое-то белесое, призрачное сияние. На том берегу, в окнах крестьянских домиков, блестели черные стекла. Тишина. Не было слышно ни людей, ни собак. На этой стороне пруда — только одна ферма. Мы разбрелись по ее пристройкам. Человек двадцать расположились в каком-то сарае. Было тесно, весь угол загораживал большой станок. Крутая лестница уходила в черную дыру погреба. Решили заночевать здесь, а если утром опять начнется стрельба, перейти в погреб. Постепенно голоса замолкали. Кто спал, кто закусывал в потьмах. Огня не зажигали. Становилось все тише и холоднее. Железные ребра какой-то сельскохозяйственной машины безжалостно резали мне плечо, но я чувствовал такую усталость, что не хватало энергии переменить положение.

V

Мне снилось, я говорю с кем-то близким и любимым. Я никогда не мог потом вспомнить, кто это был и о чем мы говорили. Меня разбудил Виничка. Еле светало. Я смутно различал его настороженно приподнятую голову. Было холодно и сыро. Где-то далеко приглушенно бухали пушки.

— В погреб! — сказал Виничка.

Товарищи постепенно просыпались, но никому не хотелось вставать.

— Что, Виничка, испугался? — спросил кто-то со смехом.

Но сейчас же, словно разгневавшись, совсем близко загремели частые орудийные выстрелы. Больше никто не смеялся. Молча, торопливо собирали вещи и сходили в погреб. Оказалось, не погреб, а полуподвал, да еще засыпанный мелкой картошкой. Мы сидели, почти упираясь головами в кирпичный свод. Из-за тесноты ни потянуться, ни расправить занемевшие ноги. Шум боя все усиливался. Все ближе и ближе слышались взрывы и выстрелы. Это, верно, танки били с ходу.

Сквозь отдушину просачивался свет встающего дня. Я видел в полумраке бледные лица товарищей. Мы так тесно сидели, что я слышал дыхание моих соседей. Их глаза блестели совсем близко.

---

*) Германия капутт.

Никто не говорил. Я никогда еще не чувствовал с такой силой все почти враждебно постороннее и таинственное, что смущало меня в присутствии чужих людей. На уровне моей груди приходилось согнутое каменное колено товарища, который сидел немного выше. Мне казалось, он так крепко упирается в картошку подбитым гвоздями башмаком, чтобы утвердить свою отъединенность от меня. Словно хочет сказать: «Это моя нога и, пожалуйста, не рассчитывай за нее уцепиться. Если тебя убьют, меня это не касается. Тут каждый сам за себя. Ты воображал, что так как говоришь по-русски, ты станешь выше нас, чуть ли не начальником, а ведь ты даже не француз, а Бог знает кто. А теперь сидишь с нами в погребе и так же боишься, как мы».

Так мы сидели, каждый затаясь в своем теле, составленном из хрупких костей и жил, и каждый знал: может быть, в следующее мгновение случайное попадание разобьет, как глиняное, это тело. Мы ничем не можем помочь друг другу. «Как же это так, — думал я, — почему мы так непоправимо, так безнадежно разъединены, почему «я» моего соседа, такое же, как мое, смотрит на меня, как зверь из глубины пещеры, блестящими глазами, но видит только свою жизнь?».

Эта отчужденность от товарищей происходила, вероятно, оттого, что я боялся, и мне было неприятно, что они могут это заметить. Теперь мне гораздо труднее удавалось справляться со страхом, чем в начале войны. Тогда меня воодушевляло сознание, что я участвую в борьбе за Правду. А теперь ни о каком геройстве я больше не думал: лишь бы выбраться, лишь бы вернуться в Париж. Так обидно, так бессмысленно будет погибнуть накануне освобождения. Неужели это может случиться? Ударит снаряд и навсегда покроется мраком блаженный берег, который уже начал приближаться. Словно там цвел сад, олеандры, розы, и вставал светлый день. Из дома в глубине аллеи уже шли навстречу любимые, близкие люди... А в неустранимом настоящем нет ничего желанного, ничего человеческого. Только холод, близость уничтожения, не переставая бьют пушки.

Подняв брови Виничка прислушивался к звукам пальбы, видимо, стараясь определить, откуда стреляют и где ложатся снаряды. В нем одном я не замечал тщеславных усилий скрыть страх. Его лицо сохраняло естественное и простое выражение. В этом было что-то необыкновенно успокоительное.

В общем грохоте боя я различал мерное потрескивание автомата за стеной, словно там кто-то молол кофе или накручивал на скрипевшее колесо веревку с узлами. В ответ бил другой, более сильный автомат. Так продолжалось полчаса или час, потом постепенно все затихло. Только где-то вдалеке еще глухо стреляли пушки. И вдруг я услышал, как снаружи резкий голос протяжно прокричал:

— Сенька-а-а, дава-а-ай вперед!

Мне это показалось невероятным. Словно для меня, единственного из миллионов людей, было сделано отступление от всегдаш-

него равнодушия мира к человеческим желаниям и кто-то *там* решил, что в награду за то, что я так долго и страстно молился, моя надежда исполнится и тогда снаружи раздался крик красноармейца, который через тысячи верст пришел из России меня освободить.

— Это русские! — сказал я, с трудом сдерживая волнение. Но опять разгорелась стрельба и товарищи смотрели на меня недоверчиво.

Это были последние содрогания боя. Скоро все затихло. Виничка первый поднялся из погреба в сарай и, согнувшись пройдя мимо окна, остановился у открытой двери. Он стоял так несколько минут, внимательно прислушиваясь и высматривая. В настороженном выражении его лица и в том, как он смигивал, было что-то, напоминавшее старого зайца. Мне даже показалось, он поводит кончиком носа. Вдруг, замахав мне рукой, отчаянно крича: „Casimir, Casimir!“, он выбежал из сарая. Забыв о предосторожности, я бросился за ним.

Через двор, как люди, лениво осматривающие достопримечательности, брели двое русских с автоматами на изготовке. Один маленький, коренастый, в ватнике, другой — в долгополом кожаном пальто. Виничка бежал за ними: „Camarades, camarades!“

Сбоку вынырнул, непонятно откуда взявшийся, толстый узбек в белой папахе. Обгоняя меня, он кричал: «Товарищи!»

Но русские не оборачивались. Было непонятно, как они не слышат наших криков. Они уже выходили со двора, когда, наконец, мы их догнали. „Camarades!“ — крикнул Виничка еще раз и остановился с разинутым ртом. Тот русский, что был в кожаном пальто, вдруг, быстро обернувшись, навел на нас автомат и, перебегая по нашим лицам ошалело прыгающими глазами, задыхаясь закричал:

— Камарад? Родину продавать? Убью!

Это был мальчишка лет девятнадцати, худой, еще не сложившийся. Когда волоча ноги он шел через двор, казалось, он был совсем спокоен, но теперь, вблизи, мы увидели дрожащее иступленное лицо человека, только что вырвавшегося из боя. Он думал, верно, что мы по ним стреляли. Да и откуда ему было знать, кто мы? Многие немецкие ополченцы были одеты в шинели вроде наших. И еще этот узбек в белой папахе. Целые батальоны из пленных узбеков дрались на стороне немцев. Я смотрел в дуло наведенного на меня автомата: в нескольких вершках от моего живота в стальном кольце толстого ствола — черная дырка. Сейчас русский начнет стрелять. Пули пробьют мои внутренности. Как глупо... Ждать пять лет..., нет, не может этого быть.

— Казимир, да скажи ему, что мы французы, — теребил меня Виничка.

— Товарищ, ведь мы же французские пленные, — начал я было.

Другой русский сидел теперь на снегу. Со скукой смотря в сторону, он сказал:

— Бей их, власовцы.

Все это было так нелепо, что даже не было страшно. С огорчением и досадой глядя на русских я стоял, не подымая рук. Может

быть, это спасло нас. Видя на наших лицах не страх, а недоумение, русский в кожаном пальто, верно, почувствовал, что ошибся.

— Идем к офицеру, — решил он, совсем уже было успокоившись.

— Здесь с нами еще много товарищей, — сказал я.

— Где? — опять начиная задыхаться, вскрикнул он с таким возмущением, точно мы хотели его обмануть.

— В сараях, в погребах.

— Пусть все выходят. Я вас научу воевать! — угрожающе приговаривал он дергающимися белыми губами.

Товарищи, надевая мешки, выходили на двор. Когда они замечали, что русский держит нас под наведенным автоматом, радость сменялась на их лицах удивлением и беспокойством.

— Что такое, в чем дело? — спрашивали они меня тревожно.

— Кажется, они думают, что мы по ним стреляли, — отвечал я с досадой.

Русские построили нас в затылок и повели. Один шел сбоку, другой сзади. Они вели нас по какой-то другой дороге, не той, по которой мы вчера пришли. Налево, на самом взлобьи пологого подымавшегося холма, по-гусиному вытянув длинный хобот пушки, стоял русский танк. Он казался на снегу особенно черным и железным: даже издали чувствовался жгучий холод стали его омытых талым снегом гусениц, тяжко врезанных в развороченный ломкий наст. Снизу, с полей, затопленных белым туманом, холодный и сырой, но уже весенний ветер доносил благоухание оттаивающей земли. На бледном подножьи неба блистало недавно вставшее, еще расплавленное солнце. Райское фра-анжеликовское золотое сияние, разливаясь, переходило в вышине в такую лазоревую синеву, что если долго смотреть, — глаза начинала резать сладкая боль. Грудь, жадно вдыхая блаженный воздух, расширялась предчувствием невозможного счастья, любви ко всему миру, и готовности умереть.

Всюду виднелись следы боя: черные воронки, остовы сгоревших и разбитых снарядами броневиков, трупы людей, какие-то обгорелые тряпки и доски.

— А что немцы не придут больше? — спросил я шедшего рядом со мной русского в кожаном пальто.

Показывая на черные танки, широким веером расставленные на снежном поле, он сказал совсем теперь спокойно, почти дружелюбно:

— Куда там! Смотри, сколько наших танков пришло.

У поворота дороги стоял невысокий офицер. Не подымая головы, он внимательно слушал нашего вожатого. Я смотрел на него с беспокойством, но не мог понять по его осунувшемуся, спокойно-сосредоточенному лицу, добрый он или злой, и как он к нам относится. Он даже не взглянул на нас. В раздумьи смотря себе под ноги, он сказал тихим усталым голосом:

— Ну, что же, веди в штаб.

Мы шли с тревожным и тяжелым чувством. Навстречу нам подымались по дороге все новые танки. Похожие на шахтеров люди, с черными от порохового дыма лицами, грозили нам с них кулаками и револьверами. Товарищи, пытаясь рассеять недоразумение, говорили: «француз, француз», и даже, как я их учил: «француски пленьи».

Нас привели на хутор. Здесь нас принял старшина: стройный, молодой солдат с миловидным лицом. Он был в тонких сапогах и без рукавиц. Только шапка на нем была теплая. Отведя нас в узкий темный сарай, он сказал:

— Что же, придется здесь пока подождать, а когда дорога свободна будет, тогда пойдете. Может быть еще сегодня вечером.

Я спросил:

— А немцы не отобьют нас опять?

— Да нет же, мы немецкую дивизию разбили. Это теперь только отдельные группы по лесам прячутся, вот мы их и вылавливаем. Но идти еще опасно. Выйдет из леса несколько автоматчиков и всех побьют.

На моих товарищей удручающе подействовало, что нас посадили в сарай. «Мы по-прежнему пленные. . . Повезут в Сибирь. . .» — говорили они с отчаянием и обидой Напрасно я старался их успокоить: «Старшина говорит, нас отпустят, как только дорога будет свободна».

Бой кончился. Больше совсем не было слышно артиллерии, но все еще хлопали винтовочные выстрелы или вдруг дробно и коротко стучал пулемет. Я сидел около открытой двери сарая, с жадным любопытством смотря на все происходившее на дворе. Мне так хотелось понять, что за люди советские русские.

В углу двора на грузовике с зарядными ящиками играет патефон. Пластинка вертится с легким шипением. Женский голос пел по-немецки на мотив фокстрота. Трое русских солдат слушают с блаженными улыбками. Один, молодецки шевельнув плечами, выставил ногу и переступив с каблука на носок пошел по кругу, тряся медалями на груди. Но он не мог попасть в лад и с сожалением остановился.

— Ils sont comme des bicots. C'est la même race!*) —с ненавистью сказал сзади кто-то из французов.

Я обернулся. Это был член кружка имени маршала Пэтена. Теперь он больше всех возмущался, что русские обращаются с нами не как с союзниками, а как с пленными.

Под стеной конюшни несколько русских, сидя на земле вокруг кострика, что-то варили в котелке. В ворота видна была проезжая дорога. Голые ветлы уныло качались там на ветру. Четыре приземистых человека в серых шинелях, тяжело переступая, несли к вырытой под кустом ракиты яме большое и грузное, провисающее

---

*) Они как бико (арго: алжирцы, марокканцы). Та же раса!

почти до земли, тело убитого товарища. Меня опять охватило чувство: так было и сто, и триста лет тому назад, и в дни, когда в финских топях и лесах только еще начиналась сермяжная, мужицкая Русь.

— Вишь, как зайцев гоняют, — со смехом сказал старшина, стоявший снаружи, прислонясь спиной к косяку двери сарая. С моего места не было видно, на что он смотрит.

Высокий красноармеец провел через двор пленного немца, уже немолодого, рослого, костистого, с огромными, висевшими коромыслом руками. На немце была короткая шинель и разбитые сапоги. При каждом шаге широкие голенища хлопали его по икрам. Его бледное, заросшее рыжей щетиной лицо дрожало, и он задыхался, будто всхлипывал. Красноармеец тоже задыхался; толкнув немца в спину, он сказал в злобном возбуждении:

— Ишь, сволочь, сам руки поднял, а подходить стали, выпустил обойму и бежать.

Пленных немцев сначала вели в дом «бауэра», где расположился штаб, а после допроса сажали в соседние с нашим сараи. За дверью старшина говорил кому-то: «Если правду отвечают, то все хорошо, старший лейтенант справедливый. Ну, а если кто врет, виляет. . .» Не договорив, он куда-то пошел, и я так и не узнал, что он хотел сказать. Выстрелы гремели со всех сторон, но иногда казалось, что стреляют залпами сейчас же за домом. «Неужели?» — спрашивал я себя. Но я не хотел верить, это было бы слишком страшно. Двое немецких офицеров в белых кожухах, широкие в плечах и в груди, тяжеловесные, уже немолодые, медленно шли к крыльцу. Я не мог отвести глаз от их лиц. У обоих было спокойное, только как будто слегка неуверенное, задумчивое выражение. За ними с равнодушным видом шел русский солдатик с автоматом.

Вдруг сделалось смятение. Несколько красноармейцев бегом построились во дворе. Властный железный голос отрывочно прокричал слова команды. Бойцы торопливо установили в воротах пулемет.

Но тревога оказалась ложной. Я пошел за водой. Пока я наполнял флягу, у колодца остановились двое русских. Они пришли откуда-то со стороны гумна. Один рослый, с длинными черными усами нес в руке автомат. Под сдвинутой на затылок шапкой его широкое медное лицо горело, как у зарьявшего в поле косца. Он напился жадными затяжными глотками и, утирая рот и усы тыльной стороной руки, посмотрев на меня, одобрительно сказал хриплым голосом: «Француз!»

Мне странно было, что это я — француз. С детства я привык смотреть на французов, как на иностранцев, с которыми русские много раз воевали, а теперь я сам француз. Этот красноармеец посмотрит на меня удивленно и недоверчиво, если я скажу ему, что я русский.

Старшина почти все время стоял у двери нашего сарая, но как только он отлучался, приходил солдат с красными, без бровей и

ресниц глазами на толстом, словно сделанном из брынзы лице. От него несло сивухой. Он все спрашивал, не хочет ли кто продать часы или кольцо. Один из французов дал ему колечко, шепнув мне, что оно медное, ничего не стоит. Русский надел кольцо на толстый безымянный палец. Посмотрев словно с удивлением, с трудом снял и, отдавая обратно, сказал: «Не надо». Кто-то предложил ему сигарету. Он затянулся раза два, потом, будто вспомнив, что вовсе не хотел курить, бросил сигарету на землю. Он возвращался несколько раз и все ходил между французами, всматриваясь в их лица с недоумевающим и подозрительным выражением человека, который ожидал чего-то другого, но не может вспомнить, чего именно, и боится, что его обманывают.

Старшина, когда был тут, не хотел его к нам пускать. Я слышал, как он ему говорил: «Да не ходи, ведь я отвечать буду».

Еще приходил солдат чуваш, совсем еще мальчик. Он тоже спрашивал, не хочет ли кто продать часы. Когда я ему сказал, что ни у кого нет хороших, он посмотрел на меня с детским разочарованием.

Позднее пришел высокий человек в добротной долгополой шинели. Смотря на меня узким лицом, с большим шишковатым носом и толстыми рыжими усами, он стал меня расспрашивать о положении во Франции. Говорил он не спеша и рассудительно, сам с удовольствием себя слушая. Было видно человека, который любит и умеет поговорить о политике. Своими оловянными глазами, солдатской выправкой и рыжими усами, он напоминал мне виденных в детстве царских унтеров. Я давно не слышал такого хорошего, как у него, русского выговора. Не вытерпев, я спросил:

— Простите, товарищ, вы из какой области? Вы так хорошо говорите по-русски.

Недовольный, что я его перебил, он посмотрел на меня с осуждением, словно я сказал что-то неуместное, и ответил почти обиженно:

— Из Пензы. — Немного помолчав, видимо, стараясь вспомнить, о чем мы перед тем говорили, расправляя рукой усы, он благожелательно и важно сказал: — Ну вот, посадят вас теперь в хорошие русские вагоны и поедете в Москву, а там НКВД разберет, при каких обстоятельствах каждый из вас вступил в ряды немецкой армии.

Я так и обмер. Он так дружески обсуждал со мной мировое положение, а на самом деле вот за кого принимает.

— Позвольте, товарищ, но ведь мы именно против немцев *воевали*, а вовсе не за немцев. Мы же французские военнопленные.

Он посмотрел на меня озадаченно, но не хотел сдаваться.

— Ну, уж там разберутся, — сказал он недовольно и ушел.

Когда вернулся старшина, я предложил ему сигарету. Он отказался:

— Нет, спасибо, я мало курю.

Я рассказал ему о моем разговоре с рыжеусым.

— Пьяный дурак болтает, а вы слушаете, — вырвалось у него с досадой. — Ведь я же говорил, как дорога будет свободна, пойдете в тыл.

Но я настаивал:

— Товарищ, вы бы все-таки объяснили. А то многие русские думают, что мы за немцев дрались. А мы же французские военнопленные, у немцев пять лет в плену сидели.

— Хорошо, хорошо, вот как старший лейтенант свободнее будет, я ему скажу, — пообещал старшина неохотно.

Приходил еще один солдат. Этот все разговаривал с нашим узбеком.

— Думаешь, я вашего брата не знаю. Слава Богу, двадцать лет в Туркестане жил, — говорил он, усмехаясь каждой черточкой широкого конопатого лица, дышавшего добродушием, удалью и лукавой веселостью. — Стреляете до последнего патрона, а потом руки вверх: не буду больше», — и подняв руки, как когда сдаются в плен, качая головой и щелкая языком, он бойко залопотал по-узбекски, что-то вроде «а-ля-лля-ля-ля!»

Опять вернулся ходивший куда-то старшина.

— Пойдем выпить, — неожиданно предложил он мне повеселевшим голосом ,— вот бы только закуски достать шикарной.

Двое французов, у которых оказались белый хлеб и копченая ветчина, пошли с нами. В соседнем сарае, положив автомат на колени, сидел на земляном полу русский солдат. Он сторожил сидевших за перегородкой пленных немцев. У него было по-цыгански смуглое лицо с мрачными, но добрыми глазами. Улыбаясь, он протянул нам свою флягу. Я глотнул и у меня захватило дыхание: будто мне влили в горло расплавленного олова. Это была не водка, а какая-то огненная, отдававшая керосином жидкость. Русский с добродушной усмешкой смотрел, как мои товарищи французы пили и кашляли с выпученными глазами. С недоумением покачивая головой, он поднес флягу к губам и стал пить, как воду. И старшина, запрокидывая голову, тоже пил большими жадными глотками. Было видно, как ходит кадык на его шее.

К вечеру пленных немцев набралось так много, что больше некуда было сажать. Четверых привели в наш закуток. Один высокий, волоча раненую ногу, с трудом шел, обняв за шею товарища. Он старался улыбаться, но по его потупленным глазам и по тому, как он вдруг стискивал зубы, чувствовалось, как его пронизывают разряды мучительной боли.

Не обращая на нас внимания, хотя нам пришлось потесниться, чтобы дать им место, немцы рассаживались на соломе с громким и возбужденным, будто веселым говором. После всего пережитого, они, видимо, чувствовали теперь только радость, что уцелели. Один, уже пожилой, вертлявый, бойко говорил по-русски. Красноармеец, который их привел, сказал, смотря на него с огорчением:

— Ведь ты же, сволочь, всю жизнь в России жил. Тебя расстрелять нужно.

Но тот нисколько не казался смущенным.

— Ну, я волжский немец. Пришли немцы, говорят: «Ты немец, должен служить в немецкой армии». Что же было делать? Ведь расстреляли бы, — тараторил он, с хитрым и притворно-глупым выражением на старом, в грубых морщинах, испуганном, но, несмотря на испуг, весело-плутоватом лице.

Другие немцы, хотя они не могли понимать, о чем он говорит, одобрительно кивали головами. Один толстый, с красивым румяным лицом, сказал: «Гитлер капут!»

Красноармеец то поддавался доводам немца колониста, то снова начинал его ругать. Потом он ушел и вернулся с караваем хлеба и котелком дымящейся говядины. По жадности, с какой немцы набросились на еду, было видно, они давно не ели.

— Вот немцев кормят, а нам не дают, — обиженно ворчали товарищи.

Я знал, у них у всех еще были консервы, сухари, шоколад, но все-таки спросил у старшины, будут ли нас кормить.

— Да видишь,— ответил он смущенно,— мы так быстро прошли вперед, что хозчасть еще не поспела. Сами третий день без продовольствия. А немцам это разведчики из деревни принесли, из дивизиона. Но завтра утром старший лейтенант велел корову зарезать. Будем суп варить. А сегодня уж потерпеть придется.

На французов произвело угнетающее впечатление, что немцев посадили вместе с нами. Товарищи настаивали, чтобы я вызвал русского офицера и объяснил ему, как нам оскорбительно, что между нами и немцами не делают различия.

Русский офицер, наконец, пришел. Рослый человек, в надетом поверх гимнастерки штатском, синем в полоску, пиджаке. На его толстых плечах и широченной спине этот пиджачок сидел в обтяжку — вот-вот лопнет по швам. Поворачивая голову на бычьей, в клетчатых мужицких морщинах шее, он весело оглядывал французов, смотревших на него молча и вопросительно. У него были крепкие щеки, крупный, прямой нос и разноцветные брови: одна черная, другая наполовину белая, точно кто белилами мазанул.

Товарищи сразу прозвали его Тарас Бульба. Я удивлялся, как они это почувствовали. Могучей грузностью сложения он и впрямь напоминал Тараса. И даже фамилия у него, как я потом узнал, была украинская — Сильченко.

Считая, что я недостаточно настойчив, серб Божко, коверкая для понятности сербские слова, стал объяснять ему, как неправильно сажать немцев в один с нами сарай. До войны Божко был адвокатом в Белграде и говорил с тонкой самодовольной усмешкой и по-восточному преувеличенными жестами рук. Он был высокий, с длинным, совсем уже из «Тысяча и одной ночи», носом.

Но Бульбе, казалось, не понравилась его самоуверенность. Он посмотрел на него прищурившись и, перебивая, сказал:

— Немцы, французы, югославы — все такие же люди. Эти немцы сами нам сдались.

— Что ж, и они тоже люди, — повторил он, помолчав.

Он говорил властно, как человек привыкший командовать и даже Божко, несмотря на свою адвокатскую развязность, почувствовал, что больше настаивать не нужно.

— Вот что, — повернулся Бульба ко мне, — назначаю тебя старшим. Пересчитай всех по национальности, а как дорога будет свободна, дам вам препроводительную и пойдете в тыл.

На мои слова, что я простой солдат, а среди товарищей есть унтер-офицеры и им может показаться обидным, что я буду за начальника, он сказал:

— Чего там, ты поведешь! Не маленький, — и вдруг внимательно посмотрев на меня, прибавил: — ведь ты же, в сущности, русский человек.

Я спросил:

— Вы дадите нам охрану? А то мы боимся опять к немцам попасть.

— Да нет же, пойдете сами, когда дорога свободна будет. Без всякой охраны. Ведь вы же теперь свободные люди.

— А как же, немецкие пленные тоже с нами?

— Нет, немцев мы отдельно отправим. Сейчас просто другого места не было, куда их посадить.

Потом опять повернувшись к французам и одобрительно обводя глазами их лица, Бульба сказал:

— Что, небось рады, что вас освободили? Вот скоро будем сажать в вагоны и отправим в Одессу, а из Одессы пароходами во Францию. Поедете домой к вашим женам в Париж. — Его белая бровь поползла вверх и в глазах засветилась веселая усмешка: — А и то сказать, не будь нас, вам бы всю жизнь у немцев в батраках маяться. Они бы вам ... поотрезали, а сами бы ваших жен ...

Французы, не понимая смысла его слов, но видя, что он шутит, засмеялись. Я с замешательством стал переводить, но Бульба уже повернулся и пошел к выходу. Только тут он заметил бывшего с нами врача из русских военнопленных.

— Вы русский? — спросил он, нахмурившись.

— Да, товарищ старший лейтенант, с 42 года в плену. — Врач назвал себя и свой чин.

— Вот русскому уж не полагалось бы в плен, — покачал Бульба головой.

У врача появилось в лице робкое и умоляющее выражение:

— Товарищ старший лейтенант, мне именно об этом хотелось бы с вами поговорить.

— Хорошо, завтра поговорим, а сегодня не могу, некогда. А ты откуда? — повернулся Бульба к другому русскому.

Это не был один из русских пленных, которые шли с нами из лагеря. Не знаю, откуда он взялся. Я в первый раз его видел. Он был в черной кожаной куртке и таких же галифе. Невзрачный, с

белым от страха, скуластым лицом, густо усыпанным веснушками. Он сбивчиво что-то стал объяснять извилисто шевелившимися губами.

— Врешь! Дезертировал! — тыча ему в грудь чугунным пальцем, грозно сказал Бульба и в сердцах вышел из сарая.

Уже темнело. Воспользовавшись отлучкой старшины, опять пришел, теперь совсем уже пьяный, солдат с красными без ресниц глазами. Несколько мгновений он стоял в дверях. За его опущенными веками чувствовалась работа тяжелой пьяной мысли.

— Старший лейтенант просит прислать сигарет, — заявил он неожиданно.

За день он всем надоел. Товарищи начали ворчать.

— Пусть дают, а то плохо будет! — Он открыл теперь глаза и с угрозой смотрел на лица французов полоумным взглядом. Ствол автомата за его плечами качнулся.

Я сказал товарищам:

— Конечно, он врет, никакой лейтенант его не присылал, но все-таки лучше дать ему сигарет.

Набрали целую пригоршню. Он смотрел с тупым недоумением. Я хотел дать ему еще.

— Нет, больше не надо, — сказал он и побрел куда-то через двор.

Наступила черная, беззвездная ночь, в двух шагах ничего не видно. Но даже в темноте люди продолжали убивать друг друга. Все время, то близко, то далеко гремели выстрелы. Несколько раз приходил с фонариком старшина проверить на месте ли немцы. Было непонятно, когда же он спит. Я дремал, но и сквозь сон продолжал чувствовать тяжелую усталость от жизни.

*

На рассвете через двор проехал на неоседланной лошади красноглазый. Он казался теперь совсем другим человеком. Вместо пьяной опухшей рожи — осунувшееся, нахмуренное, умное и энергичное лицо. Даже не посмотрев в нашу сторону, словно ему было совестно за вчерашнее, он, злобно толкнув лошадь каблуком, проехал мимо.

Один только маленький чувашик продолжал вертеться около нашего сарая. Он спросил меня с деловитым видом:

— А где эта полька? Ее бы надо... — показал он своими маленькими детскими руками.

— Ах, та девочка? Да она, кажется, еще вчера ушла с какими-то поляками, — ответил я, сделав безразличное лицо.

Я испугался, когда он все-таки нашел ее в соседнем закуте.

— Иди, иди, старший лейтенант зовет, — тащил он ее за локоть.

— Вьем цо паньство хце зробить, — захныкала девочка, упираясь.

— Да иди дура, ничего тебе не будет, — вмешался подошедший старшина.

Но девочка отрицательно мотала головой. Тогда пришла высокая прямая женщина. «Верно, хозяйка хутора», — подумал я. У нее было разгоряченное веселое лицо, точно она только что угощала гостей и хлопотала у плиты. Она тоже принялась уговаривать девочку, и при этом не по-немецки а, к моему удивлению, на ломаном русском языке. И даже сидевший рядом с девочкой пожилой поляк сказал:

— Иди, не бойся. Русский офицер ничего тебе не сделает.

Девочка не могла больше противиться. Она встала и пошла. Но у нее было бледное личико.

Минут через десять она вернулась, неся перед собой тарелку с пряниками и яблоками. Она так быстро и оживленно стала что-то рассказывать старому поляку, что я не мог уловить ни одного слова. Я видел только, что она смеется, а старик слушает ее с улыбкой.

Теперь гораздо меньше стреляли, чем вчера. Чувствовалось, что напряжение боя свалило или передвинулось куда-то дальше.

— Польский обоз пришел, — сказал старшина, и я понял по его обрадованному голосу, что теперь никаких сомнений в победе уже не было.

Под горкой, на груженых телегах тряслись по проселку солдаты в конфедератках. Некоторые пожилые, с усищами, каких я еще не видывал.

— Очкастый, иди, старший лейтенант зовет, — пришел за мной чувашик.

На крыльце бауэрского дома стояло несколько русских офицеров, увешанных медалями, кинжалами, револьверами. У них были суровые лица и мне показалось, они смотрят на меня мрачно, подозрительно и неприязненно. Внезапно, на меня нашло затмение страха. «Эмигрант? Против советской власти! Расстрелять!» — читал я в их злобных взглядах. На ослабевших ногах я поднялся мимо них по ступенькам крыльца. С порога я обернулся. Несколько русских солдат суетились около грузовика. Один заводил рукояткой мотор. Словно стреляя, мотор уже начал грохотать. С трудом сдерживая страх, я вошел в сени.

В комнате, занятой под штаб, был невообразимый беспорядок. На столе — тарелки с остатками еды, полевые сумки, автоматы, развернутая карта. На смятой широкой постели лежал какой-то плоский черный прибор, каких я еще не видел. Сидя на кровати, солдат с поперечными нашивками на погонах, слушал у этого прибора и торопливо что-то записывал.

Старший лейтенант переобувался.

— Что, нет других? — спросил он, обертывая ногу залубенелой портянкой.

— На вас не напасешься. Три пары было, все роздал, — посмотрев в сторону, сердито ответил усатый солдат, завязывавший походный мешок.

Натянув сапог и расправившись на ногах, старший лейтенант подошел к столу.

— Ну что? — спросил он радиста.

Тот передал ему исписанный листок бумаги.

— Да, надо торопиться, — сказал Бульба, пробежав записку глазами, — писарь, иди сюда. Садись.

Он начал диктовать.

— Пиши. Препроводительная. При этом сопровождаются военнопленные, — он взглянул на составленный мною список. — Военнопленных русских — 11 человек, цивильных русских — 3 человека...

Я сидел рядом с писарем и видел, как он выводит круглыми буквами:

В.	французя	105 чел.
	бельгейцев	7 чел.
	сербов	3 чел.
	голанцев	1 чел.
	цивильных поляков . .	7 чел.
	Всего	137 чел.

Бульба подписался и передал мне «препроводительную»:

— Вот построй своих французов и веди. Идите спокойно. Дорога свободна.

Пожелав ему боевого счастья, я сказал, что война теперь скоро кончится.

— Нет, немцы еще сопротивляются. Ну что же, Советский Союз пороха и стали не жалеет. И жертвы, конечно, еще будут, — прибавил он, нахмурившись. — Что бричку заложили уже? — повернулся он к вошедшему солдату, — обязательно с собой берем.

Вернувшись в сарай, я сказал товарищам собираться. Русские грузовики уже выезжали со двора. Старшина принес ведро с говядиной. Ели торопливо, не терпелось выйти на дорогу. Радость, что теперь мы на самом деле свободны, так нас волновала, что даже голод прошел.

Мы снова шли через деревню, где нас захватили немцы. Теперь она была занята частями первой Польской армии. Полковник с седыми пушистыми усами с подусниками, какие верно носили еще во времена «златой вольности шляхетской», сказал нам по-французски, что теперь больше нечего опасаться, фронт передвинулся на несколько километров вперед. То же подтвердил и молодой лейтенант, этот говорил по-русски.

— Мы теперь, когда спать ложимся, до кошули раздеваемся, — сказал он успокоительно.

За деревней простиралось широкое снежное поле. По нему до самого неба протянулась шоссейная дорога. По мокрому черному асфальту катили грузовики, ехали шагом возвращавшиеся повозки немецких беженцев, по муравьиному шевелились пешие. Надо всем кружились несчетные рои все гуще валивших снежинок, особенно белых на уже темном небе.

Впереди нас, толкая перед собой маленькую тележку, брела одетая во все черное сгорбленная старуха. Летевший с равнины ветер, казалось, хотел смести ее с оледенелого асфальта. Но, наклонясь вперед, она упрямо шла, с трудом передвигая ногами в стоптанных скользящих башмаках. Рядом с нею, держась за ее подол, шла маленькая, лет шести девочка. «Вряд ли они дойдут, — подумал я с беспокойством. — Да и тот дом, куда они идут, цел ли еще? Сколько домов было разрушено там, где прошел фронт».

Я чувствовал недоумение. Где же была теперь ненавистная Германия Гитлера? Вместо нее остались эта девочка и костлявая старуха, а вокруг них — пустое снежное поле, где не было видно человеческого жилья и только холодный, бездомный ветер крутил пургу. Или так всегда суждено: глухая стена, даже когда сбывается надежда. Мне было грустно. От сознания невозможности сделать, чтобы все были счастливы, хотелось умереть. Но я не мог сосредоточиться на этих мыслях. Мне мешало радостное возбуждение: мы свободны, идем в тыл, немцы нас больше не захватят.

При дороге стоял пулемет, через все поле, до самого леса раскинулась цепь польской пехоты. Румяный, в больших усах польский унтер, запахнув полы шинели, покойно, словно у себя дома на перине, улегся на снег у треноги пулемета.

— Добже! — одобрительно сказал он и посмотрел на нас с улыбкой.

VII

Сборно-пересыльный пункт находился в уездном, наполовину разрушенном городе. Некоторые дома еще горели. Немецких жителей не было видно. Целые кварталы казались вымершими. Но на главных улицах было оживленно. Через город проходили грузовики с пехотой, конница, обозы. Навстречу им подымались колонны пленных. Все было, как в начале войны, только роли переменились. Тогда победители немцы — румяные, сытые, молодцеватые — гнали нас, как стадо. А теперь они сами, совсем как мы тогда, небритые, в обтрепанных шинелях шли угрюмыми, понурыми толпами. Казалось, они не только обносились за эти годы, но как будто даже меньше ростом стали: какие-то невзрачные, сутулые, именно такие, какими *должны быть* побежденные.

На площади у дверей комендатуры — многоязычная толпа. Здесь мы узнали, что одних только французских пленных в городе около шести тысяч, но что мы недолго здесь останемся, поезда уже ходят и нас повезут в Одессу.

Пока мы здесь стояли, на нас набежало несколько поджарых, темнолицых, горбоносых солдат с винтовками. Какие-то туркестанцы, мне показалось. Заметив бывших с нами русских пленных, они со злобной бранью отделили их от нас и куда-то повели. У плен-

ных были такие же серые от страха лица, как когда немцы их от нас отделяли.

*

Когда с нашими офицерами я в первый раз пошел в комендатуру, я все боялся: узнают, что эмигрант, не выпустят, повезут в Сибирь, в концлагерь.

Комендатура помещалась в здании бывшего почтамта. На красном кирпичном фасаде полыхали на солнце алые полотнища с надписями во славу Красной армии. Было больно глазам смотреть. Раскосый, с плоским каменным лицом, часовой посмотрел на нас равнодушно и ничего не сказал.

Перед нами, по широким ступеням крыльца подымались двое русских: один без оружия, видимо арестованный. Другой, с красной повязкой комендатуры на рукаве, с решительным и мрачным выражением упирал ему в спину ствол автомата.

«Вот оно», — подумал я, чувствуя, как по хребту ползет мерзкий холодок. Еще в детстве слышанные рассказы. . .

В прихожей нас встретил офицер в кубанке. У него было круглое, курносое лицо, всё в каких-то лишаях. Я спросил его, можем ли мы видеть коменданта.

— Да, вот первая дверь направо, — показал он и, заметив нашу нерешительность, повторил: — ходьте, ходьте!

Мы вошли в большой полутемный зал. Арестованный солдат уже сидел здесь на скамейке под стеной. Опустив голову, он тупо рассматривал носки своих сапог и время от времени тяжело вздыхал. Наконец, дверь отворилась. Писарь, дремавший в углу за особым столиком, испуганно вскочил и вытянулся во фронт. Вошел комендант, высокий, слегка сутулый человек, с седыми прилизанными височками, в золотых погонах и мешковатых кавалерийских бриджах. Рядом с ним шел молоденький лейтенант с расстроенным лицом. Не замечая нас, комендант остановился перед арестованным солдатом и сердито спросил лейтенанта:

— Это ваш человек?

— Мой водитель, товарищ майор.

— Да как же это так, среди бела дня идет глушить рыбу гранатами, без документов, без разрешения. Безобразие! — сказал комендант возмущенно, — а вы что смотрите? Вот в следующий раз посажу его на сутки в холодную, как тогда поедете? Смотрите, чтобы у меня этого больше не было.

— Есть, товарищ майор. Разрешите идти?

— Хорошо, ступайте.

— Товарищ майор, простите, вы не знаете, как проехать в штаб первой польской армии?

Успокоившийся было комендант опять ворчливо забасил своим грубым голосом:

— Получили задание? Ну, и идите, и выполняйте!

Дверь за молоденьким лейтенантом и его водителем уже затворилась, а комендант все еще сердито повторял: «Где штаб первой польской армии? Тьфу!»

Я подошел и обратился к нему по-русски. Он с озадаченным видом пожал мне руку и спросил:

— Вы кто же? Француз? А где же по-русски так научились говорить? Мне как раз переводчик нужен, а то я с вашими французами никак договориться не могу. Вы приходите, будете у меня переговорщиком. — Видя мое замешательство, он сказал: — Да не бойтесь, я вас не задержу. Когда ваши товарищи поедут домой и вы вместе с ними поедете. А все-таки, как же вы француз, а так чисто по-русски говорите?

— Я родился в Москве, товарищ майор.

И тут, с любопытством взглянув мне в лицо, он задал мне вопрос, которого я больше всего боялся:

— Эмигрант? — Вероятно, заметив мое испуганное выражение, он, слегка вспыхнув, поспешно прибавил: — Даю слово офицера...

Впоследствии, он всегда успокаивал мои страхи:

— Да никто вам ничего не сделает. Ну, может, наткнетесь на дурака. Дураков и мерзавцев всюду много. Скажет что-нибудь, а вы не обращайте внимания. Ведь у нас враги только те, кто с немцами шел. Ну, а если уж так боитесь, говорите, что француз — и все.

С тех пор, по его приглашению, я и французские офицеры обедали в офицерской столовой при комендатуре. Иногда после обеда мы оставались с ним вдвоем. Я все расспрашивал его о войне: «Ведь мы в течение пяти лет, кроме немецкой пропаганды ничего не читали. Не знаем в каких условиях проходила война в России».

К сожалению, он был плохой рассказчик.

— Что же, условия тяжелые были, — сказал он, видимо, стараясь найти в своих воспоминаниях что-нибудь для меня интересное, — вот я с моим батальоном восемь месяцев в окружении сидел. На плохом участке. Болото, огня не развести: немецке окопы в двухстах метрах. А тут целый день по щиколотку в ледяной воде. А ведь самое главное, чтобы ноги сухие были. Так мы портянки между телом и брюками сушили: одну в правую штанину, другую в левую. А спали под открытым небом: нарубишь еловых веток и прямо тебе матрац. Со снабжением плохо было, только самолетами подбрасывали. Построишь утром бойцов, смотреть страшно — стоят опухшие, и лица, и руки опухшие, как водой налиты. Умирали многие. А работали по восемнадцать часов в день. Рубеж крепили. Я сам инженер. И знаете, никто ничего не говорил, никакого там ропота. — Улыбаясь, он задумчиво покачал головой. — Да, наш русский мужичок все вынесет. Не шикарный он, не такой, как у вас в Европе, а выносливость страшная. Ему сухаря и воды довольно — и воюет, и победит! — заключил он с силой и с какой-то задушевной убежденностью. — А то, что у нас по сравнению с Западом есть еще культурная отсталость, этого мы не скрываем. В ту войну,

империалистическую, народ еще неграмотный был. Это так быстро не исправишь. Да и у нас в начале войны ошибки были. А тут — еще четыре года войны. Люди измотались. Знаете, некоторые думают, что теперь все позволено.

Однажды он сказал мне:

— Вот завтра приезжает новая комендатура, специальная для союзных пленных. Сами увидите, какие теперь русские: мужики, могут нагрубить, а по существу в большинстве хорошие люди.

На следующий день он познакомил меня с первым представителем новой комендатуры, младшим лейтенантом Даниловым. В стоптанных солдатских сапогах, в стеганых штанах, в почерневшей от пота выцветшей гимнастерке, младший лейтенант Данилов и вправду, несмотря на золотые погоны, был больше похож на мужика или старого рабочего, чем на офицера. Было ему, верно, около шестидесяти. Сивые, но еще густые, спутанные волосы, коричневое от загара лицо, с глубоко прорезанными морщинами и варварскими, точно топором вырубленными скулами. Косматые брови и нос как у Льва Толстого.

Я зачарованно смотрел, как своими несгибающимися деревянными пальцами он оторвал от газеты кусок бумаги, насыпал из кисета махорки и скрутил козью ножку величиною в добрую сигару.

С тех пор, как он приехал, началась невообразимая суматоха. Он потребовал, чтобы в три дня, до приезда майора — «а то сердиться будет» — все находившиеся в городе французские пленные, около шести тысяч, были организованы по батальонам и ротам и переселены все в одну часть города. Кроме того, все должны были пройти через прибывшие с ним полевые души и дезинфекционную камеру. Напрасно я ему говорил, что три дня слишком мало, что у нас всего четыре офицера, что пленные — не воинская часть, а неорганизованная масса. Он кряхтел, вздыхал, но был непоколебим.

— Не могу. Приказ фронта. Майор-то всего два дня дал. Я человек военный, для меня приказ — закон. А душевка — ведь это же культурно, а то вши заведутся. Люди скучены, эпидемии пойдут.

Я приходил в штаб в семь часов утра по московскому времени, а он уже сидит там и терпеливо ждет, когда соберутся наши офицеры. Мы все сбились с ног, но через три дня бригада была сформирована, все размещены по новым квартирам. Данилов принимал батальоны.

В это утро мы вышли с ним из штаба еще раньше, чем обычно. Мы шли по длинной улице. По обеим сторонам — разрушенные бомбами и пожаром дома. В проломах стен видны обнаженные печные трубы. Напоминание, что здесь еще недавно, как в незапамятные времена, собиралась семья человека. Обугленные балки особенно уродливо и мертво чернели в голубом сиянии блаженно-теплого дня. На тротуарах еще неубранные, раздувшиеся трупы лошадей, кучи муссора и кирпича, тряпки, распоротые перины.

Когда мы подходили к первому батальону, нам встретилась

толпа немцев, большей частью старики и женщины, с лопатами и метлами. Польский милиционер вел их на уборку улиц. Данилов посмотрел на них с неодобрительным видом.

— Смотри, и девушки есть молоденькие, — сказал он, показывая на высокую молодую немку в модном меховом пальто. Она шла не подымая глаз и на ее бледном лице было такое же, как теперь у всех немецких женщин, выражение покорности и страха. Но в ее гибкой и легкой походке и в падающих на плечи золотых волосах чувствовалась молодая, еще не сломленная сила жизни.

— А тебе их не жалко? — неожиданно спросил меня Данилов.

Что мог я ему ответить? Я никогда не мог видеть арестантов и пленных без чувства мучительного недоумения. В этой толпе стариков и женщин, боящихся поднять глаза, было что-то особенно жалкое и страшное, они шли, как прокаженные.

— А мне жалко. Что же, что немцы, а тоже живые люди, — помолчав сказал Данилов. — Ведь они что у нас делали: женщин насиловали, а потом еще убивали, детей в колодцы бросали или, знаешь, возьмет за ножки и головой об угол дома. Людей живыми сжигали, — говорил он, точно оправдываясь, а потом с гордостью прибавил: — Ну, да у Советского Союза политика другая, мы с фашизмом воюем, а немецкий народ не собираемся уничтожать.

— Это правда, товарищ лейтенант, они тоже не все за Гитлера были.

— Да что там за Гитлера или против Гитлера, — сказал он с досадой, — а просто живые люди.

Смотр батальона прошел блестяще. Данилов был, видимо, очень доволен и даже смущался, когда командиры батальонов преувеличенно по-солдатски тараща глаза, выходили вперед с рапортом. Только с ротой «С.С.» вышла заминка. Среди пленных замешались переодетые в штатское французы из дивизии «Карл Великий». Пленные сами их вылавливали и под охраной добровольных полицейских держали в отдельном доме. Это и была рота «С.С.». Я шел за Даниловым вдоль фронта и лица эсэсовцев проходили перед нами как на экране. Одни смотрели на нас с вызовом и враждой, другие испуганно, с каким-то вопросительным, умоляющим выражением.

Данилов спросил меня, кто эти люди и почему их держат отдельно.

— Это эсэсовцы, товарищ лейтенант.

— Какие это эсэсовцы, — сказал он сердито.

— Как же, они добровольно в немецкую армию пошли.

Он ничего не ответил и шел вдоль фронта, не подымая глаз.

— А что, у этого башмаков нет? — подозвал он меня, остановившись против маленького эсэсовца. Это был худой, бледный мальчишка лет семнадцати. Не понимая, чего от него хотят, подняв брови и все время смигивая, он испуганно смотрел на Данилова.

Я спросил:

— Что у вас башмаков нет?

Обрадовавшись, он поспешно ответил:

— Есть, но они мне натерли ноги.

— Ну, хорошо, — вздохнул Данилов, — а если нет, нужно будет обеспечить башмаками. Вот скоро приедет хозчасть, будем давать. Нельзя, чтобы босыми ходили.

— А это у тебя что? — вдруг спросил он у нашего главного полицейского, молодцеватого, одетого под офицера сержанта корсиканца, вооруженного резиновой дубинкой.

Полицейский, улыбнувшись, многозначительно взмахнул дубинкой. Данилов сердито, по-стариковски покраснел и вдруг, вырвав дубинку из рук сержанта, запустил ее с такой силой, что она, замелькав концами, описала в воздухе высокую дугу и упала на крышу сарая. В рядах эсэсовцев раздался одобрительный смех. Самолюбиво вспыхнув, сержант сказал мне:

— Передай русскому лейтенанту, что если у моих полицейских не будет оружия, я снимаю с себя ответственность за побеги.

Данилов, видимо, смущенный собственной выходкой, добродушно похлопал его по плечу:

— Ну, ну, не сердись камарад.

— Ты ему скажи, — повернулся он ко мне, — я его уважаю. Молодец. Энергичный. Правильно, что смотрит за ними. Чтобы, значит, дисциплина, как полагается. Но только палки не нужно. Ты посмотри, у нас так с виду ералаш, а чтобы там кто-нибудь кого ударил — этого нельзя.

— Да, товарищ лейтенант, но он говорит, что если у него не будет оружия, то он не может отвечать за побеги.

— Ну дам, дам ему несколько винтовок, — сказал Данилов неохотно. А когда мы возвращались в штаб, он попросил меня с наигранным глуповато-хитрым и веселым видом: — Ты знаешь, не пиши в строевой «С.С.». Пиши — отдельная рота. Вот поедете во Францию, там ваше правительство разберется. А нам что же, это нас не касается.

Уже начинало темнеть. На берлинской дороге мы поравнялись с остановившейся вдоль тротуара длинной колонной грузовиков с пехотой. На одном лихо заливалась гармонь. Молодой солдат отчаянно встряхивая кудлатой головой, заводил резким волчьим голосом частушки, и так быстро договаривал, что, казалось, звуки рассыпаются вдребезги, как падающий с горки фарфор. Я не мог понять ни одного слова.

Мы подходили уже к голове колонны, когда стоявший около одного из грузовиков человек богатырского роста, с выпущенной из-под шапки кудрею, посмотрев на нас с недружелюбным любопытством, спросил с уязвленной усмешкой:

— А почему не приветствуют?

— Это французские офицеры ,— гордо ответил Данилов.

— Ну что же, мы тоже офицеры. Может быть даже повыше, — ухмыльнулся высокий.

Сквозь сумерки я рассмотрел у него на груди медали и звезды, а на плечах майорские погоны защитного цвета. Другой офицер, такого же огромного роста, но уже пожилой, сказал:

— Не уважают русского воина.

Я подумал: «Попали в историю». Но в это время раздалась команда: «По машинам!» И сейчас же загудели включаемые моторы и грузовики стали трогаться один за другим, с места набирая скорость. Свесившись с подножки одной из машин, человек в кубанке, засвистев пронзительным, покрывшим все звуки разбойным свистом, махал рукой солдатам, с испуганными лицами выбегавшим из подъезда соседнего дома.

— Хабаров, давай, ... мать! — кричал кто-то исступленным голосом.

Солдаты поспешно вскакивали на ходу, и грузовики, с нарастающим ревом, подымая ветер и обдавая нас перегаром солярки, все быстрее и быстрее с грохотом проносились мимо. Уже вдалеке, в последний раз, отчаянно взвизгнула гармонь.

Смотря вслед, Данилов сказал, покачивая головой:

— Нервы у всех поистрепались. А ведь как награждены!

*

Вызванные в штаб француженки уже ждали. Мне показалось, Данилов был смущен и в то же время доволен, что здесь собралось столько молодых и нарядных иностранных женщин, которые, в ожидании его распоряжений, смотрели на него с весело-недоумевающим, но слегка просительным видом.

Он велел мне перевести, что теперь женщины должны жить не при батальонах, а в отдельном доме, который он для них подыскал. Женщины стали протестовать, что их хотят разлучить с мужьями. Данилов долго упирался, ссылаясь на приказание майора, но, наконец, согласился.

— Так вот, ты им скажи: если там замужние, по закону, значит, те пусть живут с мужьями. А девушки отдельно. Нельзя, здесь мужчины приходить будут, а они ведь девушки, молоденькие.

Мне пришлось задавать неделикатные вопросы: „Vous êtes mariée, Mademoiselle?“*)

Легкое замешательство, гримаска морщит карминовые губы; „Non, Monsieur, c'est mon ami. Mais vous comprenez — on voudrait bien rester ensemble.“**)

Я перевожу:

— Они, собственно, не женаты, но давно живут вместе, здесь ведь нельзя было венчаться.

Данилов неожиданно добродушно засмеялся:

---

*) Вы замужем, мадмуазель?

**) Нет, это мой друг. Но, понимаете, мы хотели бы остаться вместе.

— Значит, ... просто. Ну, что же, пускай живут вместе. Там во Франции разберут. А девушек настоящих, значит, обязательно отдельно. Ведь отца-матери здесь нет, кто за них отвечать будет?

Но затруднения еще не кончились. Была здесь одна бельгийская девушка. Данилов требовал, чтобы ее поселили вместе с француженками, а бельгийцы просили, чтобы ей разрешили жить при бельгийском батальоне. Девушка была высокая, черноволосая, лет двадцати пяти. Как почти все женщины здесь, она ходила в мужских брюках, одетых под платье. Была она хорошенькая, и только неприятно сосредоточенный взгляд и странная, все время кривившая рот усмешка, ее портили. Сама она ничего не говорила, но стоявший рядом с ней высокий белокурый бельгиец с благородным воодушевлением уверял, что у нее будет отдельная комната и он ручается за своих товарищей. Данилов неохотно уступал.

— Как же это, молоденькая она еще совсем. Незамужняя. Родителей нет. А здесь столько мужчин. Ну, хорошо, — согласился он, наконец, — только чтобы комната у нее была отдельная и чтобы ее никто не трогал. Ни Боже упаси! А если кто обидит — накажу, беспощадно накажу.

На следующий день, часов в двенадцать, Данилов опять появился у нас в штабе. Сняв ушанку и утерев пот с обветренного кирпичного лица, он вынул из газеты бутыль спирта и весело сказал:

— Вот принес литр, хочу угостить французских офицеров.

Выпили за скорую победу, за дружбу французского и русского народов. Я в первый раз видел, как пьют теперь русские.

— Вы, как хотите, разбавляйте водой, а я уж так, — сказал Данилов и опрокинул в рот стакан чистого спирта. Жаждуще провел языком по запекшимся губам и запил маленькой рюмкой воды.

— Ты им скажи, это не от комендатуры, это младший лейтенант Данилов от себя ставит. Угощаю, значит, так как я ужасно французских офицеров уважаю. Во-первых, Франция — наша союзница, а потом они, французы, замечательно культурные люди. Я сколько раз говорил нашим: вы же понимать должны с кем имеете дело, с французами, с культурным западно-европейским народом. А то начнет какой-нибудь материться, не понимает, что это образованные люди. Можно сказать, дело прямо международного значения. А доктора вашего — я вот как уважаю. Смотри, молодой он совсем, а замечательно культурный. Ведь работал, учился, — говорил Данилов с восхищением смотря на нашего лейтенанта-аптекаря. — Как, говоришь, зовут его? Поль? Ага, по-русски Павел, значит, Павлуша. А по отчеству? Арманович? Так вот, за здоровье Поля Арамановича, за Пашу!

Он курил свои чудовищные козьи ножки, аккуратно сплевывал на ковер и все подливал в стаканы:

— Ну, еще по одному! Сто граммов — это же немного.

Я отвык пить, и в голове у меня пылало, как перед солнечным ударом. Наши офицеры спрашивали через меня, когда нас будут отправлять во Францию.

— Скоро, скоро. Ты скажи им, ведь наша задача какая? Кормить, заботиться о них и отправить домой. А что у нас организовано вроде как бы по-военному, пусть не боятся. Это только для внутреннего порядка, чтобы дисциплина, значит, по-культурному. И во Францию отправлять легче будет. Так побатальонно и будем грузить в эшелоны, и поедете к себе домой, в Париж, к своим женам.

Желая сделать ему приятное, я сказал, что во Франции большой успех имел роман Алексея Толстого «Петр Первый».

— Как же, читал, — ответил Данилов, — хороший роман. Но он еще другие романы написал, еще лучше. «Анна Каренина», например. Вот это, прямо замечательная книга, — и, видимо, заметив в моих глазах растерянность, с сожалением прибавил: — Нет, ты не читал, верно. А какая хорошая книга!

Как всех русских, я расспрашивал его о войне.

— Нет, до войны я в армии не был. Сам я с Донбасса, рабочий. В гражданке в шахте работал. Ну, а как война началась, дошел немец до самой Москвы. Все правительство за границу уехало, а Сталин один в Москве остался. Вызвал он нас к себе в Кремль и говорит: «Вы как хотите: хотите за Урал подавайтесь, в Сибирь, а я никуда не уеду. Последним останусь. Пусть лучше меня убьют, а Москвы не оставлю. Ну, а если кто хочет — может со мной оставаться. Будем драться до последнего». И мы с ним остались. Техника до тех пор засекречена была, а теперь стали подбрасывать и «катюши» и танки. Наставили пушек одна рядом с другой. Почитай через каждый метр по пушке стояло. А немцы совсем близко подошли. Им, поди, уже Кремль был виден. Вот, думали, возьмем. Ну, а Сталин нам сказал не отдавать Москвы. И мы их сожгли. — При этих словах голос Данилова приобрел торжественную силу и его глаза чудно и грозно просияли из-под косматых бровей: — Весь ихний передний край сожгли огнем.

— Что же, это какие-нибудь минометы были, «катюша»? — спросил я.

— Нет, не «катюша», — сказал он неохотно, — а только мы их сожгли. Особое это оружие. Здесь в Германии мы его больше не применяли. Да, страшный был бой. Ах, отчаянно мы дрались. Просто представить невозможно. Ведь русский человек какой? Раз его ударят — он ничего не скажет. Второй раз ударят — опять стерпит. Ну, а уж в третий — как встанет и пойдет бить, ни врага, ни себя не жалеет. Много там нашего брата полегло. А немцев — больше ста тысяч побили. Пошли наши бойцы вперед, а там, где прежде немецкие боевые порядки стояли, ни одного живого немца. Только трупы обугленные лежат. А кто и копошится еще в ямах, так совсем как помешанные. Глухонемые, бормочут что-то. Только через двое суток опять стали говорить и слышать. «Вы, — говорят, —на нас прямо целые дома кидали».

Разговор то снова возвращался к русско-французской дружбе — «как же, знаю, генерал Дехоль, он в Москве был, его сам Сталин

уважает», — то опять, как бы спохватываясь, Данилов говорил, что надо поселить женщин отдельно:

— Особенно девушка эта, бельгианка. Ведь молоденькая она еще совсем, лет семнадцати. А такая молоденькая, знаешь, ну прямо, как цветочек. Смотри, чтобы у меня никто ее не трогал. Такую легко обидеть. Родителей у нее здесь нет. Разве же можно? Ну, а если какой-нибудь негодяй тронет, расстреляю! Собственной властью убью! — сказал он, опуская руку на кобуру револьвера. Его лицо сморщилось страдальчески и свирепо.

Наконец, он собрался уходить и, пожимая всем руки, благодарил за прием, который, видимо, ему очень понравился. Все повторял: «Вот, скоро поедете к себе домой, в Париж, увидите своих жен, детей. Там тоже, поди, заждались».

— Ну, а вас, товарищ лейтенант, верно тоже скоро домой отпустят. Война к концу идет. Что, у вас большая семья? Дети есть?

Он помолчал.

— Ты знаешь, ведь у нас в Донбассе немцы были. Вот кто-то и донес на мою жену, что я, значит, ушел с Красной армией. Немцы пришли к ней допытывать. А дома у меня только жена и оставалась, да две дочки, младшая на фельдшера училась. — Опять помолчав, он, с недоумением взглянув мне в глаза, тихо добавил: — А потом сожгли их немцы. Вместе с домом и сожгли.

Я не нашелся, что ему сказать.

*

Лейтенант Данилов недолго с нами оставался. Как приехала новая комендатура, я заметил, что у него плохие отношения с большинством офицеров. Верно, характер был неуживчивый. Раз я слышал, как во дворе продовольственного склада капитан Мещанинов сказал ему в сердцах:

— Чего вы лезете не в свое дело, только . . . ., а то, что вам говорят, не исполняете. — И матерно выругался.

— А вы не . . . ., — ответил Данилов, сердито блеснув из-под нахмуренных бровей глазами, ставшими от гнева темносиними. Капитан только рукой махнул.

Вечером того же дня я, в качестве переводчика, отправился с нашими врачами к начальнику новой комендатуры, майору Дубкову.

Еще в сенях занятого Дубковым дома мы услышали за высокими дверями чей-то раздраженный крик. Высунувшийся на наш стук молодой поручик испуганно пролепетал:

— Подождите, подождите.

Наконец, он нас впустил. Войдя, мы прежде всего увидели Данилова, спиной к нам стоявшего на вытяжку перед столом.

— Разрешите идти? — спросил он тем же злым голосом, каким бранился давеча с капитаном Мещаниновым.

— Ступайте! — не подымая головы, с презрением сказал сидевший за столом майор Дубков.

Данилов круто повернулся на каблуках и вышел. Упрямый старик даже не взглянул на нас. С тех пор мы его больше не видели. Верно, его куда-то отослали.

— Простите, что заставил вас ждать, — учтиво приподнялся нам навстречу Дубков. Очень маленького роста, в опрятном кителе, лицо младенчески розовое, круглое, улыбающееся, но непроницаемо замкнутое. На крохотном носике неживой хрустальной бабочкой уцепилось пенсне. Своей короткой пухлой рукой он показал нам на кожаные кресла вокруг стола: — Садитесь, пожалуйста. — Я не видел его взгляда, только холодно поблескивали стекла пенсне.

Дубков отличался от всех других офицеров комендатуры подчеркнутой вежливостью в обращении с нами. Несколько раз я ловил себя на странном чувстве, что он следит за мною, правильно ли я перевожу, но когда я спросил его, понимает ли он по-французски, он сказал:

— К сожалению, ни одного слова.

По-немецки он объяснялся довольно свободно.

*

Мне было грустно и тяжело, что мои товарищи французы, даже коммунисты, смотрят на русских с отвращением, ненавистью и страхом, как на злых дикарей, от которых всего можно ждать: вдруг объявят нас преступниками, не отпустят во Францию, повезут в Сибирь. Меня раздражали эти разговоры. Со стороны французов такое отношение к русским, которые спасли мир от Гитлера и освободили нас из немецкого плена, казалось мне несправедливым. Я хотел видеть в русских только хорошее; гордясь беспримерным героизмом, проявленным ими в эту войну, я хотел верить, что теперь в России начнется обновление. . .

Я спорил с товарищами, хотел их переубедить, а сам все время мучился беспокойством и страхом, хотя и скрывал это от самого себя и даже не мог бы точно определить, чего я боюсь. Я знал, что было распоряжение отправлять во Францию всех, кто был во французской армии и почти не сомневался, что когда французы поедут домой, то и меня отпустят вместе с ними. К тому же, русские явно не обращали никакого внимания на то, что я эмигрант. Только один проезжий офицер все расспрашивал меня, с кем я встречался в Париже, имел ли «партийные связи», почему уехал из России. Я объяснил ему, что меня увезли родители, когда я был еще маленьким мальчиком.

— Что же, значит не поладили с советской властью, — сказал он, криво усмехнувшись.

У него было беспокойное и расстроенное выражение, как у собаки, которая все время что-то ищет и вынюхивает.

Был еще один майор, которого я побаивался. Чрезвычайно мрачный человек, сутулый, с темным восточным лицом. К счастью, он редко появлялся. Зато всякий раз грозил отдать кого-нибудь под суд. Дубков сказал мне, что «очень уважает» этого майора.

Но с большинством офицеров нашей и городской комендатур у меня были хорошие отношения. Чего же я боялся? Да не только я, а все мои товарищи-французы. Ведь им-то казалось, ничего не могло угрожать. Наоборот, русские заботились о нас больше, чем о своих собственных солдатах, снабжали нас продовольствием и даже табаком. Почему же нас не оставляло тревожное ощущение, что мы находимся в полной зависимости от произвола совсем других, чем мы, недобрых существ, решений и поступков которых мы никогда не могли предугадать. Например, мы попросили майора Дубкова сообщить во Францию имена всех находившихся в городе французских пленных. Нам не приходило в голову, что наше желание может показаться подозрительным. Наоборот, мы думали, русским самим будет приятно сообщить во Францию, сколько французов они освободили. Но к нашему удивлению, майор Дубков решительно и даже с возмущением отказался исполнить нашу просьбу.

Подобные странности французы объясняли тем, что русские — дикари, по-другому чувствуют и думают, чем цивилизованные европейцы или тем, что русские злые. Но чем больше я присматривался к русским, тем лучше чувствовал, что объяснение вовсе не в этом. Конечно, среди красноармейцев встречалось немало людей, озлобленных и развращенных войной, но, вероятно, не больше, чем в армии всякого другого народа, который бы так пострадал от немецкого нашествия. К тому же я видел, как много среди русских, наряду с этими ожесточенными, людей скромных и добрых, и как даже у худших тяга к разбою и чубаровщине смягчалась добродушием. Но скоро я понял, что в своем поведении русские большей частью руководятся вовсе не своими непосредственными чувствами и желаниями, не своей волей, а побуждениями, получаемыми извне, от стоявшего за ними порядка, который не имел ничего общего ни с их хорошими, ни с их дурными русскими свойствами. Чем ближе я знакомился с русской администрацией, тем несомненнее это чувствовал. Впервые я подметил это в поступках капитана Мещанинова. Он был невысокий, но ладный, с молодецкой грудью, в картузе, ухарски заломленном над желтыми волосами. Вся шея у него была покрыта незаживающими чирьями. Он сам объяснял это тем, что почти всегда ест холодное. Растерзанный, ошалелый, он с утра до ночи, с веселой матерной бранью «метался» по делам хозчасти.

— Веришь, за всю войну ни разу не выспался по-человечески, — как-то сказал он мне со вздохом. — Да и теперь у меня делов вот сколько!

У него на груди висела медаль за оборону Сталинграда. На мои расспросы он сказал с простодушным бахвальством:

— Я там батальоном командовал. За несколько месяцев тысчонки полторы потерял. Мне бы уже полковником быть, если бы до войны не посадили.

— За что же вас посадили? — спросил я с удивлением.

— А я и сам не знаю, за что, — засмеялся он.

В другой раз он сказал мне не без важности:

— Видишь ли, я сам, собственно, историк, печатные труды имею.

Какое-то странное это было совпадение: еще двое русских офицеров говорили мне, что они историки и имеют «печатные труды». Но писали они малограмотно, с грубейшими ошибками.

Капитан Мещанинов был крикун, отчаянный ругатель, но не злой. Раз русская женщина-врач из депортированных, с испуганными глазами на изможденном, когда-то, верно, красивом лице, привела в столовую двух девушек-литовок. Одна была высокая, темноволосая, с оскорбленно и гневно горевшим глазами и гордо поднятой головой. Другая — некрасивая, ширококостая, белобрысая, с красными пятнами на скулах. Она принялась было есть суп и не могла. Ее лицо задрожало и она заплакала. Слезы катились по ее щекам, капали в тарелку.

Капитан Мещанинов с другого конца стола участливо смотрел на плакавшую девушку. Я с удивлением видел, что он еще не догадывается. Хотя уже с самого начала, по тому, как женщина-врач с поджатыми по-монашески губами ввела литовок в столовую и заботливо, точно больных, их усадила, можно было почувствовать, в чем дело.

— Что же вы не едите? Нужно есть, чтобы быть сильным, — подойдя к плакавшей литовке сказал капитан Мещанинов, энергично сжимая кулак и выпячивея свою и без того выпуклую грудь.

— Да что случилось такое?

— Сольдаты! — всхлипнула литовка и еще пуще залилась слезами.

Каждый день, проходя мимо санитарной части, я видел женщин разных национальностей, ждавших приема, но издали я не мог рассмотреть выражения их лиц, а теперь видел вблизи. Поникшее лицо литовки все сморщилось и вдруг стало каким-то развареннным, словно растление, поднявшись, проступило сквозь черты ее лица слепым, диким мясом, по которому текли слезы непоправимой обиды. Я не думал, что это так похоже на убийство.

Капитан Мещанинов, опустив голову, молча вернулся на свое место.

Я еще много раз мог убедиться, что он человек, способный на жалость. Вместе с тем, в его поступках часто проявлялись побуждения, которые не вязались ни с общепринятыми нравственными понятиями, ни с его русским добродушием. Не стесняясь моим присутствием, он постоянно наговаривал майору Дубкову на других офицеров комендатуры, обвиняя их в нерадивости. Это по его жалобе отослали тогда Данилова. Перед майором же Дубковым капитан Мещанинов всегда почтительно тянулся, поддакивая каж-

дому его слову с какой-то холуйской готовностью. Но оказалось, что и на Дубкова он готовит донос. Мы говорили как-то с ним о Дубкове, на которого он был в этот день за что-то зол. Вытащив из кармана галифе перетянутую резинкой, потрепанную записную книжку, он злорадно сказал, похлопывая по ней ладонью:

— Не бойся, здесь у меня все записано. Дай срок. Только потянут его, я все доложу, куда следует.

Он мог быть и жестоким. Однажды мы проходили с ним мимо «Сборно-пересыльного пункта для советских граждан, возвращающихся на родину». Здесь всегда около крыльца дожидалось много народа. Над входной дверью надпись: «Родина ждет вас». Сегодня толпа странно неподвижно и тихо стояла вокруг чего-то невидимого за спинами и головами. Перед нами молча расступились. Я заметил, что на Мещанинова оборачиваются с каким-то выжидательным любопытством. Теперь я увидел вокруг чего сгрудились: у самого крыльца, раскинув руки и ноги, лежал на спине человек. Он был в сапогах с толстыми подошвами, грузный, с высокой широкой грудью. Из-под задранной кверху клочковатой бороды еще сочилась кровь. Это один из «возвращавшихся на родину», незадолго до нашего прихода, перерезал себе горло. Что-то очень русское почудилось мне в этой смерти.

Капитан Мещанинов, со своими поднятыми плечами и в фуражке набекрень, остановился над мертвым, отставив ногу.

— Верно знал, что таких делов наделал, за какие в Советском Союзе по голове не погладят, — громко и грубо сказал он, не подаваясь окружающей тяжелой тишине.

Мне показалось, передо мной совсем другой человек, чем тот Мещанинов, которого я до сих пор знал.

Вообще я видел, что, хотя всюду висели эти афиши: «Родина ждет вас», советские офицеры относятся к русским пленным и депортированным с непонятной мне враждебностью.

Была здесь одна «остовка», прижившая ребенка от французского пленного. Француз хотел взять ее и ребенка с собою во Францию. Было видно, он и эта русская по-настоящему друг друга любят. Но Мещанинов заявил, что, как все советские граждане, и мать и ребенок должны вернуться на родину:

— Там подашь прошение. А француженок твой все равно незаконный.

— Что же, что незаконный, — сказала «остовка» сквозь слезы, — отец его признает и хочет с собой взять. А в России ему сиротой расти.

— Нет, не сиротой. У него там будет отец — весь Советский Союз! — наставительно подняв палец, сказал Мещанинов с силой идиотически-твердого убеждения.

Ребенок закопошился в пеленках и заплакал.

— Цыц, ты! А то выброшу к . . . . на пасеку! — прикрикнул на него Мещанинов.

*

Я шел с майором Дубковым из комендатуры. На улице ко мне обрадованно бросился один из пленных русских врачей, которые вышли с нами из лагеря. Меня поразило, какой у него теперь был жалкий и растерянный вид: из-под картуза торчали спутанные, давно нестриженные волосы; впалые щеки заросли бородой; рваные сапоги.

— Голубчик, пожалуйста, скажите майору, что вы меня знаете, что мы с вами в одном лагере сидели, — торопливо заговорил он, держа меня за рукав и заглядывая мне в глаза с униженно-заискивающим выражением, какого раньше я у него никогда не замечал.

Дубков, остановившись в нескольких шагах, смотрел на нас молча и неодобрительно. Когда я стал говорить ему об этом русском докторе, он только презрительно фыркнул.

— Доктор? Это вы говорите! Откуда вы знаете, кто он такой? Может быть он шпион! — и отдуваясь, с наигранным негодованием, Дубков завертел своими круглыми, словно нарисованными эмалевой краской, глазами.

Чем больше я присматривался к Дубкову, тем больше узнавал в нем знакомые черты. Совсем так же, как немцы были убеждены, что никто лучше них не может устроить правильного порядка в мире, Дубков полагал научно доказанным, что именно сталинизм призван историей установить во всей вселенной совершенное административное управление. С этой верой у него соединялось глубокое презрение, даже ненависть ко всему в жизни, и в сознании и в чувствах людей, что не поддавалось регламентации и тем самым могло помешать проведению административных мероприятий.

Как-то французы привели в комендатуру двух немецких солдат. Товарищи случайно наткнулись на них в лесу и те, после недолгих переговоров, сдались. После допроса Дубков мне сказал:

— Я одного спросил, хочешь, Фриц, в Красную армию? Он говорит: «Хочу».

— Вы думаете, это искренно?

— Врет, конечно, — холодно усмехнулся Дубков. — То, что они не сразу сдались, а в лесу прятались, показывает, что заядлые гитлеровцы. Жалко, что ваши французы их не пристрелили. А то ведь мы не имеем права их расстреливать.

Он сказал это с удовольствием, щеголяя и тем, что будь его власть, он без малейшего колебания расстрелял бы этих немцев, и тем, что, поскольку это запрещено, он никогда не позволит себе это сделать, хотя бы ему и очень хотелось.

Всё, чего требовала хлопотливая должность начальника комендатуры, Дубков выполнял с чрезвычайной тщательностью, ревностно, неутомимо, не позволяя себе поддаваться никаким человеческим слабостям, никаким личным чувствам. И такого же отказа от своей воли и полной отдачи всех сил точному исполнению пред-

писанного, он тиранически требовал от всех своих подчиненных, не желая знать, оставалось ли у них время для еды и сна. В комендатуре у всех офицеров были воспаленные от недосыпания глаза, а солдаты, по большей части пожилые и больные, поражали своей угрюмостью и какой-то забитостью.

Административная деятельность, видимо, представлялась Дубкову главным выражением жизни, чем-то абсолютным, верховным, чему все должно подчиняться. Поскольку же эта деятельность необходимо предполагает иерархическое строение общества, он никогда не забывал о своем положении начальника. При нем чем-то вроде денщика состоял контуженный в голову пожилой солдат. Раз, когда мы сидели у Дубкова, этот солдат, «мой красноармеец», как называл его Дубков, не постучав, вошел доложить, что кушать подано. Дубков, недовольный тем, что «мой красноармеец» осмелился его прервать, показывая ему пальцем на дверь, с ненавистью проговорил:

— Ступайте вон, негодяй!

Или как-то раз мы ехали с ним на грузовике. Был еще с нами высокий и худой русский солдат-механик. Смотря на бегущую назад дорогу, он все время чему-то радостно улыбался. Я пробовал с ним разговориться. Он был прежде партизаном.

— Вот, говорят, скоро всех нас, партизан, в Смоленск пошлют, награждать будут. Хотя что же, я немцев не так много убил, человек десять. Я все больше на базе, на кузне работал, оружие чинил. А вот первого моего хорошо помню. Пошел в лес, а он прямо на меня. Увидели друг друга и за автоматы. Но только я его первый срезал, — говорил он все с той же морщившей его губы улыбкой.

Грузовик встряхивало на ухабах проселка. Положив руки на свой аккуратный портфель из желтой свиной кожи, майор Дубков трясся с упорно-замкнутым выражением и, мне казалось, что из-под опущенных век он смотрит на нас с неодобрением.

По дороге попросились на грузовик русские девушки, колхозницы из разоренных немцами мест. Их прислали в Германию за коровами. В ватниках, в стоптанных мужицких сапогах, они сбившись в кучу сидели в углу грузовика, дикарски блестя из-под платков большими яркими глазами.

— Откуда, девчата? — спросил партизан.

— Смоленские, — ответила одна и, не удержавшись, улыбнулась: ее почти черное от густого румянца лицо осветилось блеском белых зубов.

— Я — тоже смоленский! — обрадованно завопил партизан и принялся подробно объяснять девушкам из какого он района.

Когда колхозницы слезали, майор Дубков с недовольным видом внимательно смотрел на их котомки.

— Что-то много барахла везете, — сказал он сердито и вдруг, багровея от начальнического гнева, злобно погрозил пальцем: — Вы у меня смотрите, я с вас три шкуры спущу!

Девушки молча испуганно на него косились.

За то перед начальниками, старшими его по чину, Дубков держал себя восторженно подобострастно. Как-то приехал в комендатуру полковник из штаба фронта. Дубков вышел встретить его на крыльцо. Пока полковник вылезал из машины и медленно подымался по ступенькам крыльца, Дубков стоял навытяжку. Меня поразило выражение холопской почтительности на его белом от страха лице. Так, верно, при крепостном праве дворецкий встречал помещика.

*

Читая сводки, я видел, что война скоро кончится, бои уже шли в предместьях Берлина. Но, когда я говорил об этом с русскими, они отвечали неопределенно, даже смотрели на меня с подозрительностью. Грубо говорили: «Много знать будешь, скоро состаришься». Казалось, все это мало их занимает и они были готовы, если потребуется, еще хоть десять лет воевать. Они никогда не высказывали своего непосредственного мнения. Или убежденно повторяли заученные, готовые суждения, или, если еще не было установлено, как в данном случае нужно думать, предпочитали совсем ничего не говорить. Но в презрении, с каким они слушали мои доводы, чувствовалась непоколебимая уверенность, что им скоро откроется знание, несравнимо более истинное, чем то, до какого можно дойти усилием собственной мысли. Я понимал, что ничего сверхестественного тут не было. Просто сверху приходили административные распоряжения, как нужно думать, чувствовать и вести себя, и политические офицеры их растолковывали. Но поскольку я не присутствовал при этих беседах, мне казалось, русские получают эти разъяснения в магическом причастии к какой-то силе или сущности, вроде Маны тотемических кланов. Это она, эта Мана, ревнивая, требовательная и мстительная носительница тотального державного могущества, решала все вопросы. Каждое ее решение — абсолютная истина. Причем нужно было не только беспрекословно повиноваться этим решениям, но и заранее правильно их угадывать. Именно в этом заключалась, по-видимому, главная трудность. Я с удивлением замечал, русские не проявляют любопытства ни к событиям, ни к новой стране, куда они попали, ни к иностранцам, которых они впервые видели, не боятся страданий и смерти, и все-таки живут в постоянном беспокойстве, в постоянной неуверенности. Их жизнь была поглощена прислушиванием к голосу Маны и неизбывным страхом неправильно понять ее веления. К тому же они все подстерегали друг друга. Когда, наконец, становилось известно, как нужно себя вести, что говорить, как думать и чувствовать, и оказывалось, что кто-нибудь из них ошибался, остальные, в предвкушении кары, которая неизбежно должна была теперь настигнуть нарушителя Истины, только ждали знака, чтобы начать обвинять его с какой-то ритуальной яростью, совершен-

но необъяснимой, так как каждый из них прекрасно знал про себя, что он сам только случайно не сделал такой же ошибки.

*

Капитан Мещанинов поехал как-то на грузовике в Берлин, Бэрлин, как почему-то произносили теперь русские. Вернувшись, рассказывал, что никакой войны больше нет, все пьяные, стреляют в воздух.

На следующий день пришло известие о немецкой капитуляции. Я спросил майора Дубкова, как он думает, сколько времени потребуется теперь России для перевода промышленности на мирное производство.

— Да хоть завтра, если только нам не будут мешать, — сказал он с неприятной усмешкой.

— Неужели вы думаете, что после того, как Германия разбита...?

— Силы войны еще не исчерпаны, еще долго будут действовать, — сказал он спокойно, с «научной» уверенностью. — Уж и теперь союзническая пресса начинает подозревать Советский Союз в захватнических планах. Нелепые, необоснованные обвинения! Миф, пущенный в оборот со специальными целями. Никаких захватнических планов нет, а есть мероприятия защитного характера и поэтому странно и нелепо видеть в этих мероприятиях империалистические замыслы, которые, якобы, советское правительство...

Его лицо стало как слепая свинцовая болванка. Никаких человеческих чувств в нем не отражалось, только накал упорной злобы. Металлический голос майора отчеканивал слова все отчетливее.

*

Когда русские переводили нас через Эльбу и я увидел на том берегу англичан, я вдруг подумал, это в первый раз за пять лет я вижу *свободных* людей. Рядом с англичанами стоял французский офицер: рослый, с красным обветренным лицом и открытым смелым взглядом. Мне показалось, он более *настоящий* француз, чем мои товарищи по плену. Сердце радостно билось: теперь мне больше нечего бояться, я спасен. Еще несколько шагов и совершится чудо: мы вернемся в понятный человеческий мир, где люди думают, чувствуют и говорят свободно, не боясь, что их объявят за это преступниками, врагами, изменниками.

Впоследствии я часто с тревогой себя спрашивал, как могло это случиться: я так спорил, когда бранили русских, так искренне преклонялся перед великим подвигом, совершенным ими в эту войну, и вот, расставаясь, не только не пожалел, что не могу с ними остаться, а вздохнул с таким чувством освобождения и счастья, точно избавился от страшной опасности. Неужели я обманывал са-

мого себя, будто я восхищаюсь русскими, а на самом деле больше их не любил? Предположить это было так же бессмысленно, как, например, предположить, что я мог бы разлюбить моих родителей и все доброе и хорошее, что я привык любить с детства. Ведь это был все тот же русский народ, о котором писал Толстой. Мне вспоминались невысокие, незаметные, похожие на капитана Тушина, офицеры и солдаты, с лицами, выражавшими почти уже галилейскую, добрую, смиренную простоту. Почему же я не захотел остаться с ними, помочь таким как Федя и Данилов в их усилиях сделать, чтобы все в жизни было по-хорошему, по-справедливому, «по-культурному»?

Но тут мне вспоминался майор Дубков, нечеловеческая ничтожность его лица, его бездушный, твердый, глумливый взгляд заводного мопса. И на всех плакатах, на всех портретах вождей — такие же глаза, смотревшие на все живое с безмерным презрением административного всемогущества. И я вспоминал, как все доброе и мягкое заменялось в лицах русских чем-то безличным и невероятно грубым, когда с какой-то сомнабулической готовностью они исполняли приказание воли, которая светилась в сверлящем взгляде этих глаз. Мне хотелось тогда бежать на край земли, за океан, в страну, куда этот взгляд никогда не сможет проникнуть.

VIII

Во Франции на пограничном приемном пункте нас встретили очень радушно. Здесь все отлично было устроено. Медицинский осмотр, душ, дезинфекция, прекрасный, вкусный обед. Милые провинциальные дамы выдавали нам продовольственные посылки и папиросы. Все хорошо шло, пока не стали проверять бумаги. Когда узнали, что я не француз, на лицах появилось замешательство. На репатриационном свидетельстве мне написали, что в Париже я должен явиться в жандармское управление.

Дня через два по приезде, немного отдохнув, я пошел в жандармерию. Меня всегда беспокоило, когда у меня были не в порядке бумаги. Румяный усатый унтер объяснил мне, что это не к ним я должен был пройти, а в отделение «военной безопасности». Он не знал, где это находится.

— Наверное, в Военном министерстве, — сказал он предположительно.

Несколько дней я ходил по разным военным учреждениям. Нигде мне не могли сказать адрес. Вообще, отвечали неохотно, косились: уж не шпион ли? Наконец, я попал на вокзал д'Орсэ. Оказалось, тут-то это и было. За досчатой перегородкой сидел лейтенант в мягкой блузе из войлочного сукна защитного цвета. Его зачесанные назад желтые сальные волосы не держались, падали ему на уши, лезли в глаза.

Когда я объяснил, зачем я пришел, на его прыщавом лице появилось выражение досады.

— Почему вы не сразу пришли? — спросил он, посмотрев на меня с подозрением.

Я начал перечислять все учреждения, которые я обошел. Он недовольно меня перебил:

— На какой вокзал вы приехали?

Рядом разговаривали между собой еще трое лейтенантов в таких же блузах. Один, качая ногой, сидел боком на столе. Он рассказывал, как нагло себя держат иностранцы. Мне казалось, он намеренно возвышает голос, чтобы я слышал.

— Вот, вчера в кафе какой-то «метек»*) осмелился громко ругать Францию. Я подошел и дал ему пощечину. В самом деле, что они думают, что Франции больше нет, — с возмущением говорил он, враждебно исподлобья на меня взглядывая.

— Вы француз? — спросил меня желтоволосый, вертя в руке мое репатриационное свидетельство.

— Нет, русский беженец.

— Ага! — с удовлетворением кивнул он головой и что-то написал на моем свидетельстве.

Я даже не сразу понял, что это такое: „Residence surveillée.“**)

Кровь бросилась мне в голову: как, пять лет... Но я сейчас же примирился. Конечно, это очень противно было, но поскольку у меня нет никаких бумаг, откуда им знать, говорю ли я правду. К тому же, все это на меня подействовало как-то успокоительно: значит, во Франции ничего не изменилось, все осталось, как до войны. В этом было что-то прочное, на что можно было опереться в борьбе со странным чувством, которое не оставляло меня в первые дни моего возвращения.

Мне было трудно определить это чувство. Гуляя по Парижу, я радовался тишине. Нигде не стреляют, люди опять стали домашние, больше никто никого не убивает. И Париж уцелел, уцелели — Лувр, собор Парижской Богоматери, Святая часовня, Вогезская площадь. Я собирался обойти все старые парижские церкви. Я думал о них с благодарностью. Такое чудо, сохранились через столько столетий! Но, несмотря на радость возвращения, я все время чувствовал безотчетное беспокойство. Я с трудом узнавал парижские улицы, особенно в центре. Прежде здесь было так шумно, такое движение: автомобили, автобусы, грузовики. А случись затор, какой концерт гудков подымался! Приходилось подолгу ждать, чтобы перейти на другую сторону. А теперь — гуляй по площади Согласия, уткнувшись в газету, никто не переедет. До самой Триумфальной арки видно светлое на солнце пустынное, каменное русло Елисейских полей. Над бледносерыми домами — высокое небо,

---

*) Иногородний грек в Афинах; арго: иностранец (пренебрежительно).

**) Проживание под надзором полиции.

легкие облака. Изнеможение, блаженство, будто уже на самом деле рай.

По бесшумным улицам мне шли навстречу рослые, хорошо одетые, веселые американские солдаты и накрашенные женщины в юбках до колен. Я чувствовал себя неловко перед ними, мне казалось, я не такой мясистый и полнокровный, как они, и у меня нет на лице румянца жизни. Но главное, меня смущала их беспечность: они улыбались, не замечая, что город, как откололовшееся ледяное поле, уже отчаливал от своей прежней невозвратимой прочности: дома, дворцы, мосты над Сеной на глазах делались какими-то почти призрачными, каждое мгновение могли перестать быть, погибнуть, превратиться в безобразные груды камней. Я помнил развалины немецких городов.

А в небе, не отставая от моего шага, плыл над крышами снимок памяти: опустив голову Раймон сидит под стеной, перед его поникшим лицом, вернее половиной лица, другой половины нет, свисает длинная прядь волнистых волос.

Я чувствовал себя перед ним виноватым. Словно я бросил его на дороге. Напрасно я говорил себе: ведь я сам подвергался такой же опасности, как он, был рядом с ним, и мы все умрем, и я все сделал, написал его матери, и теперь вот вспоминаю его, не забыл. Но я знал, я не могу сделать единственно нужное: не могу вернуть ему жизнь. Странно, именно в этом я чувствовал себя виноватым, будто это от меня зависело.

Не только Раймона я вспоминал, гуляя по Парижу. Все первые дни прошли в расспросах, что с кем стало. Я скоро понял, какую ошибку я делал, ожидая, что найду русский эмигрантский Париж, таким, каким я его оставил в начале войны. Эти годы были для меня одним долгим ожиданием, а жизнь других людей продолжалась. Некоторых война почти не коснулась. Они продолжали заниматься своими делами, женились, рожали детей. Сначала немцы, теперь американцы, не все ли равно у кого работать, нужно жить. Наоборот, для других это было время калейдоскопического поворота их судьбы. Кто заработал с немцами баснословные миллионы, кто был депортирован, кто ходил в немецком мундире, кто стал героем движения сопротивления.

Из одного только знакомого мне русского спортивного кружка вышло немало героев «Свободной Франции». Я знал их беспечными балбесами, которые ничего, кроме спортивной газеты «Авто» не читали. Теперь это были лейтенанты и капитаны, награжденные медалями Освобождения, крестами Почетного Легиона, Военными Крестами с пальмами.

И у членов нашего кружка судьба сложилась по-разному. Профессор Немчин, Зырянов, Бобровский, почти все «отцы», а из нашего поколения — Полянский уехали в Америку. Николай Георгиевич каким-то чудом не попал в плен при разгроме французской армии в 1940 году. Но после всех его военных приключений, у него очень усилился порок сердца. Он отдыхал теперь в санатории, где-

то далеко от Парижа. Он мало кому писал и это молчание и рассказы, что он целыми днями лежит, — все придавало его существованию какую-то грустную недостоверность, как когда видишь во сне умерших близких.

Наш «экип», мои «русские мальчики» за себя постояли. Володя Руднев воевал в Африке и в Италии, брал Кассино, высаживался на юге Франции, на пляже, где мы когда-то вместе купались. Ельников, Боголюбский, Шушигин отличились в Движении сопротивления. Мне было совестно перед ними. Пока они боролись, рисковали жизнью, я спокойно сидел в плену. Их героизм казался мне сверхчеловеческим. Я помнил несколько ужасных ночей, которые я провел, когда Гестапо арестовало моих друзей поляков и я боялся, что меня тоже арестуют. Кошмарный, липкий страх попасть в руки палачей. А вот они годы прожили под угрозой ареста, пыток, концлагерей, газовой камеры.

Больше всех прославился Ваня Иноземцев. Он был одним из первых основателей французского Движения сопротивления. Какой-то предатель его выдал и немецкий военный суд приговорил его к расстрелу. На суде и перед смертью он держал себя так, что вызвал восхищение даже немецких судей.

Только вернувшись в Париж и встречаясь с друзьями в местах, где он прежде бывал, я по-настоящему понял, что он не потому теперь не приходит, что занят или уехал из Парижа, а потому, что его нигде нет на земле.

Грейс, Изаковский, Мануша и столько еще друзей и знакомых погибли в немецких концлагерях. Мне представлялось, что это еще страшнее, чем смертная казнь. Ведь приговоренного к расстрелу даже судьи еще считают человеком. Он может произнести слова, которые, он знает, дойдут до его друзей и до его врагов. Он еще в человеческом мире. А в лагерях?. . . Мне легко было представить, что там делалось. Там к знакомому виду обнесенных колючей проволокой бараков и сторожевых вышек прибавлялась еще труба, вроде фабричной. Говорили, она день и ночь дымила. От знания, что люди могли такое делать над другими людьми, становилось страшно продолжать жить. И вот друзья, которых я близко знал, попали на эти чудовищные фабрики страданий и уничтожения. Они могли бы теперь сидеть с нами, смеяться. . .

Но слушая рассказы знакомых, которые последними видели Манушу, я чувствовал, как ужас и жалость постепенно уступают во мне место удивлению. Что-то прояснилось в моем сознании. Он мог уехать и не уехал. Уже после ареста ему представилась возможность бежать. Он опять не захотел. Все, кто видел его в то время, говорили, он «сиял», «был с крыльями». В Дранси, незадолго до отправки в Германию, он крестился.

Я с недоумением думал: ведь я помню его — обыкновенный господин из Пасси, как же он стал святым? Два раза в месяц мы пили у него чай и спорили о лучшем переустройстве мира. Он был такой же человек, как мы все, с ограниченным умом. Правда, он

всегда стремился подражать примеру героев духа. Но кто только ни пробовал в нашем кружке, хотя бы немного, играть в эту игру. Но ведь потом уже не игра была, а концлагерь, страдания, медленная мучительная смерть. И вот, Мануша не побоялся, не отшатнулся. Решимость верить дала ему силы бестрепетно вступить в ожидающую каждого «ночь в саду», когда человек вдруг понимает, что он совсем один, что он пропал, что впереди только ужас уничтожения и никто не спасет, не может спасти.

Я понимал, что объективной действительности нет дела, что Мануша умер без страха. В ее законах ничего от этого не потряслось и не изменилось. И все-таки, когда я думал о его смерти и о смерти Вани, я чувствовал, как во мне восстанавливается потерянная вера в человека. Будто все эти годы я шел по краю даже не бездны, а какой-то черной, заваленной трупами ямы, и она все продолжала гнаться за мной. И вот, с чувством необъяснимого утешения, я видел, как эта яма ничего не может сделать с Манушей, не может его поглотить. Он лежит на ее краю, но не исчезнет в ней. И у него и у Вани были теперь другие, чем при жизни, лица. В них больше ничего не могло измениться. Они были навсегда озарены неуничтожимым светом.

Со смертью Мануши наш кружок распался. Многие погибли, многие уехали в Америку. Оставшиеся больше не собирались. Теперь, когда больше не было Мануши, все разбрелись в разные стороны. У каждого образовался новый круг. Да, может быть, и не все придавали этим собраниям такое значение, как я. К моему удивлению, некоторые даже как будто должны были делать усилие, чтобы вспомнить, кто там бывал, о чем спорили. Не было больше и нашего Монпарнасса, где люди, как в романах Сергея Шаршуна, говорили братским, верленовским голосом.

*

От знакомых, бежавших из Праги, я узнал, что НКВД арестовало моего отца. В числе многих пражских эмигрантов его увезли в Россию. Об увезенных доходили слухи, кто-то из них написал письмо. Отец будто бы работал при университетской библиотеке. Это было хорошо: значит, не в концлагере, не на лесоповале. Только невозможно было точно установить, где он, в каком городе: по одним сведениям — в Ташкенте, по другим — в Красноярске. Я хотел добиться, чтобы ему передали, что я жив, вернулся в Париж. Я знал, как его должна была мучить неизвестность, что со мной стало. Но шли месяцы, годы. . .

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

В борьбе со злом национал-социализма погибли миллионы людей. И вот, царство Гитлера рухнуло, но торжество добра не наступило. В мире опять становилось душно и страшно. Отчаяние уже начинало пересиливать во мне бергсоновское ожидание, что после открытия атомной энергии дорога будет свободна. Я решил уехать в Америку. Я боялся, сюда придут *они*. Да и никакой работы я не мог здесь найти. Меня опять начинала мучить моя неспособность жить, как все.

В плену мой недуг почти прошел. Страстное желание дождаться разгрома Гитлера поглощало меня с такой силой, что мне больше не приходили в голову метафизические вопросы. Но когда я вернулся в Париж и возобновилась моя прежняя жизнь отверженности, скуки и сожаления, на меня опять начало это находить: рассеянность и ожидание чего-то, как когда я лежал под бомбами.

Я не знал, чему верить. Ведь, собственно, ничего тогда не произошло. Только недостоверное предчувствие. Но я не мог забыть. За однообразным движением моих повседневных мыслей, я всегда об этом думал. Все остальное казалось неважным и скучным. Но я все боялся, вдруг какой-нибудь ученый докажет, что такие состояния только галлюцинация, самовнушение, самообман. Вот, говорят, авитаминоз, пост, интоксикация, все вообще, что нарушает обмен веществ, способствует появлению ненормальных восприятий. Значит, когда я лежал под бомбами и мне что-то почудилось, это было только следствие крайнего изнурения. Тем более я обрадовался, когда прочел у Бергсона, как Уильям Джеймс изучал на самом себе состояние, вызываемое вдыханием протоксида азота. Это состояние сопровождалось у него чувством напряженной метафизической иллюминации. Истина открылась ему «в бездонной глубине почти ослепляющей очевидности». Джеймса упрекали в попытке постигнуть Божественное при помощи физического опыта. Но, по мнению Бергсона, Джеймс вовсе не считал внутреннее откровение эквивалентом протоксида азота. Оно уже прежде было у него в душе. Интоксикация только устранила преграду, которая мешала этому состоянию проявиться. Тогда, значит, истощение и усталость не были «адекватной причиной» чувства, которое я испытал на холме под бомбами. Они только способствовали тому, что оно дошло до моего сознания.

Мне самому не пришло бы в голову так поставить вопрос. Верно и другие доводы против веры мне кажутся неотразимыми только потому, что у меня нет умственной находчивости и я не способен сосредоточиться, чтобы увидеть глубже.

Странно, несмотря на мое всегдашнее мечтание почувствовать очевидность, о какой писал Уильям Джеймс, я никогда не пробовал вдыхать протоксид азота. Не хватало смелости, энергии. Я даже не знал, что это такое — протоксид азота, и как его достать. И хотя Джеймс уверял, что это безвредный опыт, какая-то нерешительность, лень меня одолевали. А главное, меня больше убеждало, что были люди, кому эта очевидность открылась без протоксида азота. Мануше не нужно было никаких искусственных средств, чтобы встретить смерть без страха. Правда, он был исключительный человек. Но тот же Джеймс приводил в «Многообразии религиозного опыта» свидетельства самых обыкновенных людей, вовсе не святых и не героев, о том, как им открылось присутствие абсолютного бытия.

Потому-то я и придавал такое значение припадкам рассеянности, когда мне начинало казаться, что вот сейчас за этим миром, где все кончается смертью, откроется что-то другое — вечное, прекрасное, настоящая родина. Пусть я только убеждал себя в этом, пусть слишком неуловимо, слишком недостоверно было все, что мне чудилось в эти мгновения. Все-таки, благодаря им, я мог себе представить, как может наступить уверенность.

*

Бродя по набережным Сены, я часто думал: вот бы написать все это. Но я знал, получится грубо, мертво. А вот Багрянов, верно, смог бы. Его картины хорошо продавались. Он был уже известный художник. «Я не неудачник», — говорил он самодовольно. Однажды он насмешливо меня спросил: «Почему вы все пишете воду?» В замешательстве я сказал, что больше всего в природе люблю воду. Он глумливо усмехнулся: «Да, но уже один художник, Айвазовский, этим занимался».

Я и сам видел, что у меня нет таланта, особенно, когда с завистью думал о рае на земле на картинах Багрянова. Правда, сквозь их прелесть проглядывало что-то мошенническое, но он с такой неистощимой находчивостью сотворял все новые волшебно яркие оттенки зеленого и красного и какого-то жемчужно-сиреневого. А я ни одной картины по-настоящему не кончил. И всетаки я всегда думал о себе — художник. Я вот почему так думал. Я гуляю по набережной или в городском саду и внезапно все вокруг кажется освещенным каким-то особым магнием. То-есть, ничто не менялось. Пожалуй, только трехмерность объемов становилась ощутимее. Но раньше я смотрел и все это мне ничего не говорило, а теперь, в странном головокружении, я видел небо, как видишь лицо женщины, поднявшей вуаль. В безразличном к моей жизни сне природы

было что-то ошеломляющее, невместимое сознанием, нечеловеческое и в то же время какое-то одушевленное единство, и красота, и таинственный благостный покой. Мне даже почудилось однажды, мир полон ожидания какого-то любящего, кто должен прийти, или, может быть, уже пришел, всегда был. Правда, это впечатление только на мгновение мелькнуло почти за краем сознания как взмах крыла, когда над головой пролетает большая птица. Я напрасно пытался вспомнить и написать это необъяснимое выражение ландшафта. Получалось невнятно. Но я надеялся, усилие сосредоточиться поможет мне увернуться от небытия. Нужно только писать точно, что видишь, ничего не выдумывая.

Но я так быстро уставал. Сначала мешали волнение и какая-то торопливость, потом вдруг рассеянность, полуобморочная слабость. Я больше ничего не мог.

*

Рассудок мне говорил, что мое мечтание ни на чем не основано и лучше заняться, как все люди, чем-нибудь дельным. Но я знал, без этого предчувствия, хотя оно никогда не сбывалось, все станет бессмысленным и страшным. Потому-то я так и боялся, что в Париж могут придти большевики. Не только допросы и концлагеря, а устроят свой ненавистный мир без отдушин, и будут мучить до тех пор, пока не останется сил надеяться, что есть что-то другое.

*

Мглистый свет, как в подземельях метро. Незнакомая улица, в которую я свернул, напоминала городские пейзажи Эдуарда Мунка.

В кинематографе на этой улице давали какой-то замечательный, не такой как все другие фильм. Я вошел, забыв посмотреть на афишу у входа. Было неприятно: вдруг ошибся, не туда попал? Как поступить? Вернуться на улицу проверить? Опасно, пока буду ходить, образуется большая очередь; у кассы и так толпа.

Но к моему удивлению, когда я подошел ближе, передо мной оказалось всего три-четыре человека. Я посмотрел почем билеты: дешевле ста нет, а самые дорогие — двести двадцать. Верно и вправду фильм необыкновенный, если цены так повышены. Кассирша дала мне почему-то самый дешевый билет. Я пошел в зал, беспокоясь, хорошо ли буду сидеть, но в то же время радуясь, что сэкономил больше ста франков.

Зал огромный, плохо освещенный. В вышине стены и потолок тонут во мраке. По моей просьбе, смазливая билетерша посадила меня у прохода. Но проход-то был вовсе не посередине, как я думал, а сбоку. Я подозвал билетершу и заявил, что хочу пересесть. «Надо доплатить», — сказала она недовольно.

Пока она ходила за добавочным билетом, я высматривал, куда бы сесть. Я боялся, что все еще свободные места займут или сеанс

начнется прежде, чем она придет обратно. Наконец, она вернулась. Чему-то смеясь с другой билетершей, она, не глядя на меня, протянула мне билет. Нужно было доплатить всего тридцать франков. «Что-то дешево, — подумал я с досадой, — ведь хорошие билеты стоят. . .» Но я ничего не сказал. Она повела меня и к моему возмущению показала мне место в первом ряду, у самого экрана. Когда она ушла, я самовольно пересел и только тут понял свою ошибку. Ряд, в который она хотела меня посадить, был вовсе не первый, а последний. Экран, на самом деле, находился на другом конце зала. Нужно было бы в середину, но там все места были заняты и как раз перед экраном росло большое виловатое дерево. Тем, кто там сидел, оно все заслоняло. Но это был особый кинематограф. Когда его строили, решили не рубить деревьев. Его возвели над ними, как оранжерею.

Я заметил еще одну странность. Кресла первого и второго рядов стояли друг к другу спинками и также кресла третьего и четвертого и так далее. Причем те, кто сидел в нечетных рядах, могли ворочать кресла и смотреть вперед и назад, но кресла четных рядов не ворочались, сидевшие в них должны были оставаться все время спиной к экрану. Однако, они не протестовали, сидели спокойно и неподвижно, в торжественном молчании. Один — худой, высокий старик. «Ну что же, это их дело, — подумал я, — я то сижу лицом к экрану».

Впоследствии, когда мне представлялись их поднятые лица, я вспоминал, что, кажется, они ждали вовсе не начала фильма а наступления события несравнимо более важного: кто-то должен был прийти и рассказать, что будет после смерти.

Свет в зале еще не погас, а уже заиграла музыка. На экране стали сменяться заглавные надписи, напечатанные, как это часто делается, на кадрах фильма. Жандармы в джунглях преследуют каких-то повстанцев. Стреляя на бегу, они топтали ногами упавших на землю. Я смотрел с беспокойством и удивлением. Не ожидал, что будут показывать такое, эту безжалостность убийства — ведь нельзя поправить.

А потом открылся вид на внутренний двор тюрьмы. Через двор — канава. В ней кишели большие и маленькие крокодилы. Другие крокодилы проворно, как ящерицы, лазили по деревьям и висели на ветвях отвратительно шевелившимися гроздьями. Дверь тюрьмы все время отворялась и сторожа выталкивали на двор голых заключенных. Еретики, осужденные инквизицией или, может быть, политические преступники? Тюремщиков трудно рассмотреть. Как всегда в моих снах — не то Гестапо, не то НКВД.

Заключенные должны были пробежать по переброшенной через канаву доске. Многие срывались и падали вниз. Было видно, как на дне их пожирают крокодилы. Там была не вода, а только черная липкая жижа. Те же, кому удавалось перебежать, проносились через двор и одним духом вскарабкивались, почти вбегали по стволам деревьев, испуская безумные, будто торжествующие вопли. Но они

напрасно думали спастись. Их разрывали на куски крокодилы, которые висели на ветвях.

Я смотрел в неприятном смущении. Кто-то наставительно провозгласил: «Это закон жизни: надежда, борьба, а в конце уничтожение, смерть. Никто не может этого изменить».

«Нет, так не должно быть», — говорил я себе в страхе. Словно в ответ голос стал рассказывать: «Но рядом, в монастыре, жили двадцать восемь молодых девушек и старый католический священник. Они решили, что нельзя допустить торжества зла и смерти, и они сделали так, что смерти больше не стало».

Это было замечательно, но и сквозь сон я чувствовал недовольство: готовая поэтичность этого видения, — девушки, священник, — это не мое. И почему священник католический, да и крокодилы? К тому же с моим сном что-то на глазах делалось. Он больше не производил впечатления жизни, останавливался, распадался, неудержимо тускнел, как медуза на песке. Тогда священник, с озабоченным видом пробегая мимо, сказал, что все это было условно, приблизительно, взяли первое попавшееся под руку, нужно было спешить, но дело вовсе не в этих случайных подробностях. Он сказал это, не оборачиваясь в мою сторону и не открывая рта. Я с удивлением заметил, — он был теперь не такой старый.

Тут экран стал вдруг приближаться, раздвигаясь в стороны и вверх. Одновременно я плавно двинулся в моем кресле ему навстречу и въехал в него и вот уже лежу грудью на стене монастыря, где жили этот старый аббат и девушки, и оттуда смотрю на двор тюрьмы. Эта перемена сопровождалась ощущением прохлады и радости, почти блаженства. Я теперь понимал, почему говорили, что этот фильм особенный, и почему билеты стоили так дорого. Но как же это устроено? Ведь не я один, а все зрители должны были так переехать в экран.

А монастырь был старый, тех времен, когда в Европе еще умели строить. Я восхищенно смотрел, как по моей воле воздвигаются прекрасные и строгие монастырские здания.

Но сон в тюрьме продолжался. Теперь уже женский голос говорил: «Я родилась в Одессе и видела ужас советских и немецких концлагерей. Это не люди, не было меры их жестокости».

Я проснулся, почему-то думая, как должно быть страшно, когда раздавливает что-то чудовищно тяжелое. Ведь и со мной это может случиться, вот буду переходить сегодня улицу и на меня наедет автобус.

*

Такие сны мне часто тогда снсились, да и теперь все еще снятся. Вот еще один.

Я попал в лагерь — огромный дом со множеством комнат. Какие-то ужасные существа что-то делали там с людьми, превращая их в такую же нежить, как они сами. Долговязый упырь ехал мне

навстречу на белом коне. Он хотел пронзить меня кинжалом, ножом для разрезания книг, но почему-то передумал и проехал мимо.

Я подумал: «Как же я спасусь, у всех выходов часовые». В это время какой-то человек сказал в рупор: «Иди за мной». Он сел на лошадь. Я пошёл за ним. В стене открылось окно, но без стекла, а просто широкий пролом. К нему подлетел по воздуху корабль. Вернее, этот пролом выходил на залитый солнцем порт на Средиземном море. У пристани стоит готовый к отплытию пароход. На палубе эвакуируемые на родину солдаты. Среди них почему-то много индусов. На этом пароходе я должен был уехать на свободу.

*

Вскоре после возвращения из плена я проезжал тут через Сену на автобусе. Стояла необычная для Парижа стужа. Плавясь в оранжевой ауре, солнце садилось за крыши домов. Мне казалось, я вижу все это в вечности. С тех пор прошло уже несколько лет, а мне все хотелось сюда вернуться, но как-то не выходило. Теперь, перед отъездом в Америку, наконец, собрался.

Сегодня все было по-другому. Превращенная июльским солнцем в серебряную лаву Сена, забыв о загрязнивших ее городских помоях, текла среди каменных набережных грозно и радостно сверкая. На Левом берегу празднично ярко белели какие-то длинные постройки. За ними сплошной зеленый строй деревьев загораживал дома. Только купол Пантеона виднелся там вдали, будто среди уже дачной отрады.

В небе цвета океанов на глобусе почти не движутся серые, как перед грозой, но с белоснежными вершинами облака.

Я спустился к воде. После глади асфальта ногам было неловко ступать по неровным булыжникам широкой набережной, покрытой сквозной тенью листвы огромных вязов. Всегда ноющая мысль: как тщедушна жизнь по сравнению с тяжестью косного вещества. И вдруг чудо: дерево, такое большое, могучее! Прорвав каменную броню набережной растет из земли в головокружительную вышину. Радуясь неожиданному для меня самого чувству, я с нежностью уперся ладонью в живой столп, завернутый в шершавую кору. Будто женщина в каракулевой шубе, надетой прямо на голое тело. Но я сейчас же подумал: мне что-то чистое и прелестное представляется, а скажут, — это пошлое сравнение. Тут было противоречие. Непосредственные впечатления не могут быть пошлыми или глупыми. Я для того и пишу, чтобы их *проявить*, а вот боюсь осуждения маловероятных читателей.

На стержень реки каменным кораблем выдвинулся остров Святого Людовика. С высокого парапета свисают космы зеленого плюща. Вздрагивая на струях течения, там стояли на якорях плоскодонки удильщиков. На них сверху глазели зеваки.

Справа полнеба заслоняет мост. На освещенном слонцем бетонном подножии быка спит на спине бродяга. Жаркие лучи отвесно

бьют в его багровое от пьянства лицо, удивительно густо заросшее давно не бритой бородой. Будто, пока он спал, какое-то щетинистое животное вылезло из воды и, по крысиному осмотревшись, улеглось у него на подбородке. И вот с ним произошла метаморфоза: нижняя часть его лица начала превращаться в бурого ежа. Но, блаженно улыбаясь, он продолжал спать, сложив руки на мерно дышавшем куполе живота. Его шея была обмотана грязной, чудесного рубинового цвета тряпкой.

По-французски таких называют «клошарами». Я вспомнил: разговор в прихожей Земгора двух худых, с изможденными лицами эмигрантских горемык. Один не то поощрительно, не то с осуждением сказал другому: «А то есть еще такая секта клошарей».

Вдоль набережной причалены баржи и буксиры, с красными перехватами на высоких черных трубах. Пахнет крашеным, нагретым на солнце железом.

Уже разомлев от светлого жара, я шел вдоль воды, чувствуя сожаление о своей неудачной жизни, смертельное уныние и счастье безумного ожидания: здесь, на берегу реки, мне внезапно откроется таинственное объяснение всего.

Навстречу мне, крича и смеясь, двигалась шумная квадрилья по-воскресному принаряженных молодых приказчиков и их подруг. Подвипившая смазливая девица, в задорно заломленной над белокурыми кудряшками шляпке, с хохотом отбиваясь от норовившего ее облапить кавалера, неверно, как на ходулях, бежала на высоких каблуках по булыжникам набережной. На них из рубки катера, скучая, смотрел кочегар в грязном тельнике.

Я с удивлением вспомнил, в детстве я мечтал стать матросом. А теперь от моей детской мифологии ничего не осталось. Магический свет, в котором я все тогда видел, погас. Никакой зависти к этому кочегару я не чувствовал. Испитое лицо, угрюмый взгляд выцветших глаз, худые, вымазанные сажей руки. Обыкновенный бедный рабочий человек. Его жизнь представилась мне унылой и безрадостной.

За поворотом реки открылся вид на другой, дальний мост, по которому, высоко в небе катили маленькие, будто игрушечные вагоны метро. Дойдя до конца набережной, я поднялся по лестнице в крохотный садик. Здесь сидели няньки с детьми и старый алжирец внимательно наблюдал, как забыв весь мир, целуются влюбленные. Обнимая милого за шею, толстоногая изольда так восхищенно тянется к нему, что половина ее тяжелого, плотно обтянутого черной юбкой зада приподнялась над скамейкой. Садик пересечен по косой линии каким-то железным помостом. Перегнувшись через поручни, я увидел внизу выгнутый перрон станции метро. Будто недалеко, а все такое маленькое, как когда смотришь в перевернутый бинокль. Еще ниже, под обрывом берега выходит в Сену устье канала. Там, у самой воды, облокотившись на локоть подобно фидиевой парке, лежала смуглая широколицая женщина. Синий цвет ее дырявого платья удивительно хорошо сочетался с бронзой

голых рук и шеи. Над низким лбом — копна коротких черных змей. Положив ей на колени голову, спит молодой бродяга. У него под локтем блестела пустая бутыль.

Я перешел на другую сторону помоста. Отсюда канал был виден во всю длину, до самой площади Бастилии. Там восхитительно изящно зеленела в бледнолиловом небе бронзовая колонна, увенчанная золоченым крылатым гением. Вода в канале еще грязнее, чем в Сене. Тяжело вздыхая, хлюпает у плотины. Казалось невероятным, что здесь могла водиться рыба. Между тем, всюду сидят удильщики. А какая-то старуха даже черпала эту прокаженную воду ведром и наполняла ею бидон, поставленный в облупленную детскую коляску. У ног старухи жались друг к дружке две старомодные, на тонких ножках, худые и грязные левретки. Я отвернулся и стал смотреть на баржу, причаленную у другого берега. Струи канала, колыхаясь, обтекали ее тяжелую черную корму. Просвечивая в мутной глубине, ее красное брюхо полоскалось в мутножелтой зыби широкой оранжевой лентой.

Когда я опять посмотрел на старуху, она уже уходила, толкая перед собой коляску. Теперь я увидел ее лицо, в венце всклокоченных седых косм: так в Средневековье изображали солнце, окруженное изогнутыми языками лучей. Ее остановившийся безумный взгляд поразил меня выражением отчаяния и ненависти. Обе собачонки сидели теперь в коляске рядом с бидоном.

Не доходя до Бастилии, я свернул в незнакомую пустынную улицу, добела освещенную солнцем. Передо мной шла пара: на женщине — пиджак, вроде мужского и суконная юбка, не закрывавшая голых кривых икр, на мужчине белый картузик, американская солдатская куртка, штаны в полоску. Обутый в рваные парусиновые туфли, он ступал легко и бесшумно. На мгновение обернувшись испитым, с извилистыми губами лицом, — тюрьма, дисциплинарный батальон, — он внимательно посмотрел на меня неулыбающимся, по-звериному простым, спокойно настороженным взглядом, потом бровью показал женщине на что-то на земле и она нагнулась и подняла окурок. Тогда, чуть толкнув ее локтем, мужчина перешел на другой тротуар. И так они продолжали идти, подбирая окурки каждый на своей стороне.

Скоро я вышел к заколоченному готическому особняку, где когда-то веселилась королева Марго, неверная жена Генриха IV. Здесь на «Болоте» жила тогда французская знать, а теперь на пустырях между развалинами, перебраниваясь гортанными голосами, стояли кучками алжирцы, с коричневыми кубистическими лицами.

Погибшие дома, жизнь людей. . . Они будто просили меня спасти их от смертельности существования, а я собираюсь ехать, бежать, бросить их на произвол. . . Я почувствовал подступающие слезы. Странно, в то время я не стеснялся таких припадков нервической расслабленности, наборот, находил в них что-то умиротворяющее, пронзительно-сладостное. Мне казалось, Париж спит вдали на ка-

ком-то немыслимом юру, и там, за самым краем начинает брезжить что-то, но трудно рассмотреть. А из поперечных улиц — от стен домов, от каменных плит набережной и платанов с ободранной кожей и дрожащими на ветру листьями — веет такой щемящей тоской, что я не мог больше думать: мысль останавливалась, распадаясь на куски без всякого значения.

Мне вспомнилось: вчера было 14-ое июля, значит сегодня еще праздник. Обычно три дня танцуют. Поехать в Латинский квартал, там, верно, весело.

На бульваре Сан-Мишель еще стояли помосты для музыкантов и висели цветные фонарики. Но все уже разошлись и музыка больше не играла.

*

Перед расставанием мне хотелось осмотреть весь Париж. Вернусь ли еще когда-нибудь? В свободные дни я бродил по городу. Особенно мне нравились безлюдные по праздникам улицы Сан-Жерменского предместья. Во дворах, за высокими воротами столько прелестных старых особняков. Теперь в них разные учреждения, музеи, посольства. Встречая старух в нитяных перчатках и в шляпках с вуалями, я думал: «Может быть, это обедневшие принцессы дё Германт и сейчас проедет в своей виктории бессмертный прустовский Сван, с неотступной мыслью об Одетт, как «с любимым животным на коленях».

Как-то я вошел во двор незнакомого монастыря. За этим первым двором оказался сад, отделенный от города высокой каменной стеной. Среди газонов, расшитых пестрыми крестиками цветов, в славе заходящего солнца, будто уже в раю, прогуливались по дорожкам монахи. Я не посмел войти в этот сад.

Я даже съездил в Фонтенбло. Еще издали, завидев неровные постройки дворца, я почувствовал волнение. Торопливо и жадно осматриваясь, прошел по внутреннему двору. Дальше, за чугунной решеткой открылся вид, исполненный очарования: зеленый луг, зеркально-светлый прямоугольный пруд, деревья, облака. Страна, которая мне всегда снилась.

II

Уже была глубокая осень, когда в одной книге я увидел воспроизведение неизвестной мне до того картины Ренуара «Ля Гренуйер». Я сразу, с первого взгляда узнал. Мне так часто снился праздник на берегу воды. Солнечный день. Сена до краев наполнена опрокинутым отражением зеленого строя береговых тополей. В густо-зеленой воде, в колыхании золотых бликов — головы купальщиков, плывут лодки. На помосте вокруг дерева, — оно растет будто из воды — мужчины в котелках набекрень и женщины в голубых и розовых платьях.

Родимое, желанное лоно света, воздуха, воды. Будто распахнулись ставни, по стенам и потолку заиграли отбрасываемые речной рябью солнечные зайчики и вошло все знакомое с детства счастье загородного рая, вплоть до запаха теплой воды. Клязьма чут плещет у свай купальни, обросших космами зеленой тины.

Об этой картине Ренуара в книге говорилось, что Мопассан не раз описывал «Ля Гренуйер», знаменитое в то время увеселительное место на Сене, на острове напротив Круаси. Я нашел один из таких рассказов. «Над этой толпой плыл запах пудры и любви». Да, именно это мне воображалось, остров Цитеры. Но дальше Мопассан писал: «Здесь смердело глупостью, приказчичьей галантностью, чем-то полупочтенным, здесь вызывали на дуэль из-за одного неосторожного слова. Но удары шпаги и пистолетные пули только еще больше продырявливали сомнительные репутации».

Значит и тогда, даже в тот летний, светлый, благословенный день, люди были готовы убивать друг друга с такой же безжалостностью, как теперь. И все-таки это был сказочный золотой век: Европа еще не знала тогда, что ее ждут впереди чудовищные войны, чудовищные революции, концлагеря, газовые печи, рабство.

*

Однажды, поджидая автобус, я рассматривал карту на стенке станционной будки. Вдруг, недалеко от тургеневского Буживаля, увидел на длинном узком острове на Сене надпись «Ля Гренуйер». У меня даже сердце забилось. Неужели еще и теперь существует? Я бы меньше поразился, если бы мне сказали, что рядом с моей комнатой в гостинице вовсе не другая такая же нищенская комната, а дворцовый зал и там устраиваются костюмированные праздники.

Этот остров я должен был бы хорошо знать: столько раз проезжал мимо на автобусе. Но странно, мне вспоминались места вовсе не похожие на картину Ренуара. По склону холма сходят к полуразрушенным оградам запущенные сады. Среди кустов и деревьев редкие, большей частью заколоченные дома. С другой стороны дороги — Сена. Деля ее на два рукава, тянется уиылый пологий остров. Оказывается тот самый, а я так равнодушно смотрел.

Это было вскоре после моего возвращения из плена. Я был демобилизован из французской армии и не зная, что делать в жизни, служил ночным сторожем в гараже недалеко от Буживальской плотины. Там постоянно были причалены баржи и катера, совсем как у Сизлея.

Я хорошо помнил этот гараж. Грузовики дремлют в полумраке стадом допотопных мастодонтов. Бочки с бензином, запасные шины, стены без окон, под потолком тусклая лампочка. Снаружи ночь, тишина, будто все умерли, а по середине гаража освещенная этой лампочкой, захлебывается лаем собачка. Отдача звонкого отрывистого тявканья дергает ее голову кверху и ее тельце упруго под-

прыгивает, отделяясь от пола всеми четырьмя лапами одновременно. Она хочет лаять сердито, с угрозой, даже старается рычать, но у нее не выходит, она слишком добрая. Я смотрю на нее и думаю: если любовь, доброта, забота о других разлиты в мире подобно солнечному свету, то это прыгает на каменном полу маленькое четвероногое солнышко. И все-таки я досадовал, не понимая, почему она лает, не дает мне спать. Я несколько раз ее оттаскивал и укладывал в картонку, где мы устроили ей постель. Но она упрямо опять выбегала на середину гаража и, смотря в потолок, принималась лаять еще пуще прежнего.

Потом оказалось, она спасла меня тогда. Это грабители, приставив снаружи лестницу, пытались влезть через стеклянную крышу.

Еще мне вспомнилось: вот я иду в обход. Муся, так звали собаку, вздохнув, покорно вылезает из своей картонки и сонно плетется за мной. Я ее не звал. Это она сама решила, что должна меня сопровождать. Она семенит немного сзади и сбоку, и я ее не вижу, только слышу легкое постукивание ее шажков.

По утрам она просыпалась раньше меня, но не смела встать, пока я спал. (Нам, ночным сторожам, это не полагалось, но никто не мог проверить!) Открыв глаза, я видел, как подняв голову, она выжидательно на меня смотрит. Стоило мне шевельнуться, как она начинала вылезать из своей коробки. Но по тому, как при этом у нее были виновато прижаты уши, я чувствовал, она прекрасно знает, что я вовсе не собираюсь еще вставать, а только так пошевелился. Горбясь от страха, что сейчас раздастся мой сердитый окрик, она с несчастным, необыкновенно уморительным видом все-таки упорно продолжала продвигаться сторонкой к выходу. Только у самой двери, почему-то считая, что теперь выиграла, она распрямлялась и, независимо махая хвостом, смотрела на меня с таким радостным и дружелюбным выражением, что хочешь, не хочешь, а приходилось вставать и отворять дверь.

*

Мысль найти «Ля Гренуйер» меня не оставляла. Изо дня в день шли холодные ноябрьские дожди. Я все-таки поехал.

Я сошел с автобуса у Буживальской плотины. С бьющимся, как перед свиданием, сердцем, перешел по мосту на остров. Стал осматриваться. Вот сквозь кусты виднеется какой-то дом, даже дым идет из трубы. А все-таки сразу видно — забытое, заброшенное место. Сырость, пахнет перегнившими листьями. Как здесь печально!

Я долго шел по тропинке вдоль берега. Моросил дождь, ноги разъезжаются по размокшей глине. В ветвях вязов и в зарослях лозняка с унылым и грозным гудением проносится ветер. На огороженной колючей проволокой поляне — пни в два обхвата. По этим пням было видно, какие большие деревья росли здесь прежде. Верно тот парк, о котором писал Мопассан.

Наконец, я добрел до места, где был тогда перевоз. У самой воды, желтой и мутной, покрытой у побурелых камышей накипью грязной пены, из-под обрыва берега выступает край каменной плиты. Я смотрел с волнением. Вот все, что осталось от «Ля Гренуйер», от ее беспечных праздников, — плита вроде кладбищенский. Над нею, с ветки склоненного над рекой вяза, свисает, раскачиваясь на ветру, толстая, оборванная веревка. Кто ее повесил тут и зачем?

Словно куда-то торопясь, вода шла журча и петляя. Мгновениями казалось, остров тоже движется. На его гребне, как на спине огромного змия, я подымаюсь против течения к далеким отсюда башням Нотр-Дам.

Не переставая сеялся мельчайший, почти неощутимый дождь. За его кисеей высится вдали большой, до облаков холм. Судя по карте — гора Святого Валерьяна. Там в 42 году немцы расстреляли Ваню Иноземцева. Несмотря на мое рассеянное равнодушие к другим людям, мне стало грустно. Я вспомнил, какой он был хороший мне товарищ. У меня подступили к глазам слезы. Это было горестное, но почти приятное чувство душевного размягчения. Я чуть ли не завидовал Ване. Ему было открыто какое-то другое, недоступное мне чувство жизни. В ночь перед расстрелом он написал своей жене: «Бессмертное солнце любви всходит из бездны смерти». Он умер без повязки на глазах. Он не знал моего постоянного страха перед людской злобой и перед неизбежностью уничтожения. Невыносимое для меня знание, что человеческая жизнь на земле ничем не охранена от смерти и произвола случайностей, казалось, не только не пугало его, а, наоборот, пьянило. То, что мне на мгновение почудилось, когда я лежал на холме под бомбами и перестал бояться, было для него всегда присутствующей действительностью. Это в эту действительность он жадно и радостно вглядывался своими расширенными светлыми глазами, когда, стоя перед дулами двенадцати немецких винтовок, новый, современный Рудин, он запел Марсельезу. Грянул залп и он упал. Теперь больше никто не научит меня, как не бояться.

Его труп гниет теперь под землей, но что стало с его сознанием? Такое же «я» как мое, центр мира, и все-таки чужое, непонятное, соединенное с жизнью другого человека, с другим телом, другими воспоминаниями, другими мыслями, другими чувствами. Как это устроено: у каждого другая судьба и все люди разъединены, не любят и даже убивают друг друга. А вместе с тем их сознания — живые атомы одного и того же всеобщего сознания. Но как же сознание может быть всеобщим, а не личным, кто же тогда сознает?

Все это настойчиво, но неясно мне представлялось, как если бы я угадывал впотьмах присутствие какого-то огромного предмета, но не мог рассмотреть его очертаний. Никакого определения я не мог найти. Моя мысль бессильно останавливалась.

Мне было грустно и я чувствовал усталость. Обойдя весь остров, я вернулся в Буживаль и уже в сумерках дошел до гаража. Зако-

лоченный, неосвещенный он поджидал меня, сутулясь одинокой неясной громадой. Вокруг ни домов, ни огней, только сады, затопляемые приливом темноты. Воздевая к небу голые черные ветви, на повороте шоссе горестно сетовал хор деревьев. Внизу, под скатом берега, укрытая саваном белесого тумана, словно остывая и дымясь, текла Сена — глубокая, холодная и страшная.

Все было тихо, пустынно. Только автомобили, вдруг вспыхивая желтыми глазами, вырывались из глубины ночи и, как яростные псы Актеона, с протяжнм воем неслись по дороге. В качании стремительно бегущих перед ними снопов света мелькали призрачно на мгновение озаряемые обломки сонного ландшафта.

Я подошел к дверям гаража. Он оказался приземистее, чем в моих воспоминаниях. По бокам фронтона вовсе не башенки, как я думал, а цементные цилиндрические вазы. Я знал, если я войду, мне не бросится навстречу Муся. Как она радовалась, когда я приезжал. Почти ползала на животе, повизгивая от любви и счастья. А между тем, я не сделал ей ничего хорошего.

*

Этот гараж я стерег по очереди с моим приятелем Жоржем: одну ночь — он, другую — я. Вокруг гаражи часто грабили. Вот мы и решили обзавестись собакой.

Собаку привез Жорж поздно вечером. Я почувствовал разочарование, когда он вынул ее из корзинки и поставил на пол у моих ног. Нам был нужен волкодав, защитник, сторож, а не такая, величиной с фокстерьера. Правда, плотнее, вроде свинки. По ярко белой шерсти — бархатные, черные пятна.

— Как ее зовут?

— Муся.

Не подозревая о моем разочаровании, Муся вопросительно, но с явным убеждением, что мы стали друзьями, смотрела на меня, чуть наклонив голову набок. Веселые огоньки все задорнее разгорались в ее сплошь темных глазах, ярко блестевших под желтыми бугорками, заменявшими ей брови. И вдруг на меня хлынуло, как в детстве, чувство любви и счастья. Присев на корточки, я стал с наслаждением гладит обеими руками крепкое, мускулистое тельце, ходуиом ходившее от встречной ко мне любви. Радостно тявкая, Муся прыгала на меня передними лапами, упиралась детскими ручками. От нее пахло отсыревшей в ночном тумане шерстью.

*

Муся не долго с нами прожила. Это случилось в дежурство Жоржа. Когда он сходил с автобуса, Муся бросилась через дорогу ему навстречу и попала под колеса вылетевшего из-за поворота грузовика. Жорж мне рассказал, что когда он подошел, раздавленная

Муся потянулась к нему головой и умерла, смотря на него со своим всегдашним выражением любви.

Мы завели другую собаку, но я не мог к ней привыкнуть. Вскоре после смерти Муси я бросил службу в этом гараже.

*

Печальное возвращение в Париж. Стремительный бег почти пустого автобуса. В окнах проплывают в неверном свете черные под дождем сады. Теперь я знал, «Ля Гренуйер» больше нет, было глупо надеяться, и мне все время вспоминалась Муся. В то время я еще не отошел от впечатлений военных лет. Я не чувствовал себя дома на земле: здесь все живое подчинено закону убийства. И вот, в этом неудавшемся страшном мире, вдруг доброе, радостное чудо — любовь собаки к человеку. Словно в залог, что жизнь на самом деле — любовь, верность, дружба, мне был послан из глубин космоса маленький простодушный зверь. Муся никогда бы от меня не отреклась, в опасности бросится меня защищать без страха смерти.

По Декарту, Муся — машина, а в ней так несомненно чувствовалось дыхание жизни и любви. Скажут, все собаки любят своих хозяев, это у них родовое. Тогда выходит, у Муси не было никакой личной заслуги, вообще ничего личного. Но вспоминая, с какой радостью она меня встречала, я чувствовал нелепость этой мысли. Или другое Мусино выражение, какое-то робкое, когда она снизу, исподлобья на меня смотрела, точно прося прощения, что не умеет говорить. Этот полный любви взгляд не мог быть только отражением механической игры условных рефлексов. Нет, это смотрела на меня именно Муся, я чувствовал в ее взгляде присутствие всего ее обособленного, маленького живого существа. Я не мог в этом сомневаться.

До самого Парижа мне приходили все одни и те же наивные и неразрешимые мысли.

III

В марте я уехал в Америку. Я всегда волновался перед дорогой, теперь же особенно. Я ехал, может быть навсегда, в страну, где живут богатые, счастливые люди, и все-таки тверога: что я там буду делать? Ведь я ничего не умею. Но даже в этой неизвестности было что-то возбудительное. В голову приходили разные предположения, можно было мечтать, надеяться.

Это чувство открытости будущего еще усилилось, когда, сойдя в Гавре с поезда, я увидел пристань. Постройка вроде вокзальной, но легче, будто дачная, выкрашенная светлой краской. За ней, выдвигаясь за ее края носом и кормой и высясь над ней белыми ярусами палуб, капитанским мостиком, трубами, мачтами — океанский

пароход, сверх ожидания огромный и прекрасный. Рядом с ним — вагоны поезда и дома на площади казались игрушечными.

Я смотрел с восхищением. Все освещено одновременно ярко и мягко, как только во Франции бывает, как у Ренуара. На мгновение сжалось сердце: что я делаю, зачем я уезжаю отсюда, нигде не будет такого неба.

Сказочно прекрасный пароход стоял здесь у пристани совсем просто, не сознавая своей гулливеровской великанской стати. Добродушный кит в ванной. Нет, это слишком неправдоподобно. Кит в бассейне для плавания? А вместе с тем такой стройный, рвется вперед и ввысь: альбатрос, готовый в любое мгновение взлететь, гигантская птица Рок из «Тысяча и одной ночи», гондола дирижабля.

Одновременно с этими приблизительными и нелепыми сравнениями мне представилась необозримая пустыня океана: туманы, вечное движение и плеск волн. Этот прекрасный пароход уже столько раз ее пересекал. Он увезет меня от привычных будничных забот и страхов, которые так долго заслоняли от моего сознания чудо бытия. В радости освобождения я снова чувствовал простор мира: небо, волны, города, жизнь людей.

Пассажиры первого класса еще не приехали, можно было осмотреть весь пароход. Распахивая казавшиеся мне драгоценными прозрачные двери, потом узнал — пластмасса, я шел по великолепным залам, как по заколдованному царству. Недоступный мир богатых, мир дорогих вещей, нарядных женщин, увеселительных путешествий, мир, где деньги дают волшебную свободу удовлетворять все желания. Как у Достоевского: «Они рядятся, они прекрасны и выходит прямо рай». Да, именно в этом объяснение: рай. Но после долгих лет нищей беженской жизни, к моему всегдашнему мечтанию о рае стали примешиваться чувства сожаления, отверженности и зависти. . .

*

Чайки летели совсем близко, их можно было хорошо рассмотреть. Лапки аккуратно поджаты, клюв вытянут вперед. Они то гнали, горбясь и отчаянно махая крыльями, то так же быстро неслись, распластав крылья в реющем полете. Зорко высматривая добычу, поворачивали голову направо и налево.

За кормой до самого неба широким царственным шлейфом тянулась пенистая дорога. В ее бурлении уиосились выбрасываемые откуда-то снизу, из камбуза, остатки еды. Чайки, садясь там на воду, так хлопали крыльями, что в глазах рябило. Они не дрались, но я видел, когда две одновременно устрамились вниз, одна толкнула другую крылом. Тех, что сели на воду, быстро относило вдаль, другие с криком продолжали гнаться за пароходом, почти налетая на флагшток. У одной перья на крыле вытерты, как на старом веере. Она махала этим скелетом крыла, но ей, верно, было трудно

летать. А больные и старые чайки, которым больше не под силу добывать еду? В холодной бездне воды и воздуха не было места, где бы они могли отдохнуть, где бы кто-нибудь их накормил, перевязал раны. Они ничего не могли друг для друга. Их ждала только смерть.

*

Вечером, уже в сумерках — Англия. Не подходя к пристани, приняли пассажиров на рейде. Их подвез катер. Потом пароход прошел обратно между двумя ветхими башнями-маяками. Волны, теснясь плескались, ожесточенно бились у их подножий. Пароход шел все быстрее. Справа, еще долго тянулась алмазная нить огней берега, скрытого туманным мраком ночи. А потом уже ничего больше не было видно, только чернота. Мы покидали Европу — несчастную, преступную, погубившую свою христианскую цивилизацию.

*

Волны и чайки. Безумные предприятия людей. Безумное предприятие жизни на земле.

Почти всю дорогу я ходил по палубе, вглядываясь в волны. Я с недоумением вспоминал мою жизнь. Другие столько сделали, столького достигли, а я ничего. Даже никакого определенного занятия у меня не было и никакого положения, и ни жены, ни детей. Какая-то неспособность жить и всегда тоска, страх, сожаления.

*

В столовой сосед по столу — американец, мистер Флойд. Сначала он мне понравился. Показывая на других американцев за соседними столиками, он говорил: «Вот этот — немец, вот это — армянин, сдал на доктора, блестящий малый, а тот, — мистер Флойд переглотнул, — еврей, тоже очень образованный, вот — чех. Но все они — американцы». От этих слов на меня повеяло теплом человеческого братства. Именно это я надеялся найти в Америке: страна, где нет ни эллина, ни иудея. Но моя радость скоро омрачилась. Узнав, что я еду по квотной иммиграционной визе, чтобы через пять лет стать американским гражданином, мистер Флойд очень одобрил мое решение. Забывая, что я пока еще не американец, он с внезапным иступлением и весь перекосившись сказал, словно хвастаясь своей ненавистью: «Я ненавижу европейцев». Особенно он ненавидел англичан. Он объяснил: «Только из ирландцев и немцев выходят хорошие граждане, но из англичан — никогда». Сам он был ирландского происхождения.

Через столик от нас сидело несколько американских студентов. К неудовольствию Флойда, они все время оживленно и дружелюбно разговаривали с молодым высоким англичанином, который ехал в Нью-Йорк на службу.

Кроме Флойда за нашим столиком сидело еще два американца. Один маленький старичок из немцев, тоже очень недовольный Европой. Старичок этот больше не работал, а жил на пенсию. Он с гордостью рассказывал, что в сезон не пропускает ни одного бейсбольного матча. «Вот видите, как у нас живут, выйдя на пенсию», — сказал Флойд назидательно. Третий американец, добродушный полковник в отставке, чтобы подразнить Флойда и старичка, все время нарочно хвалил Европу. Из уважения к чину полковника, Флойд не возражал, но слушал с явным неодобрением, видимо, недоумевая, как военный может держаться таких непатриотических взглядов.

Флойд особенно смутил меня, когда сказал, что во Франции «секс» удовольствие, а в Америке — преступление. Он сказал это с такой же непонятной яростью, как когда говорил, что ненавидит европейцев. Но потом, все возвращался к «сексу»: «Да, конечно, вы можете встретить в баре девушку. . .»

*

Завтра мы приедем. Мне вдруг стало страшно. «Зачем я еду, что я буду делать в Америке?» Я понимал теперь ребячество моей надежды, что я смогу продавать там свои еще не написанные картины. Нет, придется работать, как все, «устраиваться», зависеть от каких-то людей, бросить живопись. Но я не могу жить без живописи. . . Как жалко — путешествие кончается. . .

Что гонит меня? Страх *их* прихода? Стремление попасть в мир, без концлагерей, пыток и преследований? Да, в Америке не будет всего этого. Но чего я хочу в самом последнем счете? Чтобы мир имел человеческое значение. Мне обязательно это нужно. Я не могу без этого жить. Я слишком долго мучился неведением, отчаянием и страхом.

*

Непривычная после шести дней тишина. Машины больше не работали и совсем не было качки. Пароход бесшумным привидением сонно влекся по чуть рябившей глади тихого, вернувшегося домой моря, почти стоял на месте.

Совсем близко, в утренних сумерках берег, дома, — один огромный. Новый Свет, таинственный, как Марс или Луна.

Спрашиваю Флойда:

— Это Нью-Йорк?

— Нет, Бруклин.

— А что это за здание, вот то большое?

— Какое же это большое, это маленькое здание.

Вдали, в горле сужавшейся бухты, еще неясно синея сквозь предрассветный туман, виднелись теперь странные башни, вроде восточных минаретов.

Показывая пальцем, Флойд аказал:
— That's New York*)

*

Высокий чиновник в черном костюме. Щеки лубочно красного цвета. Он верно недавно плотно, с вином, пообедал, может быть, съел омара. На мгновение из ворота его черного костюма вместо человеческого лица попыталась высунуться возмущенная голова этого омара.

С высокомерной развязанностью, он взял мой «аффидавит» и, разодрав в воздухе конверт, передал его другому чиновнику, который сидел за небольшим столиком. Тот принялся разбирать мои бумаги. С застарелым беженским страхом я смотрел на его склоненную голову с пробором в густых русых волосах. С виду как будто добродушный, но кто его знает? Как раз недавно я читал, как американская полиция допрашивает по «третьему градусу». Мне все еще мерещились пытки.

Чиновник протянул мне мой паспорт:

— Вы можете его спрятать, здесь он вам больше не нужен будет.

Я облегченно вздохнул. Чувство — будто из царства необходимости попал в царство свободы.

Долго не могли найти мой сундук с книгами. Носильщик, похожий на старого голливудского актера, по счастью понимал мой доморощенный английский. Пока мы ждали, я старался его расспросить о здешней жизни. Он очень хвалил:

— Бифштекс, во какой — 60 центов! Кофе со сливками, не с молоком, а со сливками — 10 центов. Благослови, Боже, Америку! — заключил он убежденно.

Благодарно слушая его слова, я с надеждой смотрел на его толстый живот. Мне так хотелось, чтобы это была правда, что в Америке всем хорошо живется.

Наконец, сундук отыскался. Мы вышли на улицу. Оглушило шумом. Двигаясь, как мишени в тире, подъезжают один за другим ярко раскрашенные такси: желтые с красным, с зеленым, с оранжевым. В пролет между железным бортом этого моста и стеной здания пароходного о бщества падает сверху чуть голубоватый дневной свет. Вступив в этот свет, в его весеннюю, почти уже летнюю теплынь, я мгновенно изнемог. Мое драповое пальто стало тяжелее доспехов водолаза. Чувствуя грусть от этой непредвиденной усталости, я смотрел на окраинные дома, аванпосты огромного незнакомого города. Мне зачаточно представлялись перекрестки, небоскребы: на тротуарах, в конторах, в лавках — миллионы людей. Они ничего обо мне не знают. Я никогда здесь не был.

Вот проехал таксист-негр. Какое серое лицо, он смертельно болен! Пожилой полицейский, осклабив желтые зубы, стоит в полу-

*) Вот Нью-Йорк.

круге грузчиков. Они чему-то смеются. Из отдаления рассеянности я наблюдал их иероглифический для меня разговор о неизвестных мне происшествиях. Мне чудилась во всем неуловимая странность: словно я присутствовал при жизни в другом веке, в другом неизвестном мире.

Носильщик усадил меня в такси. Двинулась карусель улиц. Мы еще недалеко отъехали, как между двумя обыкновенными, как в Европе, домами, я вдруг увидел перечеркнутый ломаными зигзагами железной спасательной лестницы кирпичный куб такого кровавого цвета, что было больно смотреть. На бледном, почти отсутствующем небе этот красный дом будто пылал изнутри. Мне вспомнилось, Моисей видел в пустыне куст: «горит огнем, но не сгорает». Только из пламени, замурованного в кирпичной стене этого дома, вряд ли раздастся голос Бога. Здесь, верно, так строили в начале века, и переселенцы из Европы, сходя с пароходов, смотрели на такие дома с надеждой на счастье в новой жизни.

Чем дальше, тем все больше попадалось таких кроваво-кирпичных домов. Я не мог понять: я никогда прежде таких не видел и все-таки мне казалось, я все лучше их узнаю. Чувствуя странное головокружение, я вдруг увидел в какой-то зеленоватой, будто потусторонней глубине: афиша над входом в кинематограф или в «иллюзион», как, к моему удивлению, говорили в Одессе. Под кирпичной стеной жмутся с револьверами в руках люди в кепках. Над ними надпись: «Тайны Нью-Йорка, эпизод шестой». Наши двоюродные братья — Володя и Кока — видели все эпизоды и с восхищением о них рассказывали. Но мне и брату не разрешали ходить на такие фильмы. Тем более таинственной и захватывающей мне представлялась эта вечная борьба сыщиков с преступниками в трущобах Нью-Йорка. Теперь я понял, это вдоль стены такого красного кирпичного дома крались те люди в кепках, или это была перегородка на крыше такого дома, там была, кажется, труба, и какой-то человек падал с крыши вниз головой. На оранжевом лице открытый в беззвучном крике черный рот.

Такси ехало теперь по шумной, широкой улице. На тротуарах толпа. Несмотря на ранний час, множество открытых кино, тиров, увеселительных заведений, закусочных. Словно сегодня праздник.

Я вглядывался в лица прохожих. О чем они думают? Они не знают, с каким волнением на них смотрит, проплывая в такси, . . . собственно кто? Никчемный, нелепо пропустивший свою жизнь человек.

Но мне не хотелось теперь об этом думать.

IV

В первое время по приезде я наслаждался радостью освобождения от страха. Теперь спасен — большевики никогда сюда не придут. Вместе с тем чувство: это конец путешествия. Дальше бежать

некуда. Верно здесь, на новом чужом месте придется доживать свой век. Знакомые меня подбадривали: «Вот вы увидите, вы устроитесь. В Америке все устраиваются. Когда мы приехали, нам тоже было трудно в первое время». Они не знали. . .

Все время уходило на хлопоты. Только изредка удавалось пойти посмотреть город. Первое впечатление благоприятное. Мне нравилось, что Манхэтан — остров. Сквозь городской шум иногда доносились могучие гудки океанских пароходов. Как замечательно — до океана можно доехать на метро! За улицами и домами совсем близко огромный простор, волны.

Я собрался в одно из первых воскресений. Сразу за последними громадами Бродвея — пристань. Дымит готовый к отплытию белый дачный пароход. По сходням поднимаются господин и дама. Купить бы билет и поехать, но куда идет этот пароход? В Ричмонд, в Нью-Джерси, на остров Цитеры? Куда-то, где, может быть, живут люди, которые знают тайну счастья.

Мутная вода, как в полной до краев бадье, колышется у пристани, полоща длинные космы наросшей на сваях тины. Казалось, там, как кариатиды, поддерживали набережную водяные боги, с зелеными бородами. Рябь такая крупная, будто я смотрел в увеличительное стекло.

Отсюда не было видно открытого океана. Бухту запирали острова. Но я знал, — за ними, отделяя меня от всей моей прежней жизни, простиралась неоглядная водная пустыня. Мимо построек низкого острова медленно, почти не продвигаясь, шел апокалиптически прекрасный пароход из Европы. Он будто ждал, когда городская стража отворит перед ним ворота. Обгоняя его, в порт, теснясь, входили табуны невысоких волн. Вдруг освещение изменилось, на мгновение все стало сапфирно-синим, потом потемнело. Начал накрапывать дождь. Я побрел обратно по непривычно безлюдному Бродвею.

Я еще не дошел до угла Уолл Стрит, как выйдя из-за туч уже опять светило солнце. Как хорошо, как радостно вдруг стало!

Еще долго потом, сквозь обычные беспокойные мысли о моей неустроенной жизни, я вспоминал райски озаренные дома и мостовую. Навстречу несся буйный мартовский ветер, до того пронизывающе холодный, что на глазах выступали слезы. Сметая прах, он волочил по тротуару старую газету, шипевшую как рассерженный гусь. С чувством освобождения я вдыхал всей грудью пьянящий ледяной воздух. Освобождения от чего? От скуки, от забот, от страха, от моего ничтожества? И вдруг я вспомнил: от закона необходимости и смерти. Значит, вот о чем я всегда по-настоящему думал.Теперь это выступило из мглы беспамятства. Чем внимательнее я вглядывался, тем все лучше различал, что там, где мне раньше казалось ничего не было. на самом деле что-то продолжало во мне жить, расти, двигаться. Будто подземная река. Но радость была не долгая. Опять все заслонило беспокойство о моем положении. У

меня оставалось всего пятьдесят долларов, а службы все нет. Нужно подавать прошения в разные учреждения, повидать такого-то. . .

*

Звонок. Я подошел открыть дверь. Передо мной стоял толстый, хорошо одетый господин, в шляпе набекрень. Слегка откинув голову, он смотрел на меня, видимо ожидая, какое впечатление на меня произведет его появление. Это был Владимир Рагдаев. Я знал, что он в Нью-Йорке и очень разбогател. Но я не пытался с ним встретиться. С тех пор, как он еще до войны уехал из Прижа, он ни разу мне не написал. Говорили, он вообще избегает старых бедных знакомых.

Рагдаев принадлежал в Париже к кучке последних «русских мальчиков», собиравшихся по ночам в монпарнасских кафе для споров о Боге и справедливости, как по Достоевскому и полагается русским мальчикам. Эмигрантская отверженность оказалась для них особенно губительной. Никого не удивляло, когда кто-нибудь из них умирал от чахотки или кончал самоубийством. Во время войны, многие из нашего кружка пошли во французскую армию, участвовали в «Сопротивлении», были расстреляны или сварены на мыло. Это тоже казалось естественным и последовательным. Но то, что один из нас стал американским миллионером, поражало, как нарушение закономерности.

Не знаю, каким образом и зачем он меня разыскал. Но меня это тронуло, особенно то, что он, видимо, был искренне рад меня видеть. Вначале его забавляло поражать меня своим богатством. В своем спортивном ролс-ройсе он повез меня в какой-то русско-венгерский ресторан. По тому, как хозяин, официанты и музыканты почтительно его встречали, было видно, он в этом ресторане широко тратил. За наш столик подсела выступавшая тут известная исполнительница цыганских романсов. Рагдаев наставительно давал ей какие-то советы, говорил ей «ты».

Со мной он старался держаться по-товарищески, как прежде в Париже, но теперешнее различие между его положением и моим неизбежно отражалось на наших отношениях. Он говорил со мной благосклонно-покровительственно, а я с ним с некоторой почтительностью, как младший со старшим, хотя мы были ровесники. Это выходило как-то само собой, словно этого требовали наши роли богатого и бедного. К моему удивлению он в разговоре несколько раз сказал мне «ты», хотя в Париже мы всегда были на «вы». Я подумал, может быть, ему хочется представлять себе наши прежние отношения более дружескими, чем они были на самом деле. Превозмогая чувство неловкости, я тоже попробовал сказать ему «ты». Но тогда он опять перешел на «вы».

Он слушал мои рассказы о бедственной судьбе наших оставшихся в Париже приятелей с неодобрительным и строгим выражением. Обещал некоторым помочь, правда прибавил: «Хотя мне это не-

легко будет». Говорили, он обычно не отказывает в небольших денежных просьбах, но по какой-то затянувшей его глаза пленке, я чувствовал, ему уже скучно было. Делая вид, будто слушает музыкантов, он думал о чем-то своем.

*

Мне советовали обратиться к Бобровскому: «У него большие связи». Друзья пригласили меня на «парти». У них должны были собраться «парижане». Обещал прийти и Бобровский. Я думал о встрече с ним с волнением. Мы не виделись с начала войны.

Был приглашен также Рагдаев. Мы сговорились, я за ним зайду. Я решил пойти к нему пешком через Центральный парк. Моросил дождь, совсем слабый, тихий. Сначала я весело шагал. Но дождь все сеялся мельчайшей бисерной пылью. Входя в парк, я почувствовал, как я безнадежно промок. Мое габардиновое пальто сморщилось на плечах и груди, набухшие потемневшие штанины стали, как из брезента. Теплый, парной дождь низвергался теперь с шумом и силой. Будто вздваивая ряды, светлые струи множились на глазах, как солдаты в сказках. Но уже не стоило возвращаться. И хотя мне было жалко пальто, мне нравилось идти так под дождем. Вода, вода. . . мгновениями мне казалось, я иду по дну моря. В помутневшей окрестности выпирают из земли неукрощенные гранитные глыбы, на них, как большие черные кораллы, низкорослые деревья. Среди этого огромного подводного ландшафта я представлялся себе совсем потерянным. Если писать картину, было бы достаточно одного мазка, чтобы меня изобразить и это был бы не я, а странник из какой-то мистической поэмы.

Неожиданно я вышел к большому, круглому бассейну, обнесенному чугунной решеткой. Я не знал, что здесь пруд. Свинцовая вода рябила под беглым обстрелом ливня. На другом берегу, словно из вод потопа, вставали бледноголубые за тюлевой завесой дождя многоэтажные громады Пятого авеню.

Наконец добрался. Небольшой особняк. Когда я подходил к двери, дождь внезапно прекратился.

В прихожей швейцар или секретарь, в какой-то особой куртке и с сиянием в волнистых волосах, посмотрел на меня с сомнением. Спросив мое имя, он позвонил по внутреннему телефону.

Я с удивлением оглядывал высокие сени. Мне было странно, что это дом того самого Рагдаева, у которого в Париже, как у нас у всех, часто не было денег на чашку кофе.

Я недолго ждал. Провожая высокого, важного с виду господина, Рагдаев появился на площадке лестницы, ведущей на второй этаж. Господин в чем-то его убеждал, но Рагдаев не без раздражения его перебил:

— Вы доскажете мне это завтра в конторе.

Пока высокий господин с расстроенным лицом сходил по ши-

роким ступеням, а я подымался, Рагдаев, нахмурившись, неодобрительно смотрел сверху на мое промокшее пальто.

По случаю воскресенья, несмотря на поздний час, он еще не одевался, был в шелковом халате, раскрытом на жирной волосатой груди. Меня опять, хотя не так сильно, как в первый раз, поразила перемена, которая с ним произошла за годы, что мы не виделись. В Париже до войны, он был сухощавый и удивительно гибкий. Я помнил, как на одном собрании у Мануши, опоздав и не желая никого тревожить, он, усмехаясь, пролезал за спинами сидевших на диване. Его узкие бедра и тонкие ноги по-ужиному проползли между их кострецами и подушками дивана. А теперь он был тучный и тяжелый, таз раздался, как у женщины после родов. Я видел это случившееся с ним превращение с чувством неловкости. Боясь, что он это заметит, я старался не встретиться с ним глазами. Но мне казалось, он понимает причину моего смущения и именно потому смотрит на мое мокрое пальто так строго и высокомерно, чтобы мне и в голову не могло прийти, что эта его теперешняя бабья толщина дает мне какое-то над ним преимущество. Только его черные лакированные волосы и ослепительные зубы были прежние.

Продолжая смотреть на мою промокшую одежду, он сказал с досадой:

— Ужасный климат!

— Нет, дождь уже перестал.

Он провел меня в столовую.

— Садитесь, дорогой. Хотите кофею? Я еще не ел сегодня. Только что встал. Ночью прилетел из Лос Анжелоса. Ешьте, пожалуйста.

Длинный стол был заставлен блюдами с ветчиной, холодной телятиной, сырами, фруктами, печеньями. Была даже большая банка черной зернистой икры.

Рагдаев ел, пережевывая с удивившей меня жадной поспешностью, как едят грызуны. И с такой же поспешностью просматривал, скосив черный и блестящий, как у кролика, глаз, лежавшую у его прибора газету. Это придавало ему испуганное и простодушное выражение, неожиданное на его толстом и самоуверенном лице.

Не желая обижать меня невниманием, не отрываясь от газеты, он спросил:

— Что же, осматривали уже Нью-Йорк?

Зная, что он не любит Нью-Йорка, я ответил с некоторой запальчивостью:

— Осматривал, даже лазил на Empire State Building.

— Значит, *лазили*. Ну, как понравилось?

— Замечательно, весь город видно.

— Что же хорошего? С одной стороны — одна река, с другой стороны — другая река. Уж не притягивает ли вас высота?

— Я боюсь высоты, — ответил я искренне.

— Так и тянет броситься, не правда ли? — подсказал он, улыбаясь своей по-восточному белозубой чуть хищной улыбкой.

Говорили, что несколько лет тому назад, он пытался покончить с собой. У меня было чувство, что в первый раз мне что-то приоткрывается в его жизни.

— Правда, — согласился я, надеясь, что он доскажет свою мысль.

— Я вас знаю, — довольно усмехнулся он, думая, что разгадал меня. — Ведь сколько народа оттуда бросалось. Теперь там решетка, а раньше почти каждый день бросались, да еще, падая, убивали внизу людей.

— Как же это, ведь там уступами построено, — сказал я недоверчиво.

— Некоторые разбивались об эти уступы, а другие ударялись о них и отпрыгивали, как мяч, и падали дальше, — улыбаясь не сдавался он и вдруг, содрогнувшись, сказал: — у меня ноги млеют на высоте.

Из столовой мы перешли в его кабинет, большую комнату, с книжными полками и картинами по стенам: Руо, Матисс и наш монпарнасский Багрянов. Отдельно от других, в золоченой раме, большая темная картина: Снятие с Креста.

— Как же, это мой Тицианчик, — сказал Рагдаев небрежно. — Во всяком случае школы Тициана. Эксперты еще не окончательно установили.

Меня поразило множество разных звуковых приборов: два белых телефона, радиоприемник, телевизор, стереофонический граммофон. На заставленной безделушками этажерке улыбается с большой фотографии молодая красивая женщина, с плечами открытыми вечерним платьем. Надпись: „To my sophisticated friend.“*)

— Хорошенькая? — спросил Рагдаев, заметив, что я смотрю на фотографию. — Это одна моя приятельница, артистка. Она выступает теперь с успехом на Бродвее. Вы бы влюбились, если бы познакомились.

Чтобы у меня не оставалось сомнений относительно его отношений с этой женщиной, он прибавил, почему-то говоря о ней во множественном числе:

— Они очень страстные. Она хорошо делает . . .

Он сказал это, думая, что его богатство, дававшее ему возможность обладать всем, что можно купить за деньги, должно вызывать во мне чувство восхищения и зависти. Мне стало неприятно, так как я действительно ему завидовал, хотя вовсе не хотел бы жить, как он.

Рагдаев пошел к себе в спальню одеваться. Оставшись один, я невольно стал сравнивать его судьбу с моей. У нас было много общего. Одинаковое воспитание в детстве, в России, и одинаковая молодость в Париже на погибшем «русском Монпарнассе». По множеству разбросанных всюду недочитанных до конца книг, я узнавал такую же, как у меня, любознательность, соединенную с неспо-

*) Моему утонченному другу.

собностью к продолжительному усилию внимания. Даже в этом между нами сходство. Но я — неудачник, а он достиг всего, чего обычно добиваются люди. И это его положение богатого человека освободило его от эмигрантской отверженности. Мне это казалось чудом: такой же, как я, беженец, он занимал теперь положение богатого человека, внушает почтительное уважение людям, которые со мной даже разговаривать не стали бы. Это всеобщее признание давало ему чувство своего превосходства и укрепленности своей жизни в чем-то прочном и несомненном, удесятеряло в нем силы жить и действовать. По сравнению с его жизнью, моя казалась невоплощенной.

Я слышал, как он говорит в спальне с кем-то по телефону. Долетали только отдельные слова. С удивившей меня бодрой готовностью, он уверял кого-то: «Да, я сделаю все по-вашему ,как вы любите, в вашей консервативной манере. . .»

Наконец он вышел из спальни выбритый, напудренный, с припомаженными волосами, в новом прекрасно сшитом костюме.

— Это меня вызывал из Сан-Франциско один из самых крупных экспортеров, — сказал он с невольной счастливой улыбкой. — Вот человек По одному его слову во всех частях света грузятся товары на сотни тысяч долларов!

Он стал смотреться в зеркало, обдергивая на себе пиджак.

— Ну, как? Не кажется ли вам, что тут немножко морщит?

— Нет, отлично сидит и вам очень идет.

— Я люблю, чтобы костюм был хороший, — сказал он с убеждением.

Заметив, что я взял у него со стола и рассматриваю книгу стихов нашего монпарнасского товарища Бориса Глебова, покончившего с собой незадолго до войны, он покачал головой.

— Да, вот и Николай и все хотят меня уверить, что он был какой-то замечательный там философ, писатель, поэт. А фактически это эпизоды всякие там. Он ничего не мог стабилизировать. Понимаете, все это придумано, все это выдумано. И это облито таким сахарным соусом языка. Ведь я его хорошо знал. Мы в Париже долго жили в одном доме. Грязный, ленивый, не хотел работать, нюхал кокаин.

Меня это удивило: Глебов был неудачник и умер много лет тому назад в нищете, непризнанный, покончил с собой от неспособности жить и отчаяния, а Рагдаев, живой, преуспевший, во всей славе своих миллионов, все не может ему чего-то простить, говорит о нем с раздражением. Ведь между ними, кажется, никогда не было никаких столкновений? Не может быть, что он завидует Глебову.

— Я помню, — продолжал Рагдаев, — когда меня вызвали опознать его тело. Это ужасно было. Он лежал на диване, повернувшись к стене и, простите меня, почему-то с голой задницей, в спущенных штанах. Теперь из него хотят сделать какого-то гения. А у него четырех строчек не найти без ошибок и чудовищнх срывов. — Заметив по моему лицу, что я с ним не согласен, Рагдаев поспеш-

но, чтобы я не успел возразить, прибавил: — Я знаю, Борис был твой друг, но ведь ты сам согласен, что я правду говорю?

— А все-таки он был замечательный поэт, — сказал я с удивившей меня самого твердостью.

Понимая, что я могу подумать, что и обо мне он такого же мнения, как о Глебове, Рагдаев недовольно замолчал. Еще досаднее ему было, что он дал мне повод считать его самого мещанином, неспособным понять судьбу поэта.

В прихожей, примерив несколько шляп, он выбрал черную, именно такую, какую мне давно хотелось иметь. Не утерпев, я спросил, где он ее купил. Чуть усмехнувшись наивности моего предположения, что я могу покупать шляпы там же, где и он, Рагдаев сказал:

— Я беру английские.

Мы вышли на улицу в мой любимый час: еще совсем светло, но в глубине воздуха уже начинает чуть заметно сгущаться синева. После прошедшего дождя было легче дышать.

Рагдаев долго колебался, ехать ли на «Пенелопе», как он почему-то называл свой ролс-ройс, или на такси. Решил, что на такси проще. Пока мы ехали, он все время молчал. Верно, обдумывал что-то деловое. Я чувствовал, как за его выпуклым лбом идет безостановочная работа какого-то сложного, счетно-решающего устройства. Но не мог же он быть только местом, где автоматически работала эта безличная электронная машина.

Я наблюдал Рагдаева с таким же чувством любопытства, какое незадолго до того испытал в зоологическом саду перед клеткой леопарда. Эластично растягиваясь при каждом шаге, пятнистый зверь мягко и гибко ходил взад и вперед вдоль решетки, изредка вдруг пристально взглядывая на смотревших на него людей. Он был такой же живой, как я, с такими же инстинктивными чувствами и так же все видел и воспринимал, и в то же время передо мной не было никого, кто мог бы почувствовать жалость. Значит, вообще никого не было. У меня закружилась голова, как на краю обрыва. И вдруг леопард — он мог бы мгновенно меня растерзать — показался мне не более существующим, чем образы сна, и словно пламенным и объятым какой-то мглой.

В таком же смущающем сне на яву я смотрел теперь на грузное тело Рагдаева, похожее на диковинную шарообразную рыбу. Я видел такую в детстве в комнате у одного старого моряка. Мне было тягостно. Белое, с пухлыми щеками лицо Рагдаева воспринималось мною только как натюрморт, только как подробность обстановки: стены кареты такси, петля, чтобы ухватиться рукой; за окном проходят деревья, бледнозеленые поляны, гранитные скалы и неживые асфальтовые дорожки Центрального парка.

Встречаясь с Рагдаевым, я угадывал по игре мускулов его лица и по его словам, по тому, как он их произносил, его наиболее поверхностные мысли и чувства, большей частью ничтожные и тщеславные, почти непроизвольные. Казалось, в нем больше ничего не

было. Я знал, что и мое поведение на людях обычно определяется действием таких же рефлексов самолюбия и готовности к враждебности, и во мне не меньше, чем в нем, смешного и отвратительного. Только самому себе я это легко прощал, так как верил, что главное во мне не это, а стремление к правде. Но равнодушие и усталость мешали мне разглядеть в Рагдаеве такое же, как во мне, сознание, соединенное с самым началом жизни. А между тем, подобно тому, как, смотря на тень на стене, знаешь, что где-то рядом должен находиться предмет который отбрасывает эту тень, я понимал, что за внешним Рагдаевым моих наблюдений должен присутствовать такой же человек как я, со всеми заложенными в каждом человеке возможностями любви и жизни. Я убеждал себя в этом. Иначе жизнь превращалась во что-то чудовищное, механическое, в размалеванный труп. Если же я увижу *настоящего* Рагдаева, я помогу ему стать самим собой. Но для этого нужно было сделать слишком утомительное усилие. Чувствуя себя виноватым, я старался вспомнить все хорошее, что знал о Рагдаеве. Я говорил себе: он добрее, он лучше меня, больше делает для других. Его лицо не всегда было такое, как теперь, замкнутое и заплывшее жиром. С тех пор, как он жил в нищете и никто его не жалел, до его теперешнего богатства прошли годы борьбы, изнурительный путь, в конце которого его, как всех людей, ждет одиночество страданий и смерти. Тут, мне показалось, я увидел на мгновение его лицо и всю обстановку, даже самые обыкновенные предметы, окруженными, как на картинах моих любимых художников, глубиной и совершенством вечности.

«Во всяком случае, — подумал я, — если даже он сам об этом не знает, в нем, за всеми занимающими его мыслями о делах и женщинах, должно быть хотя бы темное, неясное чувство своего существования в мире». Не вытерпев, я спросил его, что по его мнению будет после смерти.

— Нет, право, вы все-таки фармацевт, — сказал он с досадой, — вы еще спросите меня потом, есть ли Бог или что я ел вчера за ужином?

Я стал сбивчиво говорить ему, что, как показал Бергсон, все сводится к тому: сознание — только эпифеномен движений молекул мозга или оно несводимо к этим движениям?

Недовольно на меня косясь, Рагдаев слушал со скукой и удивлением. Когда я сказал «эпифеномен», выражение презрения на его лице почему-то особенно усилилось. Он явно только ждал, когда я кончу.

— Значит, после вашей смерти все еще будет существовать Гуськов? — спросил он брезгливо, как если бы в предположении, что я буду жить после смерти, для него было что-то необыкновенно скучное и отвратительное.

— Не Гуськов, не я, с моими паспортными приметами, а моя подлинная личность, моя душа. . .

— Ну да, все-таки Гуськов, только в другом виде, — усмехнулся он. — Нет, не верю.

Когда такси, ожидая перемены света, стояло на углу Бродвея, меня поразило, как прелестно ветки чахлых бродвейских деревцев рисовались на далеком небе. Жалкие, по сравнению с парижскими каштанами и платанами, но я чувствовал, мне и таких достаточно.

Я упросил Рагдаева отпустить такси и немножко пройтись. Удивляясь моей прихоти, он неохотно согласился.

До тех пор я думал о том, кого увижу из парижских знакомых и как они меня встретят. Но когда мы вышли на Риверсайд Драйв, я обо всем забыл. Вдоль парапета прогуливался с собакой господин в коричневом пальто. Словно возвращаясь на родину, он неторопливо уходил со своей собакой в прозрачный сумрак. Тени ветвей деревьев передвигались по его удалявшейся спине, мягко озаренной закатным солнцем. Я долго смотрел ему вслед.

Проезжали автомобили и автобусы. Но шуршание шин и гул моторов не переходили за балюстраду сада. Там была тишина и сквозь деревья виднелась под откосом дивно-сиреневая, зеленоватая, с участком розовой и золоченой зыби, светлая поверхность вод Гудзона и синий берег Нью-Джерси, с кирпичными домами над обрывом, похожими в сумраке на замок крестоносцев. Над ними подымалось душераздирающе сгоравшее небо. Круглое, из расплавленного золота лицо солнца, багровое от волнения и в то же время задумчивое, пылало среди облаков, присутствовавших при закате, как сонмы ангелов на картинах Кватроченто.

Когда я увидел это небо, что-то почудилось моему сознанию, но так быстро, что я ничего не мог восстановить. Все оставалось по-прежнему далеким и внешним, а между тем, я помнил о мгновенном, как молния, предощущении невероятного, почти ужасающего понимания. В который уже раз? В эти странные мгновения ничего не происходило, но они изменили всю мою жизнь.

Я не мог точно определить мои мысли. Сильнее всего было впечатление одушевленности этого неба. «Нет, не может быть, мне только так показалось». Желая проверить, я взглянул внимательнее. В загроможденном неподвижными облаками небе было такое же выражение, какое давно, может быть в детстве, я видел на лице какого-то любящего и любимого после того как мы поссорились. Выражение любви и боли, примиренное и печальное, как перед смертью. И по сравнению с нравственным величием и правдой этого выражения, я, со всеми моими сомнениями и страхами, показался себе ничтожным и жалким.

Вместе с тем, было чувство, что сад зовет меня мановением ветвей, с бесконечной щедростью предлагая, куда бы ни обращался мой взгляд, картины, равные написанным самыми великими мастерами. Но я не мог сосредоточиться, не мог вглядеться и с болью чувствовал, что впечатление от всего этого не становилось по-настоящему мною. Я наблюдал мои собственные восприятия словно со стороны. Всегдашнее страшное сознание неизвестности моей

жизни. Только одно было достоверно — в этом окружающем меня божественно прекрасном мире я обречен на смерть.

Сидевшие кое-где на скамейках люди говорили между собой в полголоса. Верно и они бессознательно чувствовали в этот час расставания с солнечным светом, что дневная сутолока не занимала, на самом деле, всего места и им хотелось стать лучше и мудрее.

Заложив руки за спину, Рагдаев молча и как-то понуро шел рядом со мной. По выражению недоумения в его глазах, мне показалось, непрерывный наплыв мыслей о делах вдруг в нем остановился, и он растерянно чувствовал теперь, как кругом было тихо. Перед этой тишиной он, Рагдаев, деляга, богач, приятель влиятельных людей, банкиров, послов, адвокатов владелец всего, что можно купить за деньги, был такой же нищий, как я. Даже его замечательный ролс-ройс — только железная вещь, которая не может заменить жизнь.

Мне неясно представлялось, что далеко-далеко, сомнабулически шевеля губами, мы шли по какому-то горбатому виадуку.

— Скажите, бывает ли у вас иногда чувство, что природа одушевлена, и если бывает, то чем вы это объясняете? — спросил я его. Мне хотелось проверить, так же ли действовало на него наступление вечера, как на меня.

— То есть, как это одушевлена? Что вы подразумеваете? Что позади панорамы есть что-то целесообразное?

— Да, приблизительно.

— Все сводится к тому, является ли это только собранием клеточек, слепой игрой природы или за этим Божья рука? — старался он уточнить мой вопрос.

— Да.

Он улыбнулся неожиданно доброй и радостной улыбкой, как бы говорившей: «Ага, вот этого ответа я только и ждал». Ничего плотоядного больше не выражалось в его детском круглом лице. Вздохнув, он заговорил, расслабленно шамкая и будто засыпая от усталости:

— Чем больше я живу, чем больше приближаюсь к смерти, тем меньше я верю в мехнизмы. Вам говорят, что это только, так сказать, сцепление атомов, сгущение воздуха, атмосфера, черт его знает что, и что это будто совершенно просто, а вы чувствуете, смотря на небо, что есть за всем этим какая-то Божия десница. Может быть, это и есть, собственно говоря, единственное прикосновение к вечному, что там есть. . . А все остальное чепуха.

Его ответ тем более меня поразил, что он говорил теперь как будто искренне, а не с тем желанием показать, что не отстал от философии, которое я не раз в нем замечал. И он говорил как раз то, чему я так хотел верить.

Желая вызвать его на продолжение разговора, я заметил:

— Странно, когда мы говорили о загробной жизни, мне показалось, что вы не верите в Бога.

Рагдаев слегка смутился и с каким-то испуганным любопытством спросил:

— Нет, почему вы так подумали? А впрочем, дорогой мой, я ничего не знаю. Одно только знаю, что я ужасно устал. Устала душа и все надоело. Лень даже с бабами встречаться. Все эти лицемерные предварительные разговоры... И тело свое собственное надоело: мяса много, жира много. Все надоело. «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...» Замечательные слова, которые я обожаю. Не могу я, не могу я читать вашего Глебова. А вот, когда мне трудно жить, перечитываю Пушкина, ах, какой был человек!..

Так беседуя, мы шли вдоль огромного неба. Солнце садилось все ниже. В торжественном, но торопливом шествии, невидном отсюда за холмами того берега, его словно умирающего царя или Бога уносили в подземную огненную усыпальницу. Мы не прошли и полпути, как оно скрылось совсем. Но еще долго было прозрачно и светло и в небе все не угасали пласты райски-нежных оттенков зеленого, розового и голубого. В этом великом покое вечера теперь вспыхивала и с проворством ящерицы опять исчезала то кровавая, то брильянтовая надпись: «Спрэй» (я вспомнил — такой жир в банках). И дальше, на железной башне, измельчавшей родственнице Эйфелевой, и в другую сторону, до самого Вашингтонского моста, зажглись зеленые и красные огни реклам. Казалось, их отражения в черной воде уходят в бездонную глубину, и весь тот берег, как на сваях, стоит на зыбких, разноцветно-огненных столбах.

V

Бобровский пришел, когда все уже собрались. Он мало постарел. Совсем теперь белые волосы приятно смягчали лиловый оттенок его щек и шишковатого носа. Он держался так прямо, что меня не оставляло вздорное впечатление, будто одна нога у него деревянная. С очаровательной старосветской любезностью он поцеловел у хозяйки руку и, вскинув монокль, начал осматриваться с оживленным, снисходительным и чуть насмешливым выражением. Он был теперь главой одного из тех политических объединений, которые возникли с наплывом новых эмигрантов. Только-что вернулся с какого-то совещания в Мюнхене. Как сказала мне одна его верная поклонница, он переживал «вторую весну».

Когда я подошел к нему, он посмотрел на меня с холодным недоумением. Я растерянно спросил:

— Алексей Николаевич, вы меня не узнаете?

— Да, — сказал он с усмешкой, — узнаю, — и отвернувшись, стал с улыбкой что-то говорить своей соседке.

Странно, перед войной, в Париже, он так всегда внимательно ко мне относился, приглашал сотрудничать в журнале, который он тогда издавал. Ему верно что-нибудь на меня наговорили. Я бодро спросил, могу ли я с ним повидаться.

— Дддаааа, — недовольно промычал он после неприлично долгого молчания.

Он все-таки назначил мне, когда к нему прийти, и я все-таки пошел.

Он жил в особняке, почти таком же, как Рагдаев. Он принял меня в большой комнате, уставленной по стенам книжными полками до потолка. Заметив мой взгляд, сказал:

— Это дом моих друзей-американцев. Я знал их еще по Петербургу. Я здесь только гость, но как говорят по-английски paying guest.*)

— Если бы этот дом принадлежал мне, то разве так бы двинулась русская акция, — прибавил он с упреком судьбе, несправедливому мировому общественному мнению, слепым главам правительств, которые не хотели его слушать. В его голосе мне почувствовалось такое же сожаление, какое я испытывал при мысли, что не могу заниматься живописью: вот уже рождается что-то созданное тобой и могло бы воплотиться, но мешают неодолимые препятствия. А время и силы уходят, уже не за горами старость, так и умрешь, не свершив задуманное.

Указав мне на кресло, Бобровский сел на диван и без всякого вступления стал рассказывать, как перед самым приходом немцев ему прямо чудом удалось уехать из Парижа. Видимо он был убежден, что я к нему пришел именно для этого: узнать, что с ним было за все время, что мы не виделись, и считал своим долгом удовлетворить мое любопытство. Кроме нас в комнате никого не было, но мгновениями он говорил так громко, что казалось он обращается не ко мне, а к незримому сонму свидетелей истории, молча внимавших его рассказу, чтобы запомнить его для вечности. Когда же он вспоминал о моем присутствии, он так щурил свои близорукие глаза, чтобы меня рассмотреть, будто я находился от него на большом расстоянии. Между тем нас разделял только узкий, длинный стол для газет и журналов.

Он кончил говорить о себе. Я ждал, сейчас он начнет расспрашивать обо мне и о других участниках наших собраний у Мануши. Ведь он ходил на эти собрания и с благожелательной снисходительностью слушал наши споры, был другом Мануши. Он не мог не знать, что не только сам Мануша, но и многие другие участники нашего кружка погибли во время войны, отдали свою жизнь за те идеалы демократии, справедливости и свободы, к борьбе за которые он всегда призывал. Даже я, хотя, по сравнению с другими, я так мало сделал, я все-таки пошел тогда на войну за эти идеалы, рисковал жизнью, пять долгих лет мучился в плену, это как на каторге. Не может быть, что он ничего меня не спросит.

Но Бобровский молча смотрел на меня с вопросительным и строгим выражением. Он, очевидно, недоумевал, почему теперь, после того, как я узнал все, что с ним случилось за эти годы, я не встаю

---

*) Гость, который за себя платит.

и не ухожу. Сомнения не могло быть: аудиенция кончена. Мне было странно и неловко.

Я вспомнил даму которая говорила, что Бобровский переживает «вторую весну». Теперь я понял, что она хотела сказать. Долгие годы беженской жизни были для него годами непоправимых мучительных сожалений. Как все это случилось? Сначала тот освещенный солнцем истории вдохновенный час: февраль семнадцатого года. Как новый Цицерон, призванный всеблагими пить из их чаши бессмертие, он, молодой, красивый, «горящий», возлюбленный сын интеллигенции и народа произносит с балкона бессмертную речь, прогремевшую на весь мир. Амнистия всем политическим заключенным, отмена смертной казни, свобода совести, свобода слова, печати, собраний, стачек, всеобщее тайное и равное избирательное право. Приход интеллигентского милениума. Конечно, не он один вывел Россию на путь свободы, но он был самый вдохновенный. И что же, обещанное счастье обмануло. Как в страшном сне, когда хочешь и не можешь поднять руку, он видел гибель свободы. Россия изменила ему и он, избранник революции, должен был уйти на чужбину. Десятки лет прошли с тех пор. Он все старался доказать, — эмиграции, миру, истории, — что большевики победили не по его вине. Наоборот, он все сделал, чтобы спасти Россию и свободу, уговаривал, указывал, предупреждал, — его не хотели слушать. Но в томительные часы бессоницы ему, может быть, приходило страшное сомнение, а что если он сам сделал тогда какую-то непоправимую ошибку, которая привела к гибели свободы?

Но теперь, когда после войны в эмиграции неожиданно появились «массы», сомнения исчезли. Не только новая эмиграция, но, может быть, вся подъяремная Россия, раскаясь, была готова признать его правоту и опять за ним идти. Злые чары рассеялись. Он опять стоял на *том* балконе. Оттуда, в море голов людей, которые пришли услышать от него глаголы надежды, как мог он рассмотреть меня и моих погибших товарищей? Да и не до того ему было. Сколько съездов, совещаний, сколько радостно волнующих писем из дипийских лагерей! Его помнят, любят, зовут. А я с моими мертвыми только отнимал у него время, нужное ему для живых.

Но я чувствовал, что за его теперешним, подчеркнуто пренебрежительным ко мне отношением, было еще что-то другое. В Париже, когда у него, по его словам, не было «окружения», мы, тогдашние «молодые», недостаточно ценили честь, какую он нам оказывал, предлагая писать в его журнале. И вот теперь, когда он опять «играл роль», и я пришел к нему в надежде вернуть его прежнее ко мне расположение, ему доставляло некоторое мстительное удовлетворение дать мне почувствовать, как с нашей стороны было нелепо думать, будто он, Бобровский, один из главных героев космической драмы русской революции, мог нуждаться в нас, безвестных выходцах со дна парижского «русского Монпарнасса».

Я все-таки решился:

— Алексей Николаевич, я ищу работу и подаю прошения в разные места. В анкетах нужно указывать рекомендации. Могу ли я ссылаться на вас?

Он не ожидал, что я его об этом попрошу. Наступило трагически долгое молчание.

— Видите ли, я никогда этого не делаю, — сказал он наконец.

Но его обычное великодушие победило в нем дурное ко мне чувство. Он не хотел быть мелочным. После нового долгого молчания он, будто что-то в раздумье рассматривая, неохотно сказал:

— Да, конечно, вы можете называть мое имя, да, конечно...

*

Еще долго потом я с мучительным чувством вспоминал, как я ходил к Бобровскому и как он меня принял.

В мои первые дни в Америке многие радушно помогали мне устроиться. Я с благодарностью думал об этих деятельно добрых людях, но мне не приходила мысль записывать их разговоры. А вот о встречах с Бобровским я все записал. Оскорбленное самолюбие мешало мне забыть. Я стал даже записывать из того, что мне случалось о нем слышать, все выставлявшее его в смешном виде. Например, мне рассказали, будто бы он сказал кому-то: «Я мог бы стать большим музыкантом, но я все отдал России, и вот — благодарность!» Я прибавил тогда к описанию того, как я к нему ходил, такую подробность: когда он со мной прощался, я, будто бы, видел за его спиной открытую дверь в соседнюю комнату. Там прелестно, как у Вермера, свет падал на лощеный паркет и на лаковую крышку большого концертного рояля. На рояле — большая фотография Бобровского. Я так живо себе это вообразил, что мне начало казаться — я на самом деле видел тогда у Бобровского этот рояль. Впрочем я и теперь не уверен: рояль, может быть, действительно был.

Я записал также рассказ, что когда маленького Алешу Бобровского спросили в детстве, кем бы он хотел быть, он сказал: «Звонарем на самой высокой колокольне. Я буду звонить и все будут меня слушать, во всем мире». А в гимназическом спектакле он очень хорошо сыграл Хлестакова .

Я злорадствовал, записывая такие рассказы, а между тем я знал, в истории было немного таких человечных политических вождей, как Бобровский. Возможно, именно потому, что в нем не было необходимой для вождя беспощадности, он и потерпел неудачу. И все-таки при всей его человечности в нем было что-то от толстовского Наполеона. Такая же неспособность сознать свою ответственность, такая же наивная вера в свое призвание, такое же равнодушие к страданиям и гибели миллионов людей. Я помнил, как в Париже, незадолго до войны, когда все жили в такой тягостной тревоге, он возбужденно блестя глазами говорил:

— В какое интересное время мы живем!

Мне казалось, я все лучше понимаю, что с ним произошло. Завороженный видением своей исторической роли, он слишком долго жил вне самого себя. Не только жизнь других людей, но и его собственная внутренняя жизнь перестала доходить до его внимания. Через столько лет и совсем в других условиях, в нем все еще продолжали действовать механизмы привычек поведения, которые сложились в нем в те дни, когда на него смотрел весь мир. Так старые актеры и по окончании представления продолжают говорить и держаться как герои, которых они изображали на сцене.

Эта неспособность Бобровского почувствовать изменение обстановки, это отсутствие гибкости, верно и производили впечатление, будто одна нога у него икусственная. Да не только нога. Что-то механическое чувствовалось и в его резких движениях, и в его отрывистой речи. Выступая на скромных эмигрантских собраниях, он сначала мямлил, с трудом подыскивал слова, но постепенно разгорался и вот прежний Бобровский, Бобровский февральских дней овладевал его жестами, его голосом. Он на глазах менялся. У него в руке, мимически вырастал букет роз, как в тот незабвенный день, когда бледный, с чудовищными мешками под глазами он, словно жених на свадьбу, ехал в открытом автомобиле по улицам революционного Петрограда. Все больше вдохновляясь, он начинал бегать по эстраде, одержимо выкрикивая несвязные фразы, которые так действовали тогда на толпу. Да и в эмиграции все еще продолжали действовать, даже на тех, кто считал, что он погубил Россию. В Париже, на одном его докладе, я слышал, как дама в первом ряду с ненавистью и вместе с тем с невольным восхищением громко сказала: «Какой негодяй, но какой гений!»

VI

В июле друзья повезли меня на своем автомобиле на океан, в Асбери парк. В Нью-Джерси дорога сначала шла по болотистой местности, по виадуку на бетонных столбах. В низине, по берегам зеленого, стаклисто-блестевшего ручья — длинные строения мастерских, трубы, краны, дымы. Впереди я вдруг увидел подымавшийся в небо совсем сказочный горбатый мост. По его крутому скату, блестя на солнце, быстро и суетливо сновали вверх и вниз автомобили, похожие издали на металлических жуков. Мы скоро въехали на этот мост. С его высоты открылся вид на долину, пересеченную во всех направлениях широкими автострадами. По каждой, со стремительностью воды из открытых шлюзов, нескончаемыми потоками катили автомобили. Ничего подобного я не видел в Европе. Построенные циклопами подъезды к фантастическому Метрополису будущего. Только теперь я по-настоящему почувствовал огромность Нью-Йорка.

Потом мы проехали мимо поля, застроенного серебряными цистернами. Одна стояла отдельно, в стороне от других. Около нее,

с любовью к ней клонясь, как нежное привидение, как ангел, как Офелия, клубился столп белого дыма.

В Асбери-парк на много верст огромный пляж, усеянный купальщиками, бесчисленными, как тюлени на лежбище на берегу Ледовитого океана. Я видел в кинематографе: волны, закипая пеной, разбиваются о черные скалы, летят ледяные брызги. Чувствовалось, что ледяные. А здесь жара, светлый на солнце песок; вдоль пляжа, как в Довиле, дощатый настил. Но Довиль только для богатых, а тут для обыкновенных, *простых* людей, для всех, для народа. Прообраз будущего золотого века, когда всего будет вдоволь для всех. Праздничная толпа медленно движется мимо бесчисленных закусочных и увеселительных заведений, балаганов, миниатюрных гольфов. Любители стреляют с берега, но не по голубям, как в Монте-Карло, а особые катапульты мечут в воздух диски. При попадании эти диски разлетались вдребезги.

Вечером возвращение в Нью-Йорк по другой дороге, мимо залива. Вдоль лукоморья россыпь огней фабричного поселка. В порту призрачно-серебряные в прозрачности вечернего воздуха, какие-то обезглавленные подъемные краны, а на другом берегу, плоском и печальном, ни домов, ни огней. Там, за еле различимым мысом виднелись пустынная бухта и опять полоска замли, и еще бухты и мысы, и только далеко за ними, сливаясь с ночью, синел открытый океан. Как на картине Пюи де Шаванна «Бедный рыбак», но еще вечернее, еще печальнее и прекраснее.

Я знал: чувство грусти могло быть только во мне, а не в самом пейзаже. Пейзаж не может грустить — это внешний, неодушевленный мир. Сколько раз, особенно на войне, я испытывал это страшное ощущение равнодушия природы. Моя же склонность к антропологическим уподоблениям, мое всегдашнее желание, чтобы мир имел человеческое значение — это, верно, только пережиток древнего мифотворчества. Я знаю, тони я там, этот далекий погружавшийся в ночь берег будет присутствовать при моей гибели с полным равнодушием. И все-таки мне казалось, — в таинственном сиянии светлых сумерек безмолвно совершается какая-то душераздирающая драма, и эти заливы и мысы приглашают меня остаться с ними. Им так же грустно, как мне, грустно, что я уезжаю и никогда не смогу обойти и узнать их всех.

Нет, если пристальнее вглядеться в это впечатление, им грустно потому, что не только я, а никто о них не знает. А то, о чем никто не знает, все равно что не существует. Они не могли с этим примириться. Им нужно было пребывать в чьем-то вечном сознании. Вот почему им грустно — они не знали, есть ли Бог. Нет, это я не знаю, а они знают и хотели мне это объяснить, но я не понимал их языка. Когда я думал, что сейчас пойму, моя мысль останавливалась перед чем-то неопределимым, загадочным, невероятным. Мир ускользал от меня, терял всякое значение.

Впрочем, я согласен с теорией, что наше сознание на самом деле присутствует во всем, что мы видим. Я убеждал себя в этом, но не

мог заглушить тоски. Почти с мучительным восхищением я видел, как прекрасны эти мысы и заливы, и все-таки я был отделен от них, не мог там быть, не мог остаться. Автомобиль увозил меня все дальше и дальше, и от этой невозможности вместить мир что-то болезненно и в то же время сладостно разрывалось у меня в груди.

Стараясь теперь как можно точнее описать это смешанное чувство сожаления, грусти и счастья, почти восторга, я вдруг неожиданно понял: ведь, собственно, я, как в детстве, жалел, что я не вездесущ. Как странно я никогда бы не сказал изъявительно: «Хочу быть вездесущим». Это было бы смешно — вездесущ только Бог. А между тем, я вижу теперь, что именно этого я хотел, именно об этом всегда думал. Конечно, когда я рассуждал сознательно, такая нелепая мысль не могла прийти мне в голову.

Слева теперь открылось пустопорожнее поле. На дальнем его конце выстроились сложные серебряные конструкции нефтеочистительного завода. На металлических вышках, как в Дантовом аду на башнях города Дито, пылали в темном небе языки пламени.

*

— Поезжай на Буари, — посоветовал мне знакомый поэт, — стоит посмотреть. Это нью-йоркское дно. Туда попадают все, кто не выдержал безумия городской сутолоки, перестал поспевать за движением чудовищных конвейеров Нью-Йорка. Понимаешь, своего рода свалка для отработанного человеческого шлака.

В то время тут еще проходила последняя оставшаяся в Нью-Йорке линия надземного метро. Настил железного моста загромоздил улицу во всю ширину. Над головой с тяжким грохотом и лязгом поезда проносятся совсем близко от стен домов. Казалось, захоти кто-нибудь из жильцов, то мог бы, протянув руку из окна, тронуть пробегавшие мимо вагоны .

На тротуаре толпа. Я еще издали почувствовал: это особенная толпа, будто ознаменованная чем-то страшным. Подойдя ближе, я с волнением рассмотрел: трясущиеся с перепоя, в засаленных обносках, небритые, красноносые, с мутными безумными глазами. Один, с верхней губой, отвратительно съеденной какой-то ужасной болезнью, что-то продает из-под полы. Он взглянул на меня беглым настороженным взглядом, но увидев, что я не опасен, продолжал возбужденно торговаться. У другого на голубоватом разбухшем лице — словно ножом прорезанные щели заплывших глаз.

Стыдясь собственного здоровья и благополучия, я шел среди них, озираясь с жалостью и ужасом и сейчас же отводя глаза. Боялся, вдруг заметят, что я их рассматриваю.

Я пошел в другую сторону. Здесь было меньше народу и улица казалась шире, а дома ниже. Но все такие же пропащие, спившиеся люди стоят у входа в ночлежки или закусывают, сидя на тротуаре. Другие спят в дверных нишах запертых лавок. На противоположном тротуаре высокий худой человек, со следами побоев на щеках

и свежей кровавой ссадиной на носу, выкрикивает угрозы каким-то обидчикам. Несмотря на его жалкие, злобные крики, все на этой улице — и люди и прокаженные дома — производило неясное впечатление усталости от жизни, усталости самой жизни.

Пузатый кривоногий старик, с толстым, как вымя, зобом, обросшим редкими белыми иглами, пошатываясь, переходит улицу. Он обернулся и посмотрел на меня сердито и вместе с тем как бы стыдливо. Было сразу видно, он недолго протянет. Да и другие тоже. Они умирают у всех на глазах. А ведь по Евангелию они — наши братья: «Поелику вы не сделали одному из малых сих, то не сделали Мне». Этот старик с зобом — один из малых сих, с которыми отожествлял себя Христос. Не любить его — не любить Христа. Но я, как неверующий у Бодлера. Ангел говорит ему, нужно любить бедных, глупых, злых, еще каких-то а он отвечает: «Не хочу». Нет, я хотел бы, но не могу. Я не совсем бесчувственный, мне жалко этого старика, но он внушает мне страх и отвращение. мне хочется поскорее уйти, а по Евангелию нужно помочь. Настоящее сострадание не боится, не бежит.

От одной мысли, что нужно что-то сделать, начать жить по-другому, я почувствовал усталость. Зачем же тогда я все говорю о христианстве? Это смешно, глупо, лицемерно. Ведь я знаю, — я никогда не стану христианином. Всегда так плохо, так устало себя чувствовал, а христианская любовь требует так много сил. Но разве я виноват, что я хилый, что во мне нет жизни, нет любви? И какая влажная, тяжелая духота! Нечем дышать. Открываешь рот, а воздуха нет.

Я шел, не веря, что люди могли согласиться жить в такой духоте, наверное, сейчас повеет свежим воздухом, *должно* повеять. Но я все не мог выйти из пределов застоялого, прямо до удивления, горячего воздуха. Никуда не спастись. Сквозь смигивание багрового свода моих бровей, я видел светлую на солнце мостовую и бледное, подернутое неприятной белесой поволокой небо над домами.

Почему я должен заботиться об этих спившихся людях? Я сам едва жив. Последние доллары подходят к концу, а работы нет. Меня самого, может быть, ждет такая же нищенская старость здесь на Баури. Нет, это неправда. Я все еще надеюсь, что моя жизнь переменится к лучшему, а у них впереди только нищета, болезнь, смерть. И ничего не исправить. Я всегда мечтал, что в будущем производство достигнет такого развития, что всё всем будут раздавать бесплатно и человеку больше не нужно будет заботиться о хлебе насущном. Древнее проклятие будет снято. Но алкоголики, верно, и тогда останутся и так же будут пить, даже пуще прежнего. Ведь теперь им поневоле приходится промышлять чем-нибудь. Говорят, некоторые из них, тряпичники, хорошо зарабатывают. А тогда у них совсем не будет причалов к действительности. Впрочем, они может быть счастливее и мудрее нас. Встают, когда хотят, никуда не торопятся, не боятся, что чего-то не сделали, не думают о зав-

трашнем дне. Я читал, стремление к крайнему возбуждению, к пароксизму, так же свойственно жизни, как инстинкт самосохранения. А алкоголь — одно из средств достичь такого состояния. Странно, я так боюсь и не люблю пьяных, а ведь у меня это с ними общее. Алкоголь помогает им достигнуть того чувства восхищения и освобождения, которое я испытывал в те странные мгновения, когда мне казалось, что мне сейчас откроется понимание всего. Ведь вот и в дионистическом культе соединение души с Богом, энтузиазм, достигался посредством опьянения. И древние арийцы тоже прибегали к опьяняющему напитку, который они называли «сома». А всякие священные яды, кактусы, наркотики! Я читал целый трактат об этом. Но все это механические спссобы. Я *знаю* подлинный опыт только в любви. А во мне нет любви. . .

VII

Сад на берегу моря. Со мною все мои близкие. Щемящая жалость: я недостаточно их любил. Тем радостнее было знать, что на самом деле никто из них не умер и не должен умереть, так как смерти нет. Меня даже удивляло, как я не знал об этом прежде.

Внезапный взрыв безжалостного звона разрушил счастье открывшегося мне таинственного объяснения. Оставленная отливом сна моя голова лежит, чугунно вдавившись в подушку. У самых глаз — желтый, непонятный, посторонний предмет — моя рука. Она будет такой после того невероятного невообразимого, чудовищного события — мерзостно восковая, как у всех мертвецов. . . Этот день неизбежно придет, с каждым часом приближается из темноты будущего.

Я возвращался из сна в постороннюю мне внешнюю действительность без радости, как Лазарь из гроба. За валом предплечья, сквозь дым печально и сочувственно молчавших сумерек, проступают отвесные стены. Какой-то грот или пещера? Но я сейчас же узнал мою комнату. Под моим взглядом все мгновенно установилось на своих обычных местах: шкаф, стол, стулья. Равнодушные соглядатаи моей жизни, они на самом деле все время здесь присутствовали, пока я спал. Я смотрел на них со странным чувством. Так Одиссея в аду смущала бледность теней героев.

За окном шум улицы, гудки автомобилей. Нынче понедельник, надо идти на службу. Это об этом хрипло звенел будильник, а вовсе не о новой жизни, как тот петух у Мандельштама: «на городской стене крылами бьет. . .» Пузатенький, скорее толстый воробей, чем петух, будильник пыжился захлопать крыльями. Выше, в потьмах, еле различимый, непроявленный образ — большая птица на заборе, ворон. . . (чем внимательнее, чем точнее описывать непосредственные впечатления, тем невразумительнее получатся).

Видения сна еще не совсем исчезли. Мне вспомнилось блаженное молочно-голубое сияние Бормского залива в мае. Еще пустой

пляж. У берега море чуть колышется, как в плоском тазу. Невысокие волны лениво катятся одна за другой, с тихим журчанием разливаются по отмели и стекают обратно. Так уползает подол мантии. А следом солнце торопится стереть свое отражение, на миг просиявшее в неудержимо тускнеющей глазури высыхающего на глазах песка. Я знал, волны говорят о чем-то самом важном, но не мог заставить себя вслушаться. Спросонья я не сразу вспомнил, это только метафора, волны не говорят.

Холод внезапного понимания: я всегда себя обманывал, ожидая, что мне что-то откроется. Какая чепуха, глупость! Моих восприятий, моего сознания хватает, чтобы ходить на службу, чувствовать усталость, знать, что я умру, но когда я хочу сосредоточиться, всмотреться, чувство привычности окружающего исчезает. Сознание останавливается тогда перед чем-то несоизмеримым с представлениями и словами. В устрашающей неизвестности всего оставалось только чувство моего необъяснимого существования, соединенное с холодной, угрюмой, ясновидящей нелюбовью к самому себе. Полное одиночество. Я ничего не находил в себе: ни любви, ни надежды, ни вдохновения, ничего глубокого, радостного. Только на поверхности сознания проходят ничтожные, бессвязные мысли, бессвязные образы, бессвязные воспоминания. Прежде я всегда молился: «Господи, спаси и сохрани», а теперь было страшно не смерти, которая придет извне, а смерти внутри меня. Мне обязательно нужно было, чтобы был Бог, для того, чтобы Он пробудил во мне... Тут возникали только очень приблизительные сравнения: колодец, что я рыл в плену, в Германии — все ждал, вот забьет вода — или родник на юге Франции, на дороге в Сант-Максим. Какое тогда было солнце!

Звон будильника давно смолк. Страх опоздать на службу подбросил меня на постели. Ноги привычным движением всунулись в туфли. Минутная стрелка будильника неумолимо продвигается по черным меткам. Но я все сидел, покачиваясь в изнеможении. Сейчас пойду под душ, потом побреюсь, оденусь. Но прежде нужно героическим усилием заставить себя встать. Неудержимо тянет повалиться обратно в сон. Во всем теле такая усталость, словно я проснулся на другой планете, где воздух тяжелее, чем на земле. Люди будут летать на другие планеты. Я потому так боюсь смерти, что жизнь проходит, скоро уже старость, а я еще по-настоящему не начал жить.

До самого вечера, в форменной куртке вроде военной и в штанах с лампасами, я буду ходить, разнося по канцеляриям письма и пакеты. Ни завтра, ни послезавтра ничего другого, ничего более радостного не предвиделось. Мне было странно, что это и есть моя жизнь.

Глупость моего поведения на людях под действием механизмов обиды, зависти, раздражения, страха. И другие люди такие же механические. Вчера в автобусе какая-то растрепанная пожилая женщина, с красным возбужденным лицом, громко говорила сама с

собой, так быстро, что ничего нельзя было понять. Только повторялись всё одни и те же гневные интонации. Я ехал минут двадцать, а она все говорила. Чувствовалось, ее сознание остановилось на одной мысли, она говорит машинально. Иначе она не могла бы так долго непрерывно говорить. . . Или негритянка в метро. . . Длинное черное лицо, обрамленное страшными войлочными патлами. Она вдруг хватала себя рукой за лошадиные зубы, словно хотела от нестерпимой боли их вырвать и, мотая головой, громко кричала, но мгновенно вдруг успокаивалась, потом опять кричала.

Один из героев Достоевского говорит о людях: «недоделанные, пробные существа, созданные в насмешку». «Созданные в насмешку» — это неверно. Если жизнь и мир не имеют человеческого значения, если нет Бога, то кто же тогда насмехается? А если Бог есть, Он не стал бы создавать людей в насмешку. Но «недоделанные» существа — это правильно. Я сам всегда чувствовал себя таким. Неясность моих мыслей, неспособность сосредоточиться, додумать.

Недавно я прочел — в пещере недалеко от Пекина среди останков других животных нашли кости синантропа. Череп больше, чем у гориллы, но все-таки плоский, а не куполообразный, как у человека. Скульпторша восстановила по обломкам костей почти человеческое лицо, с печальными и страшными глазами. Это была самка, ученые в шутку назвали ее Нелли. Рядом с костями нашли каменные орудия, пепел. Правда, некоторые ученые думают, что добывали огонь и делали орудия не синантропы, а какие-то другие животные, более человекообразные. Они убивали и ели синантропов. Значит и Нелли они убили и съели.

Теперь у человека череп ёмче, куполом, но достаточно ли все-таки ёмкий? Почему мне тогда так трудно думать? Я не выиграл в «генетическую лотерею». Родиться бы на полвека позже! Наука так быстро теперь идет вперед. Скоро найдут способы усовершенствовать мозг, заставят, например, работать множество неиспользованных еще нейронов, или даже будут прибегать к прямому воздействию: механическому, химическому, еще какому-нибудь. Вот было бы замечательно: у меня в голове вместо теперешнего неверного света зажжется живое солнце. Или произойдет естественная мутация. Говорят, эволюция в человеке не только не остановилась, а совершается все быстрее и быстрее. Вдруг еще при моей жизни начнется перерождение человечества в какой-то высший зоологический вид. То, что я так этого хотел, так был уверен в глубине сознания, что это должно произойти, и даже напряженность положения в мире, и апокалиптические взрывы чудовищных атомных бомб, и то, что людям стало тесно на земле, — все казалось мне залогом, что время уже приблизилось.

*

Должность несложная. Каждые полчаса обойти десятка два канцелярий, принести и забрать пакеты, письма, книги. Совсем не

тяжело, но к вечеру я очень уставал, вероятно, главным образом, от скуки. Утром еще ничего, кое-как удавалось продолжать думать. Но часам к четырем жизнь во мне почти останавливалась. Только считаешь, сколько еще остается до конца занятий. Чтобы бороться с отчаянием, я старался думать о Восточной реке. Каждое утро, когда я шел на службу, то голубая, то серая, то сверкая серебряной лавой, она встречала меня в пролете между огромным остеклянным небоскребом, где я работал, и соседним заводом. На крыше этого завода росла целая роща толстых высоких труб. Над ними, заволоченное их черным дымом, небо раскрывалось в каком-то грозном смятении, как на картинах страшного суда, как над вокзалами, когда железные дороги были еще не электрифицированы.

В России фабричные трубы, кажется, не такие были. Я смотрю из окна поезда. Зеленые деревья, низкие домики. Над ними таинственная, без окон и дверей, круглая, тонкая как свечка, высокая кирпичная башня. Если стоять там наверху — не удержать равновесия. Качнулся, хватая руками воздух и полетел вниз, в страшное черное жерло. Ведь для того, чтобы дым мог выходить, она сверху донизу полая. А как же трубочисты? Как они влезают наверх? Я не мог бы, голова бы закружилась. Но вместе с боязнью — восхищение. Она так нежно розовела в безоблачном небе. Там была добрая, проникнутая знанием вечного существования, радостная тишина. Конечно, в детстве я не думал такими словами, но я *видел* эту тишину, в ней было обещание покоя и счастья.

А эти трубы на крыше нью-йоркского завода были грязно-бежевые. Неприятное впечатление: не то отростки какого-то окаменелого гада, не то обугленные стволы допотопных деревьев. Сбившись в кучу, они стояли батареей наведенных в небо тяжелый зенитных орудий. Впрочем, если вглядеться пристальнее: завод, как завод. По углам цементированного дворика даже пробивается травка.

Недалеко от завода, на небольшом пустыре, росли три дерева. Сегодня шальной ветер буйно терзал, крутил их ветви. Будто разыгрывая пантомиму горя, сетуя, жалуясь, они кругообразно кланялись вершинами, потом, встряхиваясь всеми листьями, быстро и упруго выпрямлялись и сейчас же опять кланялись, и так без устали, снова и снова.

Обходя мои канцелярии, я старался задерживаться около окон. В те, что выходили на запад, была видна, как на дне горного ущелья, Первая Авеню. За ней, во всей славе своих небоскребов — Манхаттан. Могучие башни Крейслера и Эмпайр-стэт, твердыня Вальдорф-Астории, Рокфеллер-Центр, еще какие-то многоэтажные громады, то кубические, то уступами, как пирамиды ацтеков. У их подошвы — плоские кварталы четырехэтажных домов. По сравнению с этими ничтожными домами еще больше чувствовалась нечеловеческая громадность небоскребов. Из окна тридцать шестого этажа я смотрел на них, как смотришь из самолета на альпийские вершины.

Я нашел в этом каменном царстве те три дерева на пустыре. Как раз их осветило солнце. Меня поразил прелестный цвет их листвы — мягкий, матово-зеленый, как на картинах венецианской школы. Они по-прежнему продолжали свою пантомиму. Я вдруг почувствовал радость. Мне казалось, я подсмотрел жизнь какого-то волшебного мира. Нет, не подсмотрел, а, удивляясь, как я мог забыть об этом, вспомнил, спохватился, что мир прекрасен. Словно я все время по рассеянности жил далеко от моего настоящего существования на земле, а теперь вдруг понял, какое чудо жить. Мне захотелось проверить: не мираж ли это? Нет, любовь к этим деревьям, к зеленому цвету их листвы оставалась. Любовь и радость. Сегодня мне было достаточно только видеть и я не жалел, что эти деревья были вне меня, что я с ними не соединен.

Еще больше я любил останавливаться около окон, что выходили на Восточную реку. На Куинс, на том берегу, было скучно смотреть. Железный мост, светло-коричневая, словно сложенная из детских кубиков церковка. За ней оловянно светлеет не то канал, не то асфальт. Приземистый, жалкий город по сравнению с Манхаттаном. Все какие-то склады, заводы, цистерны, дымят фабричные трубы. Будто вся земля там дышала, дымилась сопками. Проходили облака и цвет столбов дыма менялся. То серые, то ярко белые, то бурые, почти черные, они, клубясь, подымались в небо, бледнея и тая в вышине как призраки.

А на реку никогда не было скучно смотреть. Странно, внутри здания, по сотам канцелярий, сновало столько озабоченных служащих, стучали пишущие машинки и телетайпы, обсуждались в устланных коврами кабинетах важные дела. И все-таки казалось, здесь никогда ничего не происходит. Через одинаковые промежутки времени, я мерным шагом обходил мои канцелярии. Так ходят фигуры на средневековых часах. А на реке все поминутно менялось, жило, двигалось. Сколько маленьких и больших пароходов, буксиров, паромов, барж. Посередине реки — каменным аллигатором дремлет островок. На его черную спину слетались чайки. Чувствовалось, океан совсем близко.

И всегда все по-иному освещено. Один день солнце. Небо почти по-летнему голубое, лишь снизу линялое, почти белое. Но и эта белесина постепенно голубеет. Вода совсем синяя. А на другой день все голубовато-серое и только на юго-востоке лиловая мгла и сквозь эту мглу нежно расцветает розовое сияние. Еще через день весь вид за окном будто внутри огромного хризолита: зеленая река, зеленое небо.

Только во время перерыва на завтрак, я мог смотреть подолгу. К счастью, окна столовой для служащих выходили на восток.

Столовая всегда переполнена. Сплошной гул голосов, звякают ножи и тарелки. Только изредка вдруг отчетливо прозвучат отдельные слова или раскаты смеха. От всего этого шума, от усталости и оранжерейно нагретого воздуха начинала кружиться голова. За усовершенствованным зеленоватым стеклом окон — небо, облака.

Внизу река. Между светлых и будто неподвижных лас стремнина рябит мелкими свинцовыми волнами. Если долго смотреть, начинает чудиться — бетонно-стеклянная, сорокаэтажная громада отплывает в воздушную бездну.

Сегодня я оказался за одним столиком с Джо. Он рассказывал о своем последнем любовном похождении: «когда она разделась, я прямо ахнул, настоящая нимфа!»

Рассеянно взглянув, я вдруг увидел: в окне бесшумно движется большой пароход. Дым из его трубы развевается по ветру гордо и прекрасно. Так развевались перья на шлемах паладинов, так на картине Тициана Карл Первый в золоченых доспехах едет на коне, держа копье наперевес. Билось сердце. Будто духовой оркестр играл там торжественный марш. Но я не мог расслышать. В потустороннем ландшафте за стеклом корма парохода неудержимо, как с экрана волшебного фонаря, ускользала за косяк оконной рамы.

Я стал всматриваться. Пасмурное небо набухло снегом, только на юге, над белыми вершинами облаков, бездонная синева. Все чудесно освещено, одновременно и ярко и туманно. Поперек реки теперь перебивается буксир. Из его высокой трубы всходит в мглистом тумане жемчужно-белый, неземной дым. Потом ветер переменился, дым свалился на бок, стелется почти над самой водой, но вдруг опять взвился и вот обернулся вокруг трубы. Труба стала похожей на танцовщицу с шалью или на тореадора с мулетой. Ветер кружит снежинки.

Боже, до чего прекрасно! Казалось, душа не выдержит такого восхищения. Нет, это не может перестать быть. И все это во мне, мои восприятия. Значит, и мое сознание сохранится. . . Недоказуемая уверенность в этом и, в то же время, мучительное недоумение. Внизу, за окном, под расползающейся кисеей тумана, широкая и многоводная Восточная река спокойно текла в лоне невообразимой бездны. И река и великий простор неба, казалось, смотрели в эту бездну с молчаливым согласием. С таким выражением переглядываются взрослые, когда говорят о надоступном пониманию детей. Но я отъединен от этого покоя, всегда чувствую страх. Так странно: видеть мир, знать разумом, что меня создали и во мне действуют те же силы, которые создали его — и одновременно знать, что в этом дивно прекрасном мире я, как все живое, приговорен к смерти. Небо с равнодушием беспамятства будет смотреть, как я умираю, и Восточная река все так же дремотно будет течь в океан еще миллионы лет. Я чувствовал теперь глубину и холод ее вод, как если бы я лежал там на дне. И такая же отъединенность от людей. У нас у всех более или менее одинаковое сознание, причастное единому, первоначальному, всеобъемлющему сознанию, которое должно быть. (Ну пусть не думают, я не последователь Аверроеса).

И все-таки никакого братства, на войне убивают друг друга. Да не только на войне, ночью опасно ходить по улицам. Вот это и есть самое страшное, из-за чего не хочется жить — зло в самых истоках жизни. Пусть даже мир не имеет человеческого значения, пусть

смерть непобедима, но лишь бы люди, оставшись одни, стали братьями, как об этом мечтал Версилов. Тогда была бы надежна. Это вовсе не сентиментальность. Я видел эту тоску по братству у солдат на войне. Тут какая-то ошибка. Если бы вместо того, чтобы ходить на службу, я мог бы заниматься философией и живописью, мне открылось бы. . .

— Посмотри на эту блондинку, — сказал Джо, — какие у нее большие груди.

Мне стало досадно. Я сам всегда думал о женщинах. Это мешало мне сосредоточиться.

IX

Вчера я был на собрании памяти Василия Павловича Зырянова. Его смерть всех поразила. Он никогда не жаловался на здоровье, а вскрытие показало, что у него был рак.

Я знал Зырянова еще по Парижу. Так же, как Бобровский, он бывал на наших собраниях у Мануши. Но обыкновенно он не участвовал в наших спорах, а только внимательно слушал. Наше увлечение декадентством и мистикой, наши «монпарнасские» разговоры должны были его отталкивать. Он был человек аскетически добродетельный. Мы верно казались ему какими-то огарочниками. Но если он мог кому-нибудь из нас помочь, он делал это с готовностью, просто и дружески. Когда по приезде в Нью-Йорк я пришел к нему, он обнял и поцеловал меня, с участием расспрашивал, как я прожил все эти годы, что мы не виделись. Я чувствовал, он по-настоящему был рад, что я вернулся с войны жив и невредим.

Сначала я шел по Риверсайд Драйв, рассеянно смотря за балюстраду парка, спускавшегося по откосу к реке. Я вдруг опять увидел красоту природы. С каждым моим шагом купы деревьев, как в старинном церемонном танце перестраивались в новых сочетаниях и соответственно сдвигались их бархатные тени на освещенных солнцем светло-зеленых лужайках. Все менялось, образуя все новые картины, полные очарования.

Какая волшебная свобода: посмотреть вокруг себя — и увидеть красоту мира. Она возникала словно по моему велению. Но я почти сейчас же почувствовал усталость. Мне было легче продолжать думать мои обычные унылые и ничтожные думы, чем сосредоточиться на радости каждого мгновения жизни: дышать, видеть свет, небо, деревья, дома. Как странно: нам даром дан гениальный «небосвод», прекраснее и в раю не будет, а вместе с тем жизнь так устроена, что редко смотришь на небо. Отвлекают земные заботы, злоба дня.

Это несправедливо: мне дано чувствовать прекрасное, но не дано передать. И все-таки, кто знает, если бы я каждый день ходил на пейзажи и подолгу пристально вглядывался, тогда, быть может,

начало бы отодвигаться все, что заслоняло от меня мир: заботы, страх, усталость, сладострастие, тщеславие. Я увидел бы. . .

Но теперь уже поздно. Я так долго живу. Прямо удивительно. Но это в прошлом было столько времени, а впереди уже немного осталось. Мои родители, мой брат, большинство друзей уже умерли. А вот теперь и Василий Павлович. Мне представилось: вниз по течению медленно движется к устью тяжелая баржа.

Думая обо всем этом я продолжал смотреть вниз, за балюстраду. Я заметил маленького мальчика. С игрушечным ковбойским револьвером в руке он прятался за кустами, подстерегая воображаемого врага. Розовый, пухленький, чисто одетый. Мать верно еще укладывает его по вечерам в кроватку и запрещает ему играть и драться с уличными мальчиками, как мне не позволяли в детстве. Но в этом розовом человеческом детеныше — по Достоевскому он был еще в «ангельском чине» — уже проснулся убийца. С восхищением играя в убийство, он воображал, как торжествуя будет стоять над трупом убитого им врага. Удивительно, он мечтал как о счастьи о том, что представлялось мне таким отвратительным, страшным и скучным — о войне и убийстве. Тут я с удивлением вспомнил — в детстве я сам мечтал о подвигах на войне.

Я свернул на Бродвей там, где стоит конный памятник. В вышине голова бронзового героя неподвижно реяла, плыла в дивной, люстральной бледности неба.

На Бродвее мне повстречался курчавый, с коричневым лицом мальчик пуэрториканец. Плачет, хнычет. За ним, жуя резину, другой мальчик, постарше, совсем черный, верно, негр. Впрочем и пуэрториканцы бывают такие черные. Выражение лица у этого второго мальчика было какое-то не по-детски задумчивое и спокойно-жестокое. Мне представилось это он побил плакавшего мальчика и мне стало почему-то ужасно тяжело. Казалось бы, что тут такого: подрались мальчишки и более сильный и злой побил слабого. Но мне было отвратительно, как перед приступом тошноты. Ведь вот они еще дети, а уже знают закон жизни: сильный бьет слабого. И никакой жалости к побитому у победителя не было. Я чувствовал всем существом: я не хочу этого. Мне приходила странная мысль: пора с этим покончить, это скучно, надоело. Но что же тогда? Ведь стремление к господству, к борьбе, к экспансии — это сущность жизни. Этот безжалостный мальчик просто здоровый, нормальный мальчик. Он живет в согласии с законом природы. А то, что мне этот закон кажется страшным и отвратительным — это признак болезни.

Я почти столкнулся с вышедшим из боковой улицы инженером Кульковским. Он тоже шел на собрание памяти Зырянова. Один из тех новых эмигрантов, которые сразу выдвинулись по приезде в Нью-Йорк, инженер Кульковский выступал на всех собраниях и получал помощь от всех благотворительных фондов. Обычно он говорил вдохновенно и страстно, но понять его было нелегко. Никто не мог сказать с уверенностью, либерал он или реакционер. Ему

помогали некоторые еврейские организации: он был будто бы еврейского происхождения. И в то же время он выступал у монархистов с докладами, которые неприятно поражали своим антисемитизмом даже крайне правых. Говорили, что он состоял и в украинских организациях и на каком-то собрании памяти Бандеры называл русских «москали, вороги прокляти!». Когда его об этом спрашивали, он взволнованно оправдывался, говоря, что в то время голодал и бандеровцы «заставили» его так говорить, но что он имел в виду не русский народ, а коммунистов.

Мы заговорили о предстоящих президентских выборах. Я спросил Кульковского за кого бы он голосовал, будь он американским гражданином: за демократов или республиканцев?

— Как за кого, вы же сами знаете, — сказал он захохотав, но в его глазах промелькнуло беспокойство. Я подумал: «как у затравленного зверя», хотя кроме зайцев я никогда не видел затравленных зверей.

— Нет, не знаю, — сказал я безжалостно.

С опаской оглянувшись по сторонам, Кульковский, многозначительно на что-то намекая, сказал:

— «Ходить бывает склизко по камешкам иным». — Но вдруг его прорвало: — Да, как же вы думаете? Разве вы не знаете, что теперь в Америке у коммунистов больше друзей, чем в Москве. В Москве, там теперь остались только жулики, карьеристы, сволочь, никто в коммунизм больше не верит, а вот здесь многие еще верят, что это какой-то там важный опыт. То есть, они, может быть, даже антикоммунисты, но они марксисты, социалисты. Да не только в Америке, а в Дании, в Норвегии, в Швеции — всё социалисты, друзья коммунизма. Что же вы спрашиваете? Я мой выбор сделал! После того как все было продано, после Ялты, после выдачи в Лиенце? Я сам видел, что там делалось, по три человека одной бритвой резались, — говорил он, все более волнуясь, последние слова почти уже выкрикивая с полусумасшедшим блеском в глазах.

Он знал, что я знаю, что он послевоенный перебежчик и не мог быт в Лиенце, но с прирожденным ему чувством драмы он также знал, что его негодование произведет более сильное впечатление, если он будет говорить как очевидец страшной несправедливости, жертвой которой он сам чуть не стал. Со своим измученным лицом, безумными глазами и колчьями белоснежных волос по бокам огромного лба он походил на вдохновенного библейского пророка.

— Да, но ведь тогда была bipartisan policy,*) — сказал я неуверенно. (Мне было неприятно думать, что демократия могла так выдать людей на погибель.) — А вот, если бы Рузвельт не провел во время необходимые реформы, в Америке была бы социальная катастрофа, и Америка не могла бы теперь помочь Европе и всюду победили бы коммунисты.

---

*) Общая для двух больших американских партий внешняя политика.

Положив мне на плечо руку и смотря на меня своими запавшими страдальческими глазами, Кульковский сказал неожиданно задушевным голосом:

— Владимир Васильевич, поймите меня, вы же знаете, что я всегда был, есть и буду либералом. Я даже очень сочувствую реформам Рузвельта. Что вы думаете, я не понимаю, какое они имели значение? Но я не могу об этом говорить.

— Почему же? — спросил я удивленно.

— Приходится молчать, — ответил он с горестной усмешкой. И, понижая голос, как если бы нас подслушивали какие-то таинственные его преследователи, прибавил, многозначительно двигая бровями: — Вы же сами знаете, сколько вокруг сволочи.

Внезапно в его лице произошло какое-то движение. Будто что-то вспомнив, он внимательно на меня посмотрел, суживая глаза. Мне показалось, в них промелькнуло на мгновение выражение ненависти.

— Скажите, вы американский подданный? — спросил он.

— Не подданный, а гражданин.

— Знаете, я в политику не вмешиваюсь, — сказал он, как будто совсем вдруг успокоившись и даже назидательно, — политика грязная вещь, очень грязная. А я инженер, и интересуюсь только тем, что делается в моей области.

Говорили, что до того, как он угодил на Колыму, он был замечательным инженером. Только благодаря этому и «выскочил». Но действительно ли выскочил?

Шумел Бродвей, чудовищная артерия многомиллионного, многоплеменного города: лавины автобусов, автомобилей, толпы пешеходов, белые, черные, коричневые лица. Но вокруг сутулой фигуры Кульковского, казалось, проступала совсем другая окрестность: бараки, пулеметы на сторожевых вышках, вдоль столбов с колючкой ходят часовые. А перед тем допросы в подвале. Подняв холодные глаза следователь НКВД говорит: «Ну-с, а теперь будем каяться». Инженер Кульковский отвечает дрожащим голосом: «Да в чем же мне каяться?»

Мне самому часто снилось, — опять война, и я опять в плену. Я знаю, во второй раз не выдержу. Но Кульковский не только в снах, но и на яву продолжал жить в сопровождавшем его повсюду лагере на Колыме. Он будет в нем до самой смерти.

*

Зал по нью-йоркскому обычаю натоплен до невыносимой духоты. Собралось человек сорок. Я осматривался: как больные тыквы на бахче, голые, усыпанные коричневыми пятнами черепа мужчин, седые, подкрашенные лиловым букли женщин. Морщинистые, благородные, с отпечатком «критической мысли» лица бывших курсисток, подпольщиков, бундовцев, земцев, борцов за светлое будущее, читателей толстых прогрессивных журналов, ав-

торов бесчисленных политических и экономических брошюр, гневных памфлетов и передовиц. Последние из русских интеллигентов. Верно, ни над одним поколением история не посмеялась так жестоко. Все они отдали свою молодость делу борьбы с несправедливостью самодержавия только для того, чтобы увидеть возникновение нечеловеческого мира сталинских концлагерей. И все-таки я чувствовал, — это были счастливые люди. Им никогда не приходило в голову, что в их революционной деятельности могла быть какая-то ошибка.

Особенно меньшевики меня удивляли. Прочтя в молодости Маркса, они поверили, что стоит устроить революцию и отменить частную собственность на средства производства — и государство с его полицией и армией начнет отмирать, возникнет новое бесклассовое общество, где не будет эксплуатации человека человеком, не будет неравенства и несправедливости, не будет отчуждения, не будет антагонистических противоречий и никто больше не будет совершать антисоциальные поступки, наступит царство свободы. И вот революция совершилась, все средства производства были обобществлены, остатки враждебных классов добиты, а эксплуатация, отчуждение и полицейское государство не только остались, но еще небывало усилились и на смену буржуазии пришел новый правящий класс — всемогущая партийная бюрократия. В море крови родился тоталитарный строй. Но страшный опыт не поколебал марксовой веры меньшевиков. Явление тоталитаризма они объясняли только тем, что Сталин, пользуясь особыми историческими условиями, исказил марксизм. Нужно только вернуться к подлинному учению Маркса и все будет хорошо. Им никогда не приходила мысль, что это столетней давности учение не приложимо к современному миру. И также им никогда не приходило в голову, что может быть человеческое общество, независимо от того, кому принадлежат средства производства, по самой своей природе иерархично и основано на неравенстве, на принуждении, на власти вождя или олигархии, и что человек рождается с волей к насилию и со стремлением убивать врагов и господствовать над себе подобными.

Некоторых я помнил еще по Парижу, но я с трудом их теперь узнавал. Вот, хотя бы этот старичок, с маленьким, будто обглоданным лицом, морщинистым ртом и странно приплюснутым черепом, окаймленным легким белым пухом. Я не сразу понял, что это Белов. Всего несколько лет тому назад, когда я приехал в Нью-Йорк, он был еще очень красив, с нимбом воздушных седых волос над широким лбом и с детскими ясными глазами. Но теперь у него провалился рот и челюсти сблизились, безобразно исказив все черты лица. И глаза уже не лучистые, а мутные. Нижняя губа отвисла, как у старого пьяницы или развратника. Между тем он был человек безупречно добродетельной жизни.

Я начал ходить на эмигрантские политические собрания еще в 1923 году. Мне было тогда семнадцать лет, и я был самым молодым посетителем этих собраний. С тех пор прошли десятки лет, но я на-

прасно искал среди присутствующих кого-нибудь помоложе меня. Впрочем, как раз передо мной сидел еще не старый с виду человек. Спина, как гранитная глыба. Шею не обхватить пальцами двух рук. Густые, едва тронутые сединой волосы. Только когда он обернулся, я его узнал. Известный социалист Семиградский. Теперь я увидел, что и его не пощадило время. Львиное лицо подтаяло под скулами, глаза запали и стали совсем маленькими, тусклыми и печальными. Я не любил его статей и почти совсем не знал его лично, но у меня сжалось сердце. Такой богатырь и вот скоро рухнет, как подточенная термитами башня. Чувство, как когда видишь в лесу старый засохший дуб. Еще стоит, но долго ли еще?

Бобровский сидел в первом ряду, как всегда очень прямо и с каким-то окаменелым торжественно-строгим выражением. Значит, это только пустые разговоры, будто он совсем разошелся с Зыряновым. Их долголетняя дружба не могла так кончиться.

Зырянов, близкий сподвижник Бобровского в февральские дни, один из немногих оставался и в эмиграции его верным восторженным приверженцем. Как раз недавно были напечатаны его воспоминания о 17-ом годе. Он рассказывал в этих воспоминаниях, как на каком-то заседании Бобровский, вскочив на стул, закричал: «Товарищи! Доверяете ли вы мне? Я говорю, товарищи, от всей глубины моего сердца, и если нужно доказать это. . . если вы не доверяете, я готов умереть тут же, на ваших глазах!»

Дальше Зырянов писал: «Трудно передать энтузиазм, охвативший зал заседания. Бобровского подхватили на руки и на руках, среди бешеных аплодисментов и криков одобрения, вынесли из зала. Помню, что когда я сам опомнился, я с удивлением заметил, что мое лицо залито слезами. . .»

Но год тому назад, в том новом политическом объединении, куда они оба вошли, произошел раскол и Зырянов, в первый раз в жизни, оказался не с Бобровским, а с отколовшейся группой. Говорили, это вызвало между ними охлаждение.

Члены президиума, передвигая ватными ногами, как в замедленном фильме, трудясь, подымаются один за другим на эстраду.

Первым говорил Конев, пожилой, известный в Америке писатель. Он стал рассказывать, как встретился с Зыряновым в Сибири, незадолго до революции:

— Я был тогда молодым офицером и только что тайно вступил в партию эсеров, а Василий Палыч был уже знаменитым революционером, прославившимся своим смелым побегом с каторги. Конечно, для меня было невероятно интересно. . . Мне казалось, что я вижу человека высокого, очень красивого. Тогда он был белокурый, такая маленькая бородка, золотые очки.

Я слушал с удивлением. Мне никогда не приходило в голову, что Зырянов мог быть в молодости красив. Когда я познакомился с ним в Париже, он был уже седой, с бритым скопческим лицом. Я не мог представить его себе с бородкой. И он вовсе не высокий был, только немного выше меня. . .

Конев продолжал говорить:

— Сознание неповторимости этого поколения — Василий Палыч был бескорыстным искателем истины. Круг его интересов интеллектуальных был действительно широк, но доминировала в этом круге Россия. Это был органический, типичный представитель народничества. Он впитал в себя национальную, народолюбивую традицию. Я хочу сегодня дотронуться до этого момента его молодости — принести свою жизнь во имя освобождения русского народа. Он говорил нам, какое счастье служить народу. Вдруг откуда-то налетает теплый ветер, который несет чувство «служу своему народу». Это была главная его мысль, которой он хотел с нами поделиться...

Я почувствовал волнение. Последнее, что еще оставалось во мне от моего русского воспитания: убеждение, что единственная достойная цель жизни — это работать для народа, Правды, человечества. Именно это всегда привлекало меня к Зырянову. В своих воспоминаниях он писал, как еще в гимназии он устроил кружок для обсуждения вопроса «Как добиться счастья для всего человечества». После этих собраний он возвращался домой «как на крыльях». И хотя это было ночью, ему казалось, что «все озарено светом и мчишься куда-то, все вперед и вперед». Он был неверующий, но ведь это чувство восхищения, света, жизни — это и есть религия. И пусть не говорят, что это была только прекраснодушная болтовня. Ведь вот Зырянову эта «болтовня» дала силы прожить долгую героическую и самоотверженную жизнь.

— ...и он был прекрасный писатель, — продолжал Конев. — Он умел писать трогательно, просто, необыкновенно!

Меня это удивило: просто и в то же время необыкновенно? Но я сейчас же понял, как хорошо, как верно это сказано. Обязательно прочитать книгу Зырянова о его побеге с каторги...

— Он часто говорил мне здесь в Нью-Йорке: смотрите, бодритесь, не поддавайтесь, нас ведь немного осталось. И вот его больше нет с нами. Всегда, когда мы теряем близких людей, кажется, что смерть пришла неожиданно. Но смерть Василия Палыча вызывает еще больший протест: такие люди как он совсем не должны были бы умирать!..

Напряженно вытягиваясь, почти приподнимаясь на носках, писатель сердито прокричал эти слова вдруг ставшим пискливым голосом. Казалось, этот невысокий седой человек, как собственное восковое изображение стоявший в конусе падавшего на него с потолка неживого света, сейчас заплачет.

Справившись с волнением, он продолжал:

— Мое краткое слово об этом печальном событии, приведшем нас в этот зал, я хочу кончить словами из стихотворения Пушкина, которое Василий Палыч очень любил:

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,

С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.

Он имел одно виденье,
Непостижное уму —
И глубоко впечатление
В сердце врезалось ему...»

«Рыцарь бедный», как это подходит к Зырянову. Но «непостижное видение», — ведь это мистика. А Зырянов не верил в возможность мистического опыта, да и этот писатель не верит, а вот их поразило это стихотворение.

Потом говорила дама, тоже из социалисток, но религиозно настроенная. Она читала не только Маркса и Михайловского, но и Плотина, «большую» Терезу, Якова Бёме. Приобщение к более сложной культуре сделало ее не похожей на большинство здесь собравшихся. В ее словах мелькал отсвет представлений, недопускаемых их сознанием, навсегда завороженным невозмутимым убеждением в истинности позитивизма.

Эта дама была костляво худа, растрепана, бедно и даже неряшливо одета. Длинная жилистая шея ископаемой птицы, нос с горбинкой, лицо без подбородка, провалившиеся щеки, добрые восторженные глаза. Что-то жалкое в ней было и все же чувствовалось: „C'est une grande dame".*) (Я не знал, как это сказать по-русски).

Прокуренным, хриплым, почти мужским голосом, она говорила:

— Василий Палыч был очень добрый и мягкий человек, но он умел одновременно быть и твердым. Он никогда не шел на то, что расходилось с его основным идеалом и сурово осуждал зло в общественной и политической жизни. Он давал свое мнение иногда очень резко и за это нужно преклонить перед ним голову. Но еще ниже нужно преклонить перед ним голову за его отношение к людям. Урывая свои редкие досуги, он всегда был готов служить всем нуждающимся в помощи. Он был в этом смысле «служивый» человек, для кого служение есть самоочевидная форма жизни. Своей явной самоотверженностью он привлекал уважение и любовь. Я хочу приподнять лишь уголок над его действиями. В последние годы он без всякой политики отдавал свою жизнь за ближних. Когда ему говорили: «Зачем вы все ваше время тратите на такие мелочи, как сбор вещей, упаковку и таскание посылок на почту? У вас большой дар писателя. Почему вы забросили литературную работу?», — Василий Палыч на это отвечал: «Вспомните слова Толстого: ‚говорить о более важных делах легче, чем делать маленькие насущные дела!' Разве вы не понимаете, что от этих посылок зависят человеческие жизни?» Один наш общий друг, священник, говорил, что Василий Палыч не решался самому себе признаться, что верит в

*) Высокопоставленная дама (буквально: большая дама).

Бога. Это очень верно. Это как встреча впотьмах. Он отталкивался от метафизики и мистики, но, сам того не сознавая, шел ко Христу, несомненно. Он сам говорил, что верит в высшее добро. Но ведь высшее добро и есть Бог. Вот почему, отдавая свою жизнь этому высшему добру, он тем самым служил Богу. Отсюда его неистощимая энергия. Ибо сказано: «Кто верует в Меня, у того из чрева потекут истоки воды живой». Именно благодаря своей неосознанной вере в Бога, Василий Палыч мог делать для людей столько добрых чудес. И я знаю, он отрицательно относился к смерти, всегда хотел бороться со смертью. Когда при наших встречах он иногда об этом говорил, это было незабываемо. Время останавливалось, мы из него уходили, мы жили в каком-то вечном времени. Почувствовать, что в каждом может открыться этот потрясающий свет...

Вот и она говорит о «потрясающем свете». Да, Зырянов имел какое-то видение. Значит, видение возможно. Он доказал это примером всей своей жизни.

После дамы говорил Кульковский.

— Я не могу, конечно, — начал он, — сравняться с предыдущими ораторами в том богатом материале, который они о Василие Палыче Зырянове представили. Но многословия и не нужно. Многословие сегодня, на этом собрании было бы непристойно. Я поделюсь только моими личными воспоминаниями. Василий Палыч был первым человеком, который встретил меня, когда я сошел в Нью-Йорке с парохода... Что сразу привлекало к нему? Это ощущение необыкновенной доброты. Это был добрый человек. И это очень важно для нас, приехавших из Советского Союза, воспитавшихся больше на зле. Когда я встретился с Василием Палычем, во мне был еще этот пузырь яда, пузырь злобы. Встреча с ним — это был урок доброты, он учил пользоваться любовью, как таким, так сказать, лекарством от ненависти... Вытравить все недоброжелательное, все нелюбовное, что есть в человеке...

— Вот говорит, что учился у Зырянова доброте, а сам не вернул ему 200 долларов, которые тот ему одолжил. А ведь он так хорошо теперь устроен, а Зырянов, вы сами знаете, прямо нуждался, — раздраженно прошипел мне в ухо сосед, старый журналист. Я вспомнил комнату для прислуги, в которой жил Зырянов, маленькую, под самой крышей, заставленную железными канцелярскими шкафами.

— И вот я скажу, — продолжал Кульковский, — титул общественного деятеля раздается у нас слишком щедро и часто без разбора. Но в приложении к Василию Палычу этот титул возрождается в самом глубоком, самом чистом его значении. Он был человеком особого типа, как бы печальником русской эмиграции. Он умел стать другом каждого, кто к нему обращался за помощью. И у него было невероятное уважение к человеческой личности. В разговоре с ним чувствовалось, как сам подрастаешь. На этом я и хочу закончить мои слова. Из кончины каждой человеческой жизни мы должны излечь нравственный урок. В смерти Василия Палыча есть

всем нам некий завет или завещание. Мы должны, так сказать, произнести какой-то безмолвный обет дорогой его памяти.

Было еще много речей. Все, что обычно говорится в таких случаях. Но сегодня готовые фразы звучали искренне. Зырянова любили, и его внезапная смерть всех поразила. Все чувствовали, что с уходом этого достойного и правдивого человека нравственный уровень эмигрантской общественной жизни непоправимо понизится. Никто не придет ему на смену. И никакого преувеличения не было в этих речах. Вся долгая жизнь Зырянова действительно была служением. Все, что о нем сегодня здесь говорили — это правда.

Выходя из зала, я столкнулся в дверях с Бобровским: «Алексей Николаич, как ужасно. . . Василий Палыч!»

Лицо Бобровского задрожало. Мне стало страшно, он сейчас заплачет. Я не должен был ему этого говорить. Ведь они дружили всю жизнь.

Вдруг, яростно тыкая в меня пальцем, Бобровский задыхаясь проговорил:

— Этот человек шестьдесят лет тому назад подпал под влияние Чернышевского!

Подошедший Кульковский с почтительной готовностью заглядывая Бобровскому в лицо, с одобрением подхватил:

— Так оно и есть, так оно и есть. Все это оттуда и пошло. Василий Палыч не мог этого охватить, что Ленин от Чернышевского, он не мог этого и взять. И это придавало некоторым его политическим высказываниям, я прямо скажу, характер какого-то безвкусия и я бы сказал не двойственности, а двоякости: он смотрел направо и налево. На нем была какая-то шапка невидимка. Вы меня извините, может быть я неясно выражаюсь, но проблема эта была, так сказать, брошена. . .

Бобровский смотрел на него озадаченно.

Мне говорили потом, что на том же собрании Бобровский будто бы сказал кому-то, что Зырянов для него умер год тому назад. То есть, когда у них в организации произошел раскол. Меня это поразило. Со стороны было даже трудно понять, что собственно отличает отколовшихся от тех, кто остался с Бобровским: у них была совсем одинаковая программа широкого объединения эмиграции для борьбы с большевизмом.

⁂

Чем больше я писал о Бобровском, тем все ярче его образ возникал на страницах моей рукописи: «совсем как живой!» Но если поначалу это был хотя и бледный, но все же похожий портрет Бобровского, то постепенно словно кто-то другой начал проступать сквозь его черты. Я хотел правдиво и точно его описать, а вместо этого у меня из под руки вырастал фантом. Как ожившая кукла чревовещателя, он больше не зависел от меня и требовал, чтобы я все подробнее его описывал и придумывал для него все новые гро-

тескные поступки и разговоры. И все-таки этот фантом казался мне вполне правдоподобным. Я даже с удовлетворением думал — так настоящие писатели пишут. Но в то же время, я чувствовал, что собирая рассказы о Бобровском, я делаю что-то дурное. Это чувство еще усилилось после того, как недавно я его видел в церкви. Со дня смерти Зырянова прошло уже несколько лет. Бобровский очень постарел за эти годы, осунулся, пожелтел. Говорили, он неизлечимо болен и почти совсем ослеп. Я заметил, когда он платил за свечку, у него тряслись руки. Да и «вторая весна» давно уже кончилась. Вдруг оказалось, что новой эмиграции он совсем не нужен. У него опять не было «окружения». Смотря на его дрожавшие руки, я понял всю несоизмеримость трагического существования этого почти слепого старика, такого же человека как я, с карикатурным Бобровским моих записей.

Мне было грустно. Думая о Бобровском, я лучше видел самого себя. Я осуждал его за равнодушие к людям. А я сам? Сколько людей я встретил в жизни, но никогда по-настоящему о них не думал, все был занят самим собой, своими мучениями, своими мечтаниями. И всегда пишу только о себе. А теперь уже старость и нет времени. По вечерам, после дня на службе, мертвая усталость. И только одно меня занимает. Между тем, я знаю, я никогда не найду ответа, ответа — нет.

Да, у меня вышла с Бобровским еще большая неудача, чем с Рагдаевым. Я не сумел почувствовать в нем то начало жизни и любви, которое так несомненно чувствовал в моей бедной четвероногой Мусе. Это, верно, чувство обиды помешало мне вообразить хотя бы на мгновение его настоящее «я», его человеческое, братское сознание, такое же как мое, таинственно соединенное в глубине — какой глубине? внепространственной, невообразимой — с вечным, великим Сознанием, которого не может не быть, иначе все бессмысленно, а это вряд ли так.

Но если это вечное, всеобъемлющее Сознание существует, то это Бог. Ведь не может быть сознания без кого-то, кто бы сознавал. Каждый раз, когда я стараюсь вглядеться в мои мысли, я вижу, они всегда сходятся в одной точке: необходимо, чтобы был Бог, в которого я так хочу, но все не могу поверить. Ведь, если бы я верил в Бога, я не стал бы писать. Я для того и пишу, чтобы удостовериться, чтобы победить сомнение, чтобы лучше вглядеться в действительность моей жизни, словно надеясь усилием внимания остановить смерть. Вот почему я стараюсь описывать мои мысли и чувства как можно точнее, стараясь *проявить* их в том первоначальном наивном виде,в каком они мне приходнят. Это мучительно трудно. Под моим взглядом они начинают разрастаться во все стороны, как подводные растения в ускоренных фильмах. Стремясь к точности, я бесконечно переписывал и переделывал. Кошмарный, сизифов труд. К тому же в моем возрасте наивность смешна. И я прекрасно понимаю, как сомнительна ценность таких описаний непосредст-

венных впечатлений. Но иначе мое предприятие теряло всякий смысл.

Противоречие: я сказал, что если бы я верил в Бога, я не стал бы писать. Ведь меня заставляет писать безотчетный страх, что если я не расскажу о моей жизни, о моих мыслях и чувствах, о них никто никогда не узнает, а то, о чем никто не знает, как бы совсем не существует. Если же я буду писателем, то мои мысли и чувства, мне казалось, дойдут до сознания людей и это спасет меня от полного исчезновения. Но, ведь, если Бога нет, если сознание людей не соединено с невообразимым, вечным, всеобъемлющим сознанием Бога, то люди не могут мне помочь, они сами умирают. Выходит, я пишу одновременно и потому, что не верю в Бога и потому, что все-таки верю.

X

Чтобы лучше увидеть, что я по-настоящему думаю и чувствую, было бы правильнее всего записывать сны. Во сне не стыдишься быть самим собой, видишь свои чувства и мысли непосредственно, не меняя их из страха, что они покажутся ничтожными и наивными. Во сне я не обманывал самого себя. Даже когда я думал о том, какое впечатление мои поступки производят на окружающих, это думал «я», герой моего сновидения, а «я» настоящий только смотрел.

Говорят, бывают такие глубокие сны, когда душа соединяется с самым началом жизни. Потому-то я и старался запоминать и записывать сны. Вдруг вспомнится такой глубокий сон. К тому же я всегда любил сны. Даже в самых страшных не бывало, как наяву, невыносимого чувства остановки жизни, когда все кажется необъяснимым и странным. Во сне, как в детстве, сознание уверено, что совпадает с бытием. Для всего находится сколько нужно времени и места, но нет устрашающей невообразимой бесконечности пространства, и нет, как наяву, всегдашнего беспокойства, воспоминания о чем-то страшном и неотвратимом. Даже когда мне снилось, что меня убивают, я не умирал на самом деле. Я с любопытством говорил себе: «Вот сейчас меня убьют, и я узнаю, что будет после смерти, есть ли там что-нибудь или там «ничто», невообразимая темнота». Но в глубине я знал, — это — только сон. И действительно, меня убивали, что-то болезненно обрывалось, но с чувством сожаления, что вот умер и так ничего и не узнал, я видел новый сон.

*

Засыпая, я часто вижу парижские дома и церкви. Обычно это только часть стены или портала и они мне снятся недостаточно долго, чтобы рассмотреть, какой же это именно дом, или какая церковь. Но я знаю, — это Париж, и меня охватывает чувство люб-

ви. Даже когда мне вспоминались закоптелые от дыма паровозов дома по обочинам подъездных путей к Восточному вокзалу, я испытывал чувство счастья. С каким волнением я смотрел на эти черные стены, когда в первый раз приехал в Париж. Как давно это было! Сколько лет уже я не видел Парижа! Но ведь я там жил, гулял, ходил в кафе, учился. . . Это было, было. Пусть мое существование ничем не охранено от неизбежности уничтожения, но никакая сила не может сделать мое прошлое не бывшим. Я засыпал с чувством умиротворения.

*

Ночью шум громких голосов на лестнице разбудил меня так внезапно, что я запомнил снившийся мне сон, не так, как когда днем вспоминаешь, а будто он продолжал мне сниться еще несколько мгновений после того, как я проснулся. А снилось мне, что я лежу в моей комнате на постели и все глубже дышу, моя грудь вздувается, как у голубя. И вот с легкостью воздушного шара я вдруг подымаюсь к потолку и сквозь окно вижу над крышами синее звездное небо. Окно закрыто, но я знаю, я сейчас мгновенно подымусь к звездам. Я еще сказал себе: «так летают на Марс».

*

Я шел от Лионского вокзала домой, на площадь «Италия». Я знаю, — сейчас я пройду по улицам около Севастопольского бульвара. Там ходят перед дверями отелей проститутки. Я вспомнил, мне уже снилось, как я гулял по таким улицам и разговаривал с проститутками, и с одной пошел уже было в отель, но вовремя спохватился, что мне этого нельзя.

Проснувшись, я не мог понять, действительно ли уже когда-то давно я видел во сне, что я свернул в эту длинную, мглистую улицу и чуть не пошел с проституткой в отель, или это мне только приснилось, будто я уже видел этот сон прежде.

*

Я читал лекцию. Вдруг замечаю — каждый слушатель в зале — это я сам, но в разные годы моей жизни и как раз в обстоятельствах, когда я особенно неловко и глупо держал себя на людях.

*

Мы приехали в Ниццу на пляж Фаброн Суперьер. Показывая на выступавшую в море скалу, я сказал Марии: «Вот посмотри, через эту гору мы ходили купаться на пляж по ту ее сторону». И действительно я увидел, как там, по тропинке над обрывом идут гуськом молодые люди и девицы. Тропинка очень узкая, чтобы не упасть

нужно хвататься за выступ скалы. Но всем весело, они смеются, шутят. А я все боюсь оступиться и полететь вниз на камни. Ни за что бы теперь не пошел.

Проснувшись, я вспомнил: это место, куда я приехал во сне, называлось вовсе не Фаброн Суперьер, а Калифорни. А Фаброн Суперьер — это горная дорога из Ниццы в Монако. Она начиналась на противоположном конце города. Нет, то кажется Корниш Суперьер. Во всяком случае на Калифорни никакой горы не было. Это из воспоминаний о каком-то другом пляже она попала в мой сон. Мне и раньше много раз снилось: я иду через гору на дальний пляж. Я знаю, там меня ждет счастье. Но все не могу дойти. И вот море отступает, мелеет, больше нельзя плыть. Делая руками плавательные движения, я ползу по песку на животе.

Мне стало скучно вспоминать. Верно, равнодушие старости.

*

Почему-то мне приснился сегодня покойный Михаил Бюргеров. Меня удивило, что он все такой же спокойно-важный и осанистый, каким был при жизни. Показывая на окна подвала, он сказал, что это его новая квартира, там прохладно, сумрак, большие комнаты. Приглашал заходить.

*

Мне снился брат. Я пришел и оказалось, его нет дома.

Когда он вернулся, я спросил: «где ты был?»

Он сказал, что ездил в город, к доктору.

Я спросил: «ты теперь останешься?»

«Нет, я должен лечь в госпиталь», — ответил он решительно.

Я не знал, что он болен. Еще утром он был совсем здоров, мы все время были вместе, а теперь, оказывается, болен и уже ездил в город, к доктору.

Я спросил: «что у тебя за болезнь, как она называется?»

Он усмехнулся: «Это больная болезнь, когда все болит, руки болят, ноги болят, грудь болит, голова болит».

Он был намного выше меня, очень худой, бледный. Давно нестриженные волосы отросли у него на затылке неровными косицами.

Я предложил: «Ведь ты же болен, я помогу тебе отнести твои вещи на станцию».

«Нет, я сам», — сказал он, вскинув на плечо перетянутый ремнями плоский сверток из бежевого одеяла.

Я вспомнил, как у него мало вещей и что он спал на полу в холодном сгнившем чулане. Мне стало стыдно, что с моим всегдашним эгоизмом я это допустил. Может быть, он потому и заболел. И вот теперь решил уехать и лечь в госпиталь.

Я спросил: «Ты позвонишь маме?»

«Может быть позвоню, а может быть нет», — сказал он резко, как говорят, когда не хотят давать объяснений. Но это не потому, что он сердился на меня.

*

Я иду и вижу, моя мать сидит в кафе, за столиком на тротуаре. Она говорит мне, что у нее сломано ребро. Я вижу, у нее кофточка с левого бока вся розовая от крови. Она прибавила: «Я совсем закадаврела». («Кадавр» по-французски — труп. В моем сне моя мать произвела глагол «закадавреть» от этого французского слова. То есть, я произвел). Мама сказала это с отчаянием и горько заплакала. Сделав над собой усилие, я стал целовать ее в голову, в седые с прозеленью волосы, замотанные на макушке в жалкий узелок. Я подумал: «Я не знал, что она так не хотела умирать».

*

Я отчетливо слышал, как кто-то позвал меня: «Володя». Я проснулся, то есть, мне снилось, что я проснулся. Это мой отец позвал меня из соседней комнаты, где он спал. Он хотел узнать у меня, кто же кого победил. Перед тем мне снилось, что багдадский султан напал на какого-то индусского принца. Проснувшись теперь на самом деле, я сейчас же вспомнил: накануне я читал «Тысячу и одну ночь», у меня нет другой комнаты, и моего отца нет в живых. Это какой-то звук в коридоре я принял за его голос.

Я уже давно потерял надежду, что отец жив. Как в его возрасте он мог выжить в концлагере? И все-таки, наперекор всем доводам, безумная вера: а может быть все-таки жив, нежданно придет от него известие. Но недавно я получил из Мюнхена письмо от одного старого друга моего отца. Он писал, что виделся с каким-то Басановым, который был «взят» одновременно с моим отцом в Праге, в 1945 году, а «теперь возвращен большевиками в Европу». Басанов рассказывал, что мой отец умер в лагере, в Караганде. Никакой надежды больше не могло быть.

Я знаю, все видят во сне умерших близких. Верно, отсюда и пошла древняя вера, что души умерших приходят ночью на землю. Мне было приятно, что мое чувство совпадает тут с чувствами всех людей, всего человечества. Конечно, то, что все так чувствуют, еще ничего не доказывает. Но все-таки, если человеческая душа так устроена, что не может примириться со смертью близких, нет ли тут залога, указания?

*

Я встретил на улице моего отца. Высокий, худой, в поношенном, с чужого плеча пальто — или это была старая шинель, какие носят пленные и ссыльные? Он немного походил теперь на Максима

Горького. Это, верно потому, что от худобы у него резко обозначились скулы. Увидев меня, он ласково улыбнулся. Меня удивило и обрадовало, что он меня любит. А то мне все казалось, что я в чем-то виноват перед ним, и он на меня сердится. С тревогой и безумной надеждой я спросил его: «Ну, как тебе *там*, не слишком скучно, не слишком страшно?»

*

Мы ехали в метро. На Данфер-Рошро мы должны были пересесть в поезд, который шел за город, в места, где жил мой друг Ваня, расстрелянный во время войны немцами. Я уже шагнул было в дверь вагона, как вдруг вспомнил, мне нужно ехать в противоположную сторону, на Порт де Клиянкур. Мой спутник уехал в том загородном поезде один.

Случайно, вспомнив днем этот сон, я увидел, — это был мой брат.

*

Когда я вошел, отец лежал на полу своей комнаты в гостинице, подогнув под себя ноги. Словно перед тем он стоял на коленях, а потом не распрямляя ног повалился навзничь. Увидев, как он так валится, я подумал — ведь это трудно, нужна большая гибкость, а папа уже старый. Но тут я заметил, что когда он падал, он был совсем молодой. Это был мой брат, только более взрослый, чем когда он умер.

Я вернулся к себе. Я жил в большой комнате, в той же гостинице, но на другом, далеком конце ее. Нужно было перейти какой-то внутренний двор, окруженный полуразвалившимися пристройками.

В моей комнате было много народу, все куда-то собирались, а я все думал об отце. Мне начало казаться, он может быть не умер, а только потерял сознание. Я вернулся в его комнату. Он лежал на полу все в том же положении. Я нагнулся подложить ему под голову подушку, которую взял с его постели. Теперь я увидел, на самом деле его ноги были не согнуты, а вытянуты наискось под кроватью, а под головой у него было подложено несколько маленьких томиков в картонных переплетах. Приподняв его голову и подкладывая подушку, я поцеловал его в щеку, говоря: «Папочка милый, я так тебя люблю». Я даже в детстве не называл его «папочкой» и уж никогда не сказал бы «папочка милый». Это одна знакомая маленькая девочка так говорила, и я подумал во сне, что если я скажу, как она, это лучше выразит охватившее меня чувство любви к отцу.

Мне стало радостно, что я способен на такой порыв любви и жалости, значит, у меня все-таки есть душа. Когда я его поцеловал,

отец сейчас же начал дышать, очнулся и улыбаясь посмотрел на меня. Меня поразило, как легко, как мгновенно он вернулся к жизни. Он сказал мне, но как-то без слов, что умер, потому что не знал, что я его так люблю, а теперь, когда знает, будет опять жить.

Вернувшись к себе я все думал, почему, хотя мы живем в той же гостинице, я никогда его не встречаю. Правда, гостиница такая большая: несколько главных зданий и бесконечные пристройки. И отец, верно, всюду бывает со своими друзьями, людьми его возраста. Ему с ними интересно, приятно. Они вместе обедают, вместе гуляют, вместе ходят в театр и на собрания. Хорошо воспитанные, по старомодному одетые мужчины и дамы. Я даже преувеличил: я видел их в костюмах прошлого века. Жизнь моего отца в их обществе мне представилась так обстоятельно, будто я читал о ней в романе Тургенева.

Мне было интересно, что подумал бы папа, если бы увидел меня теперь. Понравилось бы ему, что у меня теперь такое же положение в обществе, какое прежде было у него. Я так же остроумен как он, так же хорошо умею рассказывать, все с таким же интересом и уважением меня слушают. Я знал, что на самом деле это не так, я угрюм и застенчив на людях, это только во сне я похож на моего отца. И все-таки я подумал, а вдруг бы он мне позавидовал, что я будто занял его место.

Все собрались ехать на какое-то состязание. На дальнем поле наша команда играла против команды противника. Ехали в почтовых каретах. Сидели даже на империалах, как в Париже, в день «драг». Первая карета уже тронулась. Какой-то молодой человек — помню, в гимназии, в Чехии, он был на класс младше меня, — соскочив с козел, стремительно, как я когда-то бегал, подбежал ко мне сказать, что уже едут. Но я решил поехать со следующей партией. Меня беспокоило, что я опять давно не видел отца. Вдруг все-таки с ним что-то случилось и он не поедет? Нужно пойти посмотреть.

Я помнил, его комната в главном здании. Но в этой гостнице было столько коридоров, переходов, дворов, подъездов. Я уже чувствовал с беспокойством, уже знал, что не найду дорогу.

*

Мы стоим в церкви на панихиде. Я не чувствую горя. Я знаю, отец умер, но не могу себе этого представить. Он умер так далеко и я не знаю в каких обстоятельствах. Но когда нужно было подойти к гробу, проститься с покойником, я вдруг понял — это действительно тело моего отца, его сюда привезли. Сейчас я увижу его мертвую голову. Я содрогнулся от ужаса и жалости. Вернее, заставил себя содрогнуться, вспомнив, что так принято на панихидах и чтобы доказать себе и другим, что я не совсем все-таки бесчувственный. У меня даже стала судорожно кривиться левая сторона лица, к глазам подступили слезы. Я взглянул на Катю — или это была

Мария — проверить, видит ли она, как я сильно чувствую горе. Еще не просыпаясь, я подумал, что такими слезами я плакал в последний раз когда умер Юра.

*

Я подхожу к дому, где мы жили в Праге. Моя мать и мой отец стоят в окне нашей квартиры на третьем этаже. Они меня ждут и почему-то беспокоятся. С тревогой смотрят, как я перехожу улицу.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Перечитывал мои записи. Ни слога, ни воображения. И нет действия, нет развязки. Да и какая может быть развязка? Неясные мысли о значении жизни будут приходить мне до самой смерти. Мне никогда не удастся выдать их за литературное произведение. А ведь люди, что бы там ни говорили защитники нового романа, всегда будут любить «побасенки». Побочная дочь мифологии, литература порождена способностью воображать и рассказывать вымышленные приключения вымышленных героев. В детстве у меня эта способность была очень развита, а теперь совсем пропала. Но я не жалею об этом. Усилие понять и описать мою болезнь помогло мне от нее избавиться. Или это время сделало?

Все мои близкие умерли. Старая эмиграция, которая столько лет заменяла мне отечество, кончилась. Я это особенно почувствовал на собрании памяти Зырянова. И условия моей жизни изменились. Я женился, вернулся в Европу, у меня теперь «приличная» служба. Когда утром я еду в контору — пожилой, лысый, прилично одетый господин с портфелем — никто не узнает во мне рассеянного героя моих записок. Правда, я сам воспринимаю это теперешнее мое респектабельное обличье с недоверием, почти как маскарад. Но я больше не жду, что мне что-то откроется. Не жду и почти уже не хочу. Направление моего внимания изменилось. Мое сознание по-прежнему не принимает учения о грехопадении. Я по-прежнему чувствую, что и самые простые и самые хитроумные теодицеи придуманы людьми, так как нельзя понять — откуда зло в мире, если Бог всемогущ. Но не веря рассуждениям богословов, я поверил случайно прочитанным словам одной французской монахини. Когда ее спросили, почему Бог допускает зло, она сказала: «Не знаю, я думаю, этот вопрос не разрешим для человеческого разума. Но интуитивная, неизъяснимая уверенность, что Бог нас любит и что Он здесь, рядом, устраняет все умственные сомнения. Радость этой уверенности сильнее смерти и страданий. Не знаю каким образом, но я знаю, что над ужасным злом этого мира есть царство правды, добра и красоты, подобное свету без тени. Я знаю, эти мучительные вопросы там разрешены, хотя не знаю как».

Радость, о которой говорила эта монахиня, не могла быть обманом. Я тем больше этому верил, вернее тем больше хотел верить, чем сильнее меня давило сознание, что смерть делает все бессмысленным. Но моя всегдашняя надежда, что мне что-то откроется представляется мне теперь *преждевременной*. Эта мысль пришла

мне впервые при чтении Тейяра де Шарден. Раньше я все думал о том, что будет после смерти, а вот как действительно пришло время об этом думать, меня все больше занимает вопрос, чем кончится путешествие человечества на земле. Теперь я знаю, то понимание, которого я всегда ждал, не может открыться до тех пор, пока все люди не соединятся с «высшим полюсом сознания». Только теперь я начал понимать идею эволюции Бергсона и Тейяра де Шарден. Мир — это процесс. Все зависит от того, чем кончится этот процесс. Спасение не в том, чтобы мне что-то открылось, а чтобы открылось всем людям. Царство правды, добра и красоты, о котором говорила та монахиня, должно прорасти на земле для всех людей. Моя женитьба помогла мне почувствовать, как это может произойти. Совершилась ли уже в моей жене «мутация», но я часто с несомненностью чувствовал в ней дыхание жизни и любви.

Какие же выводы я делаю из всего этого? Если человечество придет к тейяровой точке Омега, я готов все *простить:* и смерть близких, и все страшное, что происходило и происходит в мире, все чудовищные преступления, все неискупимые страдания, все непоправимые обиды, все миллионы раздавленных существований. Но я ставлю одно условие: с моей женой не должно произойти ничего дурного. С этим я не смогу примириться. Мне страшно, что я не могу охранить ее от страданий и смерти.

*

Прошлой ночью мне приснилось: сейчас мне все откроется. Я с волнением радости чувствовал приближение этого события, которого я всегда ждал, хотя оно казалось мне невероятным. А вот, значит, я все-таки был прав, мое ожидание не обмануло. Я чувствовал во сне счастье.

Конец записок Владимира Гуськова.